

СЕРГЕЙ ГРАХОВСКИЙ

РУДОБЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА


ВИ





СЕРГЕЙ ГРАХОВСКИЙ

РУДОБЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Авторизованный перевод с белорусского
В. Серука

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1976

С(Бел.)2
Г78

Г $\frac{70303-001}{068(02)-76}$ 163-76

От автора

Где она, Рудобельская республика?

Ни на картах, ни в учебниках географии вы ее не найдете. И все же она была, боролась за право «людьми зваться», за свободу, за правду, за сегодняшний день.

История этого края необычная и героическая: в Рудобелке никогда не было оккупантов, никогда не опускалось красное знамя, поднятое над ревкомом в ноябре 1917 года.

Как же удавалось почти безоружным крестьянам отстаивать свою свободу от вражьих полчищ, что не единожды в разных мундирах и под разными знаменами шли на Страну Советов? Кто об этом помнит? Кто об этом расскажет?

Героев и участников тех событий остается все меньше и меньше. Почти не сохранилось документов времен гражданской войны на Рудобельщине, не все сберегла и людская память. И все же одна из ярких страниц нашей истории не должна быть забыта. Долг наш — восстановить наиболее важные события полувековой давности, рассказать о первых шагах советской власти на Полесье.

Так велела мне гражданская совесть. Возникло горячее желание поделиться с нашими современниками тем, что знал когда-то, тем, что открылось мне в настоящее время.

В детстве я жил неподалеку от Рудобелки. Память сохранила отзвук происходившего, образы героев, участников тех событий, факты и грозовую атмосферу гражданской войны. В 1935 году я встречался со многими рудобельскими партизанами, с их отцами и детьми. С тех лет меня волновала эта тема, и я начал поиски. Удалось отыскать сестру первого председателя Рудобельского ревкома Александра Соловья — Марию Романовну Андрееву. Многие утверждали, что она погибла в 1920 году. А ее собственная жизнь достойна взволнованной повести о мужестве и преданности революции. Воспоминания Марии Романовны помогли мне восстановить многие черты характера, понять истоки поступков и подвигов ее брата-героя.

Много интересного о деятельности большевиков Бобруйщины в годы немецкой оккупации 1918 года рассказал мне бывший заместитель председателя уездного ревкома Петр Михайлович Серебряков. С соратниками Соловья я встречался в Рудобелке, Глусске, Бобруйске, в Минске и Москве. Беседы с товарищами А. Падута, Вл. Шантырем, Т. Володько, Б. Одинцом, Н. Звонковичем, С. Герасимовичем, Ф. Коберником, Т. Жулега, Т. Толстиком, А. Ревинской, М. Драпезо, Г. Агал обогатили меня ценными фактами и характеристиками, взволновали и вдохновили для работы над этой книгой. Нужно было отобрать самое интересное и значительное. Хотелось передать атмосферу того времени, воссоздать характеры, поступки, настроения и мысли героев, рассказать о первых большевиках Рудобельщины, о людях, которые пошли за ними. Я считал своей обязанностью восстановить славное имя и подвиги подлинного белорусского Чапаева — Александра Романовича Соловья.

В годы Великой Отечественной войны рудобельцы с первого же военного часа поднялись на защиту родной земли. В глубоком тылу врага Октябрьский район так и остался советским; здесь проходили партийные конференции, работали школы, издавалась газета «Красный мститель», люди жили по советским законам, над районом развевалось красное знамя.

Былая Рудобелка — нынче обычный городской поселок, центр Октябрьского района Гомельской области. Каждый день приходят сюда поезда, один за другим прибывают рейсовые автобусы, прилетают пассажирские самолеты. Спокойно течет узенькая Неретовка, шумят вдоль улиц старые вербы. Весело и споро трудятся здесь добрые и душевные люди, растут и учатся дети.

О героическом прошлом напоминают только бесчисленные курганы да братские могилы. К ним никогда не зарастают людские стежки.

Работая над повестью, я был вынужден порой отступать от хронологии событий, не всегда придерживаться географической точности, изменить несколько фамилий и создать обобщенные образы, потому что писалась не история, а литературное произведение на документальной основе.

Буду рад, если эта невыдуманная повесть даст молодому читателю хотя бы некоторое представление об одной из героических страниц нашего революционного прошлого.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ


ДЕКРЕТЪ



1

Вагон покачивало и подергивало на каждом стыке. Поезд еле полз в осенней ночной тьме. Можно было выпрыгнуть, забежать в будку стрелочника, напиться воды и снова сесть на свое место, если оно только было.

Как двигался тот состав, чем дышал — трудно понять, однако шел, порой останавливался, пыхтел, посапывал паром — и все-таки двигался, медленно и неуверенно, ощупью, как слепой. В нескольких закопченных фонарях мигали и догорали свечки. Никто в поезде не спал. Даже тех, кому посчастливилось примоститься на верхних полках, сон не брал. Одни тяжело вздыхали, другие рассуждали вслух:

— От большевики говорят: земля — мужику, фабрики — рабочему. Оно-то так. А как взять эту самую земельку, коли она панская. Распашешь, силу затратишь, семена загубишь.

— Семена что? Там, гляди, еще врежут двадцать пять горяченьких, как тогда у пана Иваненки.

— Э, волков бояться — в лес не ходить. Когда то было. Тогда же слабоду по царскому манихвесту давали, да из рук не выпускали. Сунулись обрезать панскую земельку, а казаки по обоим половинкам как врезали, так аж теперь свербят. А нынешняя слабода — наша, без царя

и без пана. Сам, брат, видел, как в Бобруйске на Казначейской хлопчина один сунул кулаком в рожу городовому, а тот только юшку утер, лахи под пахи[1] — да и ходу.

— Да, что ни говорите, мужики, а земля теперь всетаки наша, — сказал немолодой солдат с пшеничными усами и перевязанной грязным бинтом рукой.

— Наша-то наша, а вот будет ли с нее каша? От вопрос! — сомневался сухонький старичок с реденькой бородкою, нависшими бровями и сморщенным маленьким личиком. На старике — вытертая рыжая свитка, на толсто намотанных онучах еле держались лапти. В зубах сопела и свистела маленькая почерневшая трубка. Дед не спорил, он вслух делился своими сомнениями.

Гудел весь вагон. За дымом от самокруток не видно было лиц, только шевелились лохматые тени в овечьих шапках, кожухах и свитках.

К разговору солдата со стариком прислушивался человек в шинели, в солдатских ботинках с обмотками, в фуражке без кокарды. Он сидел в углу, зажав между коленями винтовку; под лавкой лежал его видавший виды солдатский мешок. Он догадывался, что дедок и солдат из их волости, потому что знают про пана Иваненко и про то, как мужики в девятьсот пятом году делили панскую землю, помнят и казачьи нагайки. Однако ни того ни другого во мраке вагона узнать не мог.

— А где ж, браток, ручательство, что эта власть удержится? — не унимался старик. — Дом Романовых триста лет стоял, а Керенского через полгода сдуло. Говорят, будто в бабской юбке дал ходу. Нет, браток, подождать надо, посмотреть, что из этого получится. А земля никуда не денется, если вправду — наша, то нашей и будет.

Человек в шинели протиснулся к проходу, вгляделся в старика.

— А не из Карпиловки, дедушка, будешь? — спросил он.

— А ты чей же такой, угадчик? Подожди, подожди, лицо, кажись, знакомое. — Дед подвинулся поближе: — Эге, а не Романов сынок ты, часом? Только который?

— Глянь-ка, узнал. Александр я, самый старший.

— А я это себе и думаю, не Соловьев ли это, латышок... Проведать своих или насовсем?

[1] Шапку в охапку (*бел.*).

— Навоевался и за себя и за тех, кто не родился еще. Хватит! Пора за землю браться. А она, дедушка, наша, и не сомневайся. Кровью за нее заплачено, а купчую сам Ленин подписал.

— А ты, случаем, не контуженный, что ни меня, ни деда не узнаешь? — спросил солдат с перевязанной рукой.

— Ну конечно, Анупрей! — хлопнул Александр солдата по плечу. — Где ж тебя, черта, узнаешь: зарос, высох, только нос да усы торчат. Как это тебя угораздило на дурную пулю налететь?

— А-а, такой-то и беды... Культяпка эта у меня теперь как пропуск, кому ни ткну — дорогу уступают. Словом, домой. Три года не был. Старикам надо помочь на ноги стать.

— А я, брат, седьмой год как из дому. Где теперь этот дом, сам не знаю.

— В Хоромное твой старик с Ганной и Марылькой в самом начале войны перебрались, — сказал дедок с жиденькой бородкой. — Его пан с Хлебной поляны турнул. А сколько он там, бедолага, корчей повыворачивал, сколько корней повыдрал, земля там теперь как пух стала, а пан его коленом под зад — иди куда хочешь. Так он у Гатальского теперь на третине[1] перебивается. С сеструхою твоей вдвоем впряглись, а сыны за веру, царя и отечество в окопах красной юшкой умываются.

— Теперь-то и я вижу, что это дядька Терешка. Извелись же вы что-то, если б где встретил, так и не узнал бы.

— А то и не диво. Не со свадьбы, браток, еду. Десять месяцев вшей в бобруйской тюрьме кормил. Баланды с таранькой похлебаешь, сухарь погрызешь — и целый день дрова пилишь.

— За что же это вас? — спросил Александр.

— А лихо их матери знает, за что. Набрехал эконом, что я будто снопов сколько-то там ячменя панского украл. Таскал, таскал меня урядник, потом в волостной темной с крысами воевал, а он, ирод, придет да ножнами сашки так исполосует, что ни стать, ни сесть. А я же ни сном ни духом ничего не знал. И как раз перед тем, как Николая скинуть, упекли меня, выродки, аж на три

[1] Пользование землей за третью часть урожая.

года. Иператора турнули, дак тех, кто супротив царя говорили и афишки расклеивали, повыпускали, а мне говорят: «Сиди, ворюга!» Так и сидел. Знал бы, что так обернется, то и вправду украл бы, да не ячменя, а пшенички хотя бы на затирку[1]. Большевики, спасибо им, выпустили. Пришел какой-то их главный, черненький, кучерявый, распахнул двери и говорит: «Выходите, товарищи, слабода!» Ленин, говорит, декрет выпустил: земля, значит, мужику, а заводы мастеровым. Это самое и называется совецкая власть, говорит, а тюрьмы и церкви сровнять, значит, с землей. Ну, тюрьмы я бы и сам поджег, а что им церкви мешают? Как говорится, без бога — ни до порога. Без веры человек — как та скотина безрогая.

Александр засмеялся. Он положил руку на плечо старика:

— Церковь, дядька Терешка, — та же тюрьма для души человека. А земли поповской по России сколько... Она же наша, та земелька. На фронте жеребцы гривастые с крестами в руках горланят, убивать благословляют, па смерть живых соборуют, а за кого? Вот и кумекай, кому тут верить.

В фонаре догорела свечка. Вагон стучал и скрипел, подрагивая на стыках и стрелках. За окном чернела осенняя ночь. Александр на самой верхней полке заметил новые хромовые сапоги, высунувшиеся из-под офицерской шинели, темный затылок, ухо и лицо, прикрытые щегольской фуражкой без кокарды.

— Какое-то «их благородие» едет в наши края, — кивнул он вверх.

— Садился какой-то общипанный офицерик, без еппалетов, и пуговицы орластые сукном обшитые. Вроде бы из Ермолицкой породы. Как зашился в Бобруйске, так до самых Ратмирович и не чихнет. Видать, не в свой вагон сел, — ответил старый Терешка.

Поезд останавливался возле каких-то мерцающих фонарей, пыхтел паровоз, слышалась за окном перебранка осипших голосов. Проплывало желтое пятно тусклого света, испуганно вскрикивал гудок, опять лениво лязгали колеса, состав покачивался и тащился во мрак.

В вагоне храпели, почесывались и бормотали спро-

---

[1] Похлебка из муки.

сонья. Стоял спертый дух разопревших онучей и овчин, дьявольского самосада и дегтя. В темных углах не умолкал разговор о наделах, о казенном и панском лесе, мужики спрашивали друг у друга, а надолго ли та «слабода» и не боязно ли делить помещичью землю, чтобы не вышло все это малость погодя боком.

Александр приткнулся на краешке лавки, зажмурил глаза, но не спал. Он прислушивался ко всему, о чем говорили. Мужицкие тревоги и неуверенность были понятны ему: людям не верилось, что земля может принадлежать им, — царя прогнали, а паны как были, так и остались, и тот же стражник с саблей на боку вышагивал по селу и не одного такого Терешку ни за понюх табаку законопатил в каталажку. Вот и боятся еще. А они ведь теперь сами — власть. Только открой им глаза, чтобы поверили в себя, чтобы поняли, как все перевернулось в мире.

Александр вспоминал все, что видел и пережил за эту неделю. Неужели только неделя минула? Он взглянул на свои залубеневшие солдатские ботинки. Казалось, на них еще лежит пыль петроградских улиц, а шинель пахнет дымом костров, что жгли возле Смольного и на площади перед Зимним дворцом. Он бежал по этой площади вместе с матросами и солдатами, лез через чугунные ворота, потом по мягким коврам подымался со ступеньки на ступеньку, все выше и выше, а светло было так, что слепило глаза. Потом видел, как матросы выводили перепуганных краснорожих министров в расстегнутых сюртуках, вицмундирах и наброшенных на плечи пальто, как шныряли солдаты по огромным залам, переходам, коридорам, разыскивали самого Керенского.

Ярким светом выхваченные из темноты наплывали воспоминания. Длинные, шумные, заполненные солдатами и матросами коридоры Смольного. Казалось, он и теперь слышит холодный лязг прикладов и надоедливое бренчание котелков, стук подковок на сапогах идущего на смену караула. Однажды он видел, как из больших дверей, держа в руке длинную телеграфную ленту, выставив вперед плечо, будто разрезая упругий ветер, стремительно прошел по коридору невысокий с лысиной человек. Все расступались, давали ему дорогу. Он с кем-то здоровался, что-то кому-то говорил и так, как появился, так же неожиданно скрылся за высокой дверью. Вслед за

ним набегал, катился шепот: «Ленин, Ленин пошел! Видел Ленина? Это же он!»

Снова нарастал грохот прикладов и шагов. Александр проснулся. Стучали колеса. Напротив спал дед Терешка. Храпели и бормотали во сне мужики и бабы. Прислонился щекой к железному пруту и ровно сопел Анупрей... Вертелся только на жесткой полке «ощипанный офицерик», но, заметив Алекса́ндра, притих и притворился спящим.

Александр прижался лбом к оконному стеклу, хотел определить, где они едут. К черному окну примерзла снежная крупа, плыла серая земля, и больше ничего не было видно.

Он уже не мог уснуть, пока не приехали в Ратмировичи. Дальше поезду идти было некуда — тупик.

Загудел, засуетился, заговорил вагон. Свечка давно догорела. Спросонья все сгрудились, толкались, тыкались как слепые. Из-под нижних лавок высовывались чьи-то ноги, на них наступали те, кто протискивался в проходе, спотыкались и матерились на чем свет стоит. Сверху на головы сползали узлы, котомки, корзины и мешки, высовывались люди в кожушках и свитках.

— Параска, где ты там? Мешок мой не у тебя?

— Куда прешь, чтоб тебе повылазило!

— Мирон, вставай, приехали!

— Вот довоевались, что нету и свечки, — гнусавил сиплый голос.

— И толчемся как слепые овечки, — в лад ему добавила бойкая молодуха.

Скоро все осмотрелись: на дворе синело холодное утро, а в окно вглядывался желтый станционный фонарь.

Александр забросил котомку на плечо, перебросил на другое винтовку и, когда схлынула толпа, подался к выходу. За ним вышли Анупрей и Терешка.

Подмораживало. На крышах и в бороздах белел первый ненадежный снежок, словно кто посыпал солью землю. После вагонной духоты тело била дрожь, ветер пронизывал тонкую, вытертую шинель. Пришлось подпоясаться ремнем.

Александр осмотрелся: вагоны опустели, в редеющем мраке люди расходились кто куда. Не видно было только офицерика с верхней полки.

Догадываясь, кого высматривает Александр, заговорил дед:

— Будил этого Ермольчука, а он, холера его матери, ну как околел.

— Где это видано! Ему с нами не по дороге. Пошли, мужики.

Разминая пружинящие комья застывшей грязи, они втроем свернули на тропинку и ходко пошагали через густой ракитник, росший сразу за станцией. Под ногами похрустывала примороженная листва.

Над селом подымались белые столбы дыма, в оконцах мигало неровное пламя — топили печи. Кричали петухи, визжали поросята, скрипели колодезные журавли. Занималось серо-синеватое осеннее утро.

Все эти звуки, горьковатый запах дыма и пригоревшей картошки, низкое небо и припорошенная первым снежком земля были Александру такими знакомыми и родными. Он вспоминал эти милые сердцу картины в окопах под Перемышлем, в Пинских болотах, в Царскосельском госпитале. Они являлись ему бессонными ночами в Смольном, и порой не верилось, что когда-то еще доведется ходить по родным стежкам.

Семь лет он не был дома, семь лет ничего не знал об отце и Марыльке, о доброй и заботливой мачехе. Всех мачех, как повелось, ругают и клянут, а тетка Ганна была как родная мать — четырех вырастила. Его, Петрика и Костика в солдаты проводила. Вспомнилось, как шла за ним до самых Парич, все что-то совала в котомку и голосила как по родному сыну.

До войны Александр служил в Гатчине, в кавалерийском полку, и время от времени получал от отца короткие письма. Старик жаловался, что тяжело отрабатывать аренду: Костик еще слабоват, Марылька хоть и жадная до работы, а все ж еще мала, и жалко ее запрягать в ярмо, а Петрика забрали в солдаты. Писал, что Рогуля принесла бычка с белой лысинкой и они собираются его вырастить. Батькины письма пахли родной хатой, напоминали детство в Хлебной поляне, тесную землянку на опушке. Тогда еще жива была мать. Статная, белявая и совсем молодая. Отец ее звал Лавизою. Сынок, бывало, поправлял его:

— Не Лавиза, а Луиза наша мамка.

— А разве не одно и то же? Лавиза еще легче.

Мать говорила по-латышски, пела латышские колыбельные песни и рассказывала детям сказки далекой Курляндии. Иногда заходил навестить дочку и дед. Высокий, малость сутулый, усатый Кришан Якшевич. Он зимой и летом носил безрукавку из козьей шкуры. Садился на пороге мрачной землянки и молча курил. Видно, тосковал по своей родной Курляндии, жалел, что дочку смолоду облепили дети, что бьется она от темна до темна на панских вырубках, а достатка и счастья и близко не видать.

Старый Кришан уважал своего зятя Романа за трудолюбие, честность и трезвость. Любил он и внуков, только какой-то сдержанной, скрытой любовью.

Александру вспомнилось, как вечерами у огонька батька латал хомут или уздечку и рассказывал детям про свою молодость, про то, как сразу после женитьбы отправился к панскому управляющему Гансу Христофоровичу Мухелю сказать, что хватит ему и Луизе батрачить. Он попросил на первое время за отработки, а как разживутся, в аренду клочок земли.

— Зэмля нужно сделат, — ответил сухопарый немец.

Роман не понимал, как можно «сделат» землю, и только молча моргал.

— Рубит лес, вырывайт корни, как его, пэньки, пэньки. Там — зэмля, хлебный зэмля, будэт хлебный поляна. Понимайт?

Так и договорились. Роману за болотом отвели кусочек леса. Вдвоем с молодой женой выкопали землянку, накололи плашек, обложили ими стены, слепили печь из глины, еловой корой и дерном накрыли крышу и стали жить. Валили сосны, жгли валежник, ходили закопченные и оборванные как черти. Подсекали, окапывали и выдирали пни и каждый клочок лесной пустоши лопатами вскапывали по нескольку раз. Плуг ведь в эту переплетенную корнями залежь не вгонишь. А осенью посеяли пуда три жита. Первые четыре года, пока корчевали, Мухель аренды не брал. На пятый год Роман собирал по копейке, по грошу, чтобы отдать Мухелю пятьдесят рублей, на шестой — сто, а на седьмой — все полторы сотни...

Шагая по обочине, Александр смотрел на заиндевелые луга и тронутые ледком болотца, на дальние и близкие леса и думал: «Теперь все это наше». С ним поравнялся дядька Терешка. Видно, старику не терпелось поговорить: за беседой и дорога короче, да и идти веселей. Он кивнул

головой на тощий солдатский мешок, что мотался за Александровой спиной:

— Служил, служил, говоришь, хлопче, воевал, воевал, и в Питере был, а суму пустую домой несешь.

— Тут, дедуля, такое богатство, что ему и цены нет. Его на всех хватит.

Терешка подбежал поближе, огляделся и шепотом спросил:

— Неужто золото?

Александр только усмехнулся.

— Может, и правда в царских покоях наотколупывал? Там же, не иначе, и завесы и задвижки золотые. Отодрал бы с десяток, вот и было бы на разживу. Брешут или правда, что у царя Николая горшок поганый и тот из золота был?

— Брешут, дед. Все золото Николашка на снаряды перелил да на генеральские кресты...

— А ты хоть какой крестик заслужил?

— Заслужил... Хорошо, что не березовый. Два Георгия, четыре пули и три медали заработал. Вот и весь мой скарб за семь лет царской службы.

Дед Терешка отстал и пошел следом. Он все поглядывал на замасленный солдатский мешок и думал: «Никто и не раскумекает, какое богатство человек несет. Не диво, что и ружье с собой взял. Приведись что, так и отбиться есть чем. А у меня? Пригоршню вшей на волю несу, торбу онучей да арестантскую миску с кружкой. Не оставлять же добро в пустой камере».

Шли молча, ветер пронизывал насквозь, хлопал полами шинели, сек по щекам мелкой колючей крупой.

На пашне полегла тропутая первыми заморозками озимь, синели припорошенные пары, над потемневшими стогами кричали вороны и садились на тонкие шесты. Такого простора, такой тишины Александр давно не ощущал. От быстрой ходьбы он раскраснелся и расстегнул ворот шинели. А мысли, воспоминания, обрывки далекого и близкого прошлого не давали покоя. Может быть, потому, что за последние три года не было времени вспоминать и думать о родных краях: три года в окопах, в грязи и крови. Только и знал тогда: заряжай, стреляй, подымайся в атаку, отступай, корчись в окопе, дыши пороховым дымом и прелой сырой землей, горячей кровью и пóтом. Временами так хотелось забраться на теплый лежак бать-

киной печи и крепко заснуть под пение сверчков и говор ветра. Но все это было таким далеким и недосягаемым, что не хотелось напрасно бередить душу. Теперь он наконец дал волю своим думам.

У каждого человека есть потребность время от времени вспоминать свою жизнь, начиная с детских лет и до сегодняшнего дня. Одни умеют складно рассказывать о пережитом, есть мастера приврать, да так, что и сами верят в то, чего никогда не было. А люди, скупые на слова, меряя дальние версты или трясясь в телеге, молча вспоминают прошлое, думают о том, за что приниматься завтра, как жить дальше. На то и человек, чтобы думать.

По дороге домой вспоминал Александр Соловей свое детство и молодые годы. И так все отчетливо оживало в памяти, что порой казалось: а не вчера ли это было?

Он видел Хлебную поляну — клочок земли, раскорчеванной отцом и матерью среди дремучего леса. Мальчонкой он боялся волков и привидений, что кигикали то совой, то хрипели коршунами. Потом решился и пошел по земляничным пригоркам, по грибным опушкам, по жесткому брусничнику и багульнику. Лес был таинственный и ласковый. Вспоминалась бесхлебица по весне, недороды и нехватки. Только никогда не слышал он в своей хате ни упреков, ни ругани. Когда кое-как сложили хату и малость обжились, батька выписал газету и вечерами читал вслух всей семье, хотя мать и они, малые, плохо понимали то, что он читал: все, кроме отца, разговаривали на языке матери.

Когда-то в Рудобелку из Курляндии переехало семей сорок латышей. Одни были батраками у пана Иваненки, другие арендовали такие же вырубки, как и его отец, третьи бондарничали, столярничали, работали на винокурне или на мельницах.

Осенью арендовали латыши полхаты, и старик Трейзин начал учить детей. А по воскресеньям сюда собирались мужики и бабы, чтобы помолиться богу.

Четыре зимы проходил в эту школу Александр. Он хорошо читал и писал, складывал и умножал, но больше всего любил книжки о растениях. Их давал ему учитель и часто говорил: «Вырастешь, выучишься и будешь агрономом». Александр и сам мечтал открыть секрет, чтобы земля хорошо родила, чтобы не было недородов, чтобы не пухли от голода дети. Ему так хотелось надуть пана и

собирать на своих вырубках столько жита и бульбы, что ни Мухелю, ни Иваненке и не снилось.

Только где там ему было до того агрономства!

Надорвалась, ворочая колоды в лесу, мать. Помучилась с неделю и сгорела как свечка. А батько только что выплатил аренду, и в хате не было ни гроша, чтобы нанять попа и отслужить молебен по покойнице. Не было ни копейки и у деда. Пришлось упросить отца Серафима, чтобы хоть за отработки проводил несчастную на вечный покой. Потом всю весну Александр пахал и бороновал поповские десятины.

Ему стало тоскливо и горько от этих воспоминаний. Он повернулся назад, дождался, пока догонит Терешка, и спросил его:

— А Прокоп Гошка еще живой?

— Это который Прокоп, не Пивовар ли?

— Ага, Пивовар, — улыбнулся Соловей.

— Никакое лихо его не берет.

Александр снова ходко зашагал и вспомнил, как когда-то Прокоп на своем хуторе на крестины варил пиво. А оно так разбушевалось, что вышибло шпунт. И надо же было случиться, что тот шпунт врезал как раз Прокопу в лоб, да так, что, бедолага, аж скорчился. Полдня несчастного откачивали. Обо всем этом написал Александр письмишко и послал в Ригу, в латышскую газету «Dienas Lapa» [1]. Через несколько недель пришла та газетка в Рудобелку, прочли сначала латыши, а потом пересказывали каждому рудобельцу. Ну и порвали тогда мужики животы над Прокопом. С тех пор и пошло — Пивовар и Пивовар. Аж до сих пор не позабыли, и детей, не иначе, пивоварами называют.

Когда наступил рассвет, поднялись на холопеничский мост. На берегах поседел нескошенный ситник, дрожал на голой лозе продолговатый красный листок. Бурлила темная вода в водоворотах.

Остановились передохнуть. Александр поставил возле перил винтовку, вытащил кисет и стал угощать фабричной махоркой.

Старик долго чмокал трубкой, пока не раскурил ее, потом присел на брус, прижмурил хитроватые маленькие глаза и начал расспрашивать:

---

[1] «Ежедневный листок» (*лат.*).

— А скажи ты мне, Лександра, кто же теперь нами командовать будет? Царя скинули, министров разогнали, энтот аблакатик, говоришь, в юбке задал деру. А без головы да без узды народ, как стадо овечье без барана, разбредется кто куда. То как же оно будет? Без власти, браток, непривычно.

— Власть, батька, у народа теперь. Советы всем будут заправлять. Рабочие, крестьяне, солдаты избирают своих депутатов, те собираются и решают, как дело вести. Советы теперь всему голова.

— А кто же будет самым главным над Советами, чтобы слушался народ, а часом, и... побаивался. Ты, брат, знаешь, что дай человеку волю, то и начнется — что хочу, то и ворочу, сосед с соседом перегрызется. Скажем, тебе захочется отхватить лучший кусок панской земли, а он и мне приглянулся, вот и схватимся за грудки, дубиной не разгонишь. Не-ет, браток, власть нужна, чтоб порядок был. — И старик сжал грязный жилистый кулак.

— Для того большевики и революцию делали, чтобы мы сами хозяевами над всем были.

— А кто они, те большевики, скажи ты мне, хлопец? Все слышишь, большевики, большевики, хотя бы на одного поглядеть.

— Ну, смотри на меня, дед.

— И на меня, — разгладил пушистые усы Анупрей.

Терешка похлопал глазами, посмотрел сначала на одного, потом на другого, словно видел их впервые, поднялся, забросил на плечо котомку и первым сошел с моста.

— А я тогда кто? Меньшевик? — огрызнулся он.

До дому оставалось верст восемь.

2

Хутор Сереброн стоял в лесу, словно в венке. Вокруг него было волок[1] десять обработанной и хорошо ухоженной земли. Посреди сада — большой дом под оцинкованной крышей, через дорогу — коровник и длинный амбар из тесаного бруса.

[1] Мера земельного надела (*бел.*).

К крыльцу подкатил возок. С него ловко спрыгнул тот самый «общипанный офицерик», которого так и не добудился Терешка в Ратмировичах. Он дождался, пока все вышли из вагона, забрал свой чемодан и пошел искать подводу, чтобы добраться до дому. Долго торговался с упрямым дедом, какими деньгами ему платить. Николаевских тот не брал, думских и керенок за деньги не признавал и все повторял: «Вот если бы золотом, то можно было бы и подвезти. Это ж верст двадцать, а то и больше будет».

Еле уговорил его Казик Ермолицкий и все-таки добрался до отчего дома. Он отряхнулся от соломы, взял чемодан и молча двинулся к калитке.

Из будки выскочил здоровенный рыжий волкодав и, бренча цепью, рванулся навстречу Казику. Казик отпрыгнул и прикрыл калитку. Пес становился на дыбы, скаля острые желтые клыки, бросался из стороны в сторону, ошейник подымал на загривке жесткую щетину.

— Пират, Пират, что ж ты, дуралей, своих не узнаешь! — улещивал его Казик. Это был не тот Пират, которого он когда-то растил щенком, а другой — злющий и огромный. Но Казик знал, что всех собак, появлявшихся в их усадьбе, отец не называл иначе как Пират.

И Пират вильнул хвостом, перестал бросаться, хотя все еще рычал и скалился.

В окне показался кто-то в белом платочке, выглянул и исчез. Но из дома никто не выходил.

Пират рычал и метался у самой калитки. Стоило Казику только взяться за щеколду, как пес становился на дыбы и заливался лаем.

Хлопнула и широко открылась дверь, на крыльцо вышел отец. Показалось, что он стал пониже, раздался в плечах, совсем облысел.

— Пират, на место! — Пес подобрался и нехотя полез в будку. — Чтоваспану [1] надо? — спросил старик, не сходя с крыльца.

— Не здесь ли живет Андрей Ермолицкий? — захотелось пошутить Казику.

— А, чтоб тебя бог любил! Неужто сынок! Анэта, слышишь! Бегом сюда! — И старик бросился навстречу сыну.

---

[1] Ваше благородие (*польск.*).

Он щекотал Казикову щеку колючей бородой, схватил тяжелый чемодан и понес на крыльцо. Вытирая о фартук руки, навстречу бежала мать. Она скользкими губами ткнулась сыну в лицо, всхлипнула и утерла фартуком слезы.

— А, дитятко ты мое! Дошли материнские молитвы до всевышнего! Хвала богу, что целый вернулся!

В доме все было так, как и до Казикова отъезда. Стояли два огромных, окованных железными полосами сундука, источенный шашелем комод, длинный дубовый диван. Только фикусы разлопушились и позаслоняли окна. Мать бегала в кладовку, суетилась у печи. На треноге шкварчела яичница, отец нарезал темно-красную, хорошо прокопченную полендвицу.

Казик в исподней рубахе плескался и фыркал над большим медным тазом, взбивал рукою густые каштановые волосы, подкручивал короткие усики.

— А где же Гэлька? — вспомнил он о сестре.

— От свихнулась, дурница. Никакого сладу с ней нет. Может быть, ты вразумишь. Я уже и вожжами грозился, и замуж хотел за Неверовщика отдать, так и слушать не хочет. Влопалась в нашего батрака. Может, помнишь Ивана Кондратова из Ковалей? Последний из голодранцев, а собою видный, и не лодырь. Хотел прогнать его еще до Юрьева дня, так, не поверишь, начались такие слезы: «И повешусь, и утоплюсь...» Чего доброго, думаю, и правда руки на себя, дура, наложит, срама не оберешься. И так всем наше добро глаза колет. А сегодня с утра на мельницу вместе поехали. Как знал, что крупчатка на блинцы понадобится?! Это же такой гость желанный и нежданный.

Казик помрачнел. Сестру он оставил голенастым подростком, а теперь, выходит, — барышня. Хитрюга, видать, этот батрачок — задурил ей голову, а сам па батькин хутор зарится. Думал, больше наследников нет, живым хотел похоронить.

— Батрака этого чтобы и духу здесь не было, — отрезал Казик, — а боитесь — я сам с ним справлюсь.

— Помогай тебе боже, сынок.

Мать расстелила пасхальную холщовую скатерть, расставила тарелки, принесла запотевшую бутылку вишневки, достала с полки приземистые граненые чарки.

Сына посадили в красный угол под образа. Рядом с

Николаем чудотворцем висел портрет «императора и самодержца всея Руси Николая Втсрого». Казик сидел, расстегнув мундир. Отец, наливая чарки, не сводил с сына глаз.

— За его императорское величество и всю царскую фамилию! — поднялся Казик и осушил чарку. Старик не догадался встать, выпил рюмку, крякнул и поднес к носу кусочек хлебного мякиша.

— Сердитая, холера, спиритус из панской винокурни. — Старик подцепил вилкой толстый розоватый кусок сала и начал жевать.

Мать только пригубила рюмку и выскочила на кухню.

— Так что же это будет, скажи ты мне, Казичек? Как жить будем дальше?

— А что? Жить будем так, как жили.

— Катавасия, сынок, какая-то начинается. Не разобрать что к чему. Рудобельские голодранцы брешут, что уже и Керенского скинули. Деньги ж теперь какие будут, скажи ты мне? Катеринки ляснули, керенками — хоть подотрись, а я ж и те и энти берегу. Пойдут, быть того не может, и еще в какой цене будут.

— Керенский Александр Федорович проспал Россию на императрициных перинах, и деньжонки его можете спустить, пока не все знают. А государь император еще покажет себя. Генералы раздавят это грязное быдло. Силу собирают большую. И нам здесь нечего в шапку дремать.

Старик наполнял чарки и не пропускал ни одного слова сына: уж он-то все знает. Офицер! Не раз, видать, на собраниях вместе с генералами сидел, слышал, что умные говорят.

Мать хлопотала возле стола и не сводила глаз с сына. Даже не верилось, что это тот самый Казичек, что золотухой страдал и щеглов осенью на коноплю ловил.

— Где ж теперь наш страдалец царь-батюшка с наследником, Александрой Федоровной и великими княжнами?.. Неужели правда в тюрьме?

— Все это выдумки большевистские, мама. Его так схоронили, чтобы никто и не узнал, и переправили во Францию. Там он живой и здоровый. Как только раздавим большевистскую нечисть, «пожалуйте, ваше императорское величество, занимайте престол». Вот тогда заживем. А с этих «товарищей» шкуру будем на барабаны натягивать.

— Что же ты, опять нас оставить собираешься, Казичек? — встревожилась мать.

— Разве здесь нет этой погани? Ехал со мной в поезде сынок Соловья с каким-то рудобельским ворюгой. Наслушался я их! Вот и будем душить, чтобы кровью умывались. Вешать сволочуг надо. Этот наверняка декретишек большевистский приволок. На землю чужую зарится. Три аршина им отмерим и осиновый кол загоним.

— Правда твоя, сынок. Эти рудобельские голодранцы еще в японскую войну бунтовали. Землю панскую тогда собрались делить, два амбара в панской усадьбе сожгли. Ну ж и врезали им тогда казаки, и теперь чешутся. А самых отпетых в Сибирь упекли, откуда и коршун костей не принесет. Дай им только волю, так они из глотки вырвут.

Выпили еще по рюмке. Казик жадно ел и нахваливал ветчину. Мать все подсовывала и подкладывала ему куски пожирней. Он потянулся до хруста в костях и, пошатываясь, встал из-за стола.

— А теперь спать.

— Я тебе уже постелила, сыночек, иди в горницу.

— О том, что я дома, никому ни гугу. Если кто видел, скажете — на денек заскочил и снова в часть уехал. А батрака этого... Чтобы и духу его здесь не было!

Неровно ступая, Казик отправился в горницу, покряхтел, стаскивая хромовые сапоги, и вскоре захрапел.

Андрей Ермолицкий низко склонил голову, уставился в половицу и долго еще думал обо всем, что говорил сын. Пальцы нервно катали маленький хлебный шарик.

Слышно было, как шашель точит старый шкаф.

3

Издалека увидел Александр дым над трубою винокурни, вершины старых лип в панском саду — все то, что видел семь лет назад, когда шагал в Паричи призываться. Только раскустился при дороге ракитник, вытянулись елочки на песчаном пригорке.

День стоял серый и зябкий. Поля припорошил легкий снежок, только рыжели стежка, протоптанная клеточками

лаптей, и колеи, полные мутной воды и тонких потрескавшихся льдинок.

Вот и большой панский сад. Опавшие листья аккуратно сгреблены в кучи, на них навалены сухие сучья. Не иначе — собираются жечь. Железные ворота на красных кирпичных столбах заперты, дорожка, ведущая к панским хоромам, тщательно подметена, в окнах белеют тяжелые шторы.

Выходит, что здесь ничего не изменилось: пароконки везут к винокурне длинные скрыни с картошкой, тащатся батраки, дурманит острый запах горячей браги. Чувствуется, по-прежнему всем командует панский управляющий. У него теперь новый хозяин — зять бывшего царского камергера барон Врангель. Господа дрожат и прячутся где-то в бурлящем Петрограде, а здесь ухаживают за садом, подметают дорожки... Видать, и не знают рудобельцы о том, что теперь они всему хозяева, что и панская земля, и винокурня, и дворец этот, и сама усадьба — все принадлежит им. «Неплохую школу можно организовать в этих покоях», — подумалось Соловью.

Когда минули мостик через Неретовку, хлопцы распрощались с Терешкой и пошли улицей, обсаженной старыми потрескавшимися вербами. Из окон маленьких хат выглядывали женщины, останавливались и долго смотрели вслед солдатам дети. С крылечка сбежала молодица в разорванной на плече кофте, с закатанными мокрыми рукавами.

— Солдатики, а солдатики, может, что про моего слыхали? Ковалевич Амельян зовут его. Вот оставил полную хату детей, и хоть удавись тут с ними, а о самом ни слуху ни духу.

Солдаты остановились. Посмотрели один на другого.

— Нет, Параска, не слыхали ничего про твоего Амельяна.

Женщина всплеснула руками:

— О, боже ты мой, не Ляксандр ли Романов это? И Анупрей, не иначе. Аво-о-ой! Хвала господу, что хоть живые, с руками да с ногами возвратились. А мой уже, видать, где-то земельку парит. Ой, несчастная моя головушка, — заголосила женщина так, как, наверное, голосила не раз, вспоминая своего Амельяна. — На побывку приехали или насовсем? — утирая слезы, всхлипывая, спросила Параска.

— Отвоевались, хватит, — вздохнул Анупрей.

— А винтовку зачем приволок? Неужто еще не нянчился с нею?

— Привык. Пусть будет, может, еще пригодится, — усмехнулся Александр.

— Не плачь, Параска, если жив, вернется твой Амельян.

— Дай бог! — И побежала во двор.

В конце Карпиловки Анупрей остановился:

— Мне сюда, — и протянул Александру руку.

— Что дальше, большевик, делать собираешься? — спросил Соловей.

— Что все, то и я, советскую власть будем устанавливать.

— А винтовку почему не прихватил? Тут, брат, революцию еще только начинать придется. Так что не очень к бабе присыхай. Приходи в волость. Соберемся, потолкуем, с чего начинать. — Соловей поправил на плече винтовку и зашагал, шелестя опавшей листвой.

На волостном крыльце старой вывески с двуглавым орлом не было. Это пришлось Александру по душе. Он поднялся по ступенькам и вошел в большую пустую прихожую. В уголке на длинной лавке сидела старая женщина и жевала кусок подгоревшего блина.

— День добрый, тетка!

— Эге ж, здорово, служивый! — ответила она.

— Кто же здесь теперь правит нами?

— А бог их разберет, кто правит. Наши, деревенские, сказывают, что Прокоп с Максимом Левковым. Коли тутошний, то должен знать.

— Это же который Прокоп?

— Зубаревичский, Молоковича Дениса сынок. Там они все, у них и спроси. — Она показала на дверь, за которой раньше сидели писаря; оттуда слышны были приглушенные голоса.

Соловей широко раскрыл дверь, поставил в угол винтовку, долго пожимал и тряс руки всем, кто был в комнате, заглядывал каждому в глаза. А здесь их было человек шесть. За канцелярским столом с отодранными, завернувшимися вверх уголками зеленого сукна сидел высокий с русым чубчиком, спадавшим на лоб, Прокоп Молокович. Рядом, с бумажкой в руке, стоял чернявый и тонкий Максим Левков.

— Присаживайся, рассказывай, господин унтер, кто ты и что ты есть, — насупил брови Прокоп. — Знали тебя как известного нашего горемыку, а теперь не разберешь, кого куда мотнуло.

— Сейчас доложим.

Александр расстегнул заношенную солдатскую гимнастерку, запустил руку глубоко за пазуху и долго копался, прежде чем достать что-то из потайного кармашка. Вытащил потертые картонные корочки и подал Молоковичу.

Все присутствующие следили за его лицом. На Проковом лбу разглаживались морщинки, постепенно круглели щеки. Он дочитал до конца и сказал:

— Теперь все послушайте:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Бобруйский уком РСДРП(б). Мандат.
Товарищ Соловей А. Р., член партии большевиков, направляется в Рудобельскую волость для организации волревкома, создания советских органов и проведения политики партии большевиков.

Председатель укома.

Секретарь».

Расписываются так, что не разберешь. Однако печать стоит.

— А ты его господином унтером обозвал, — засмеялся Левков.

— Это еще не все, — поднялся с лавки Соловей. Он снял с плеча мешок, долго развязывал лямки. Вытащил сверток, завернутый в бумагу. Молокович зубами разорвал суровую нитку и развернул на столе большое красное полотнище.

Дедок в вислоухой заячьей шапке хихикнул из угла:

— Эх и юбка будет Прокопихе!

— Не балаболь, дед, я абы что, — разозлился Молокович. — Теперь у нас есть свой советский стяг. — Он разгладил огромной ладонью полотнище: — Завтра в эту же пору соберем все обчество на сход. Надо наказать по селам, чтобы приходили.

— Ковалевских я приведу, — сказал Максим.

Сконфуженный дедок пообещал передать руднянским, остальные мужики взялись сообщить в Карпиловку, Лавстыку и Смугу.

— Теперь рассказывай, чего хорошего на свете слыхать, — попросил Молокович.

— Надо же как-то к своим добраться. Говорят, они где-то в Хоромном обосновались. А завтра утром приду, тогда и поговорим.

4

С утра немного потеплело. Отошла земля, стаял первый слабенький снежок, только кое-где еще белели борозды и придорожные канавы, с ветвей, кустов и деревьев каплями стекала талая изморозь. Сквозь низкие лохматые тучи порой пробивалось и вновь скрывалось солнце.

По дорогам, по стежкам, протоптанным в поле, напрямик через огороды и перелазы шли мужики, женщины и дети. Женщины нарядились в праздничные паневы, лапти обули на беленькие холщовые онучи, а у кого были — натянули залубеневшие высокие ботинки на пуговицах, повязали яркие платки. Шли к волости, как на престольный праздник.

— Куда это так вырядилась? Ну, как на пасху? — спрашивали друг у друга соседки.

— Сама кашемировку повязала, а еще прикидывается, что ничего не знает.

— Что же там, в волости, будет?

— Поглядим. Что-то ж скажут.

— Мой балаболил — землю делить будут.

— А где ее взять, чтобы делить?

— Романов сын с хронту привез.

— Разве ж что в котомке.

Перебрасывались вопросами и шуточками и шли из Ковалей и Карпиловки, из Рудни, лесных хуторов и выселков. Из Хоромного шли втроем: Роман Соловей, Александр и его сестренка Марылька. Старик с утра побрился, надел новую домотканую свитку, натянул фуражку с лакированным козырьком.

Они проговорили с сыном почти до рассвета. Роман несколько раз перечитал «Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» и листовки, напечатанные на тонкой бумаге.

— Что же теперь будет, сынок? — допытывался старик. — Говоришь, землю раздадут мужикам. Да разве эти кровососы так ее отдадут? Гатальский глотку перегрызет за свое.

— В том-то и фокус, батька, что не их она, а наша. Кто сеет и пашет, того и земля... На то и революцию делали, и умирали, чтобы живые по-человечески, по правде жили.

— Я, сынок, думаю, что повоевать еще с ними придется, крови немало пролить, пока нашей она станет.

— И повоюем. Воевать мы научены. Царя скинули — не испугались, Керенскому по загривку дали и с этими управимся.

Марылька еле поспевала за братом. Ей хотелось идти рядом, глядеть на его обветренное лицо, тонкие усики, нос горбинкой, темные, глубоко запавшие глаза.

Как он изменился за эти годы: встретила бы где-нибудь и не узнала бы. Свой, близкий и какой-то чужой, так мало знакомый. Если и вспоминался раньше, так только такой, каким он был до призыва: послушный и ласковый. Никогда не прекословил отцу, пахал с ним и косил, мотыжил землю на вырубках в Хлебной поляне, а когда вытянулись и набрались сил Петрик с Костиком, на луг с отцом шагали три косца. Петрика Марылька никогда больше не увидит. Вспомнила брата, соленый комок подступил к горлу. А был же такой красавец и весельчак! Смастерил ей, маленькой, возок и на поле, на жниво возил ее. А как на гармошке играл! Девки за ним чередой ходили. А теперь и могилки его нигде не найдешь. Она вытерла слезы.

— Ты что, Марылька? — глянул на нее Александр.— Может, обидел кто?

— Да нет, ветер в глаза.

Возле волостного правления толпился народ. Стояли кучками, разговаривали. Мужчины дымили на крыльце. Бабы в красных, зеленых и синих паневах сидели и стояли в сборне и во дворе. Рассказывали, когда чья буренка отелится, кто сколько капусты нашинковал, бульбы забуртовал.

— Гляньте, гляньте, бабоньки, Роман с сыном идут,— сыпала скороговоркой Параска.— Справлялась вчера у него про своего Амельяна, думала, может, встречал где.

— Война великая, а людей, молодица, как мурашек. Где ж тут найти твоего Амельяна, — вздохнула высокая, худая, с седыми прядями женщина. — Троих сыновей отдала, как в воду канули. Германец ерапланами губит и, говорят, дымом каким-то смердящим травит.

Роман остался с мужчинами, Марылька побежала к девчатам, Александр поздоровался со всеми и скрылся за дверью.

А людей все прибывало и прибывало. Уже двор был полон, стояли на улице, сидели, кто где примостился. Ждали, что им скажет Романов сын. Это же из самого Петрограда приехал, свет повидал, законы какие-то новые привез, землю, слух прошел, раздавать будет по тем большевистским законам. Про войну, разрази ее гром, что-то скажет.

На крыльцо вынесли стол. Все сгрудились поближе. Задние вытягивали шеи, мальчишки в облоухих отцовских шапках, в мамкиных кафтанах с закатанными рукавами позабирались на заборы и всматривались в темный проем открытых дверей.

— Идут, идут! — закричали ребятишки.

Вперед вышел Прокоп в домотканом суконном френче, перетянутом широким ремнем, в высокой солдатской папахе, сбитой на затылок. Он поднял руку. Стало тихо.

— Граждане и все опчество! — выкрикнул он. — Вы знаете, что кровопийцу-царя народ еще после рождества турнул с престола, а в среду, двадцать пятого числа, и Керенского с его сворой погнал взашей. В Петрограде рабочие, солдаты и матросы отобрали власть у панов. Теперь большевики всему голова. Это, мужики, самая наша власть и есть.

— А кто они, те большевики, скажи ты нам? — выкрикнул кто-то из толпы.

— Большевики?.. Как тут понятней сказать... — Прокоп малость помолчал. — Ну, это люди, которые хотят, чтобы горемычный народ по-людски жил, чтоб землю всю раздать мужикам, а заводы и фабрики — рабочим, чтобы войне конец положить... — И, смущаясь, понизив голос добавил: — Ну, вот я — большевик, и Максим — большевик, и Лександра Соловей — большевик, Анупрей Драпеза и Левон Одинец. Это только здесь, а по всей России большевиков много тысяч. Так я и говорю, Бобруйский уком партии большевиков прислал то-

варища Соловья, чтобы он все растолковал что к чему, как жить дальше и вообще... Говори, Романович.

Соловей приблизился к собравшимся. На нем — суконная зеленая гимнастерка с большими карманами, на голове — солдатская фуражка. Фуражку он снял, обвел взглядом людей.

— Товарищи! — впервые услышали это слово мужики и женщины. До этого никто к ним так не обращался. Толпа глухо загудела. — Товарищи, — повторил Соловей. — Не все, видать, еще знают, что Временное правительство низложено. В Петрограде власть взяли рабочие и крестьяне, создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Тут спрашивали, кто такие большевики и чего они хотят. Мира хотят, справедливости и добра тем, кто спину свою гнул на панов и фабрикантов. Нету теперь больше господ. Хватит, попановали!

— А куда ж они подевались? Разве что нечистый уволок! — выкрикнула из толпы какая-то тетка.

— Эге, детки, никакая холера не возьмет. Командуют. А прискачет зятек панов, Врангель этот, опять мужикам задницы исполосуют, — добавила стоявшая рядом пожилая кобета [1].

— Товарищи женщины,—поднялся Молокович,—угомонитесь немножко, дайте сказать человеку.

— Привыкли языками куделю трепать, — загудел глухой бас.

Стало тихо. Соловей продолжал:

— Теперь у нас советская власть. Что это значит? Собираются гуртом рабочие, крестьяне, солдаты и совет держат, как лучше всякое дело вести. Нашел Совет управу на царя и на министров временных, и барона Врангеля его доля не минует, уж это будьте спокойны, товарищи женщины! Но голыми руками панов не возьмешь. Кому охота отдавать мужицким мозолём нажитое? Так что революция победила, а воевать еще придется — с панами, царскими офицерами и хуторской шляхтой. Коли у кого оружие есть, попридержите, а нет — добудьте. Оно нам еще понадобится. А сейчас, товарищи, я прочитаю первые законы нашего рабочего и солдатско-крестьянского правительства. — Он развернул довольно большую газету

---

[1] Замужняя женщина (*бел.*).

и сложил страницу, чтобы сподручней было читать: — «Декрет о мире, принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов 26 октября 1917 года.

Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире».

— Каком, каком, ты сказал, мире? — перебил высокий мужик с трубкой в зубах. — Может, это выходит нас под германца отдать?

— Нет, дядька Кондрат, де-мо-кра-ти-че-ский — это такой, чтобы народу хорошо было, — успокоил его Александр. — Дальше обо всем написано.

Он дочитал декрет до конца. Толпа загудела, зашевелилась.

Запричитали женщины:

— А дай же боже, чтобы этому убийству конец пришел! Будь воля господня, то и мой сыночек вернется, живой бы только был.

— Папка вернется, папка вернется, — покачивала на руках девчурку молодица с глазами, полными слез.

Загудели мужики:

— Слыхал, замирение на три месяца, а там договорятся совсем не воевать.

— Башковитые эти большевики. Глянь, как складно описали.

— Хоть и не все сразу раскумекаешь, а, видать, чистая правда.

Когда слегка поутихли, Соловей заговорил вновь:

— И еще, товарищи, один самый важный для нас, мужиков, декрет. «Декрет о земле, — начал читать он, — Съезда Советов Рабочих и Солдатских Депутатов (принят на заседании 26 октября в два часа ночи). Первое! — Он помолчал. В толпе стало тихо, словно на площади никого не было. — Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа... Второе! — еще громче произнес Соловей. — Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение во-

лостных земельных комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до Учредительного собрания...»

Он читал о том, что запрещается какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, что право частной собственности на землю отменяется навсегда, что землю нельзя ни продавать, ни покупать, ни сдавать в аренду, что земля переходит в пользование трудящихся на ней. И закончил:

— «Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются. Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов (Ленин), 26 октября 1917 года».

Заволновалась, загудела толпа, заговорили все разом.

— Когда делить начнем?

— Сколько на душу выйдет?

— Панских лошадей надо раздать!

— Это точно! Хотя бы дров привезти.

— А кормить чем будешь?

— И сено отнимем!

Молокович постучал ладонью о стол.

— Бабы, мужики, угомонитесь вы! — попробовал он перекричать взбудораженных, галдящих людей. Но толпа не успокаивалась. Все вместе собрались впервые и услышали такое, о чем вчера еще и во сне не мечтали. Одни поверили в новые законы и уже представляли свои наделы и доброго коня из панской конюшни, другим не верилось, что такое может быть: царь бы написал такой закон, и то не каждый поверил бы, а то какой-то Совет! А что он может? Есть ли сила у него? А кто подчинится этому Совету?

Александр Соловей поднял руку. Слова его заглушал говор толпы, но постепенно становилось тише, наконец умолкли и последние голоса.

— Здесь спрашивают, что к чему и поскольку земли давать будут? К весне поделим панскую и шляхетскую, чтобы отсеяться. А чтобы все по-людски сделать, по закону, по совести, должны мы выбрать свою власть — волостной революционный комитет. Выбирайте тех, кому верите. А кто сказать хочет, так выходи сюда, на крыльцо.

— А что там говорить? — послышались голоса.

— И так ясно!

— А я вот что скажу, — начал протискиваться вперед черный худой старик.

— Что он там скажет?

— Снова о турецкой войне будет байки плести.

— Пусть говорит!

Толпа начала расступаться.

Дед поднялся на крыльцо, снял вытертую овечью шапку, скомкал ее в руках.

— Что Советы написали, все это хорошо. Без земли мужик, вроде рыба без воды, подохнет. А вот почнем делить земельку, и каждый захочет урвать себе загон и поболе и получше. Сцепимся за чубы, колами головы один одному расчешем. Правду говорю, мужики? Следовает, надо кого-то одного слушать. Сказали, волостной, как его там, энтот самый микитет нужен. Хай будет микитет, только чтобы толково смикитил. И еще вам скажу на свой невеликий разум: лучшего чем Лександр Романов нам не найти! Что до грамоты или до справедливости, одним словом, совестный человек. Нехай будет Соловей!

Он натянул треух задом наперед и под согласный ропот толпы спустился с крыльца. За столом поднялся Прокоп Молокович.

— Кто за то, чтобы председателем ревкома был Соловей Лександра, поднимите руки.

Тут же взметнулись вверх сотни обветренных, покрасневших ладоней, и в толпе разом заговорили.

— Пускай будет!

— А что, хлопец добрый!

— Своих в обиду не даст!

— Самостоятельный и наш человек!

А какая-то разбитная молодуха выпалила:

— Женить вперед надо!

В передних рядах загоготали.

— Сам не дите.

Раскрасневшаяся Марылька поглядывала из толпы на брата и впервые за двадцать лет, как ей казалось, была счастлива. Подружки завидовали ей и не сводили глаз с красивого, статного Александра. Не одна, наверное, видела себя рядом с ним и хотела, чтобы он заметил ее и улыбнулся ей.

Роман стоял среди мужчин, и старику не верилось, что это его родной сын, тот самый Алесь, с которым столько перегоревали они по чужим углам, на шляхетских загонах, на дернистых вырубках. Думы старика перебил знакомый голос:

— Спасибо вам, товарищи, что доверяете мне. При всех слово даю, что не пожалею сил и жизни своей за советскую власть, за партию большевиков, за революцию... А теперь нам нужно выбрать еще секретаря и членов ревкома. Говорите, кого бы вы хотели.

— Максима Левкова!

— Анупрея Драпезу!

— Молоковича Прокопа!

— Левона Одинца! — выкрикивали из толпы.

Снова вздымались окоченевшие пятерни, волновалась и гудела толпа. Только что избранные члены ревкома выходили на крыльцо и становились за столом. Александр Соловей взял в руки длинный, гладко обструганный шест. Верх его был обернут чем-то красным. Все смотрели и не могли догадаться, что это у него в руках. Тогда председатель ревкома высоко поднял шест и начал его раскручивать. Над головами затрепетало алое полотнище.

— Товарищи рудобельцы, — заговорил Соловей, — это наше красное знамя, знамя революции. На нем кровь тех, кто погиб за простой люд, за счастье и свободу. С нынешнего дня он будет висеть над ревкомом. Там, где красный флаг, там советская власть. Пусть в каждом селе, над каждым бедняцким хутором будут такие флаги. Пусть паны, шляхта и все прочие знают, что и к нам пришла революция, что власть нынче наша!

— Где ж ты его купишь, коли лавка который месяц под замком? — наседала из первого ряда Параска.

— Кто захочет, тот отыщет, — спокойно ответил Соловей и вдруг заметил, что по улице семенит невысокий дедок и размахивает топором.

— Братцы, помогите поймать! — на высокой ноте выдохнул дед с топором.

«Да это же Терешка, — узнал Александр. — Что он, одурел, что ли?»

Терешка прошмыгнул возле самой стены, вскарабкался на крыльцо и, отдышавшись, затараторил тоненьким голоском:

— Хватайте его, гада печеного, во-о-о-он туда задами в олешник драпанул, видать, на футора подался. Где ж мне, старику, такого бугая перенять? Как припустил, только его и видели. Думал, топором достану, так он извернулся, слизняк поганый.

— Кого ловить? Толком, дед, говорите, — вмешался Соловей.

— Как это кого? — вытаращился дед. — Иду это я на дровотню, дай, думаю, бабе щепы наколю, да и до волости побегу на собрание, только вижу, кого-то нечистая сила от батюшки несет. Бугай бугаем, ноги не держат, качает его у забора с боку на бок. Сам в кожушке замызганном, а холявы блестят. Присмотрелся: морда красная и рыжие усы торчат — побей меня бог! — стражник Минич... Я за топор да за ним. «Стой, — кричу, — гад печеный! Теперь народ тебя судить будет». А он как сиганет через изгородь да как влупит по пашне, а я следом, а я следом. До самой гати гнал. Помогите, браточки, изловить, да и повесим его на воротах всем обчеством, чтобы знал вперед, как измываться над мужиком. Это ж я по его милости вшей кормил и в щепку высох.

Кто посмеивался над Терешкой, а кто и готов был бежать и ловить стражника.

— Пусть побегает. От закона он нигде не укроется, — спокойно заговорил Соловей. — Поймаем и будем судить по всей форме. А топорик ваш, дедушка, нам кстати. — Он взял у старика небольшой легкий топорик. Хлопцы приставили к крыльцу лестницу, Максим подал гвозди. Сжимая одной рукой флаг, а другой топор, Александр осторожно взобрался на крышу.

Ветер подхватил, развернул алое полотнище, оно натянулось, затрепетало, зашелестело в хмуром осеннем небе. А когда сверкнуло солнце, флаг посветлел, по нему побежали густые пунцовые волны.

Люди, задрав головы, глядели на трепещущее, словно язык огромного пламени, полотнище.

В Рудню и Ковали, в Лавстыки и Новую Дуброву расходились веселыми говорливыми толпами. Медленно, с палочками топали деды. Верилось и не верилось, что будет так, как объявил Романов сын. Кое-кто сомневался:

— Кто написал те законы, бог его ведает. Миколай был, что ни прикажет, хоть верть-круть, хоть круть-верть, а сполнить должон; какой-никакой, а император. А тут — Совет. Что за сила у того Совета, еще поглядим. Царские ж генералы с ахвицерами целехонькие, что надумают, то и сотворят.

— Не тот страх, что впереди, а тот страх, что сзади, — возражал ему бородатый дед. — Хоть раз наедимся

хлеба вволю. А ты это понапраспу не веришь Совету. Совет, браток, — сила, народ! У большевиков, сказывают, за главного башковитый человек стоит, страх какой ученый, на всех языках говорить может. Лениным зовут. Он теперь самый важный в России. Слыхал? Это же он понаписал те декреты.

Вдоль улицы, как будто из церкви, в пестрых паневах и юбках шли бабы и девчата. Трещали наперебой.

— А, бабоньки, какой же видный да ладный хлопец Романов сын.

— Эх, не куча б детей, я б его сама окрутила! — разошлась Параска.

— Вот Амельян вернется, он тебя вожжами так отчешет, что и не сядешь.

— Он у меня ласковый, — притихла, вздохнула и снова помрачнела Параска, вспоминая своего Амельяна.

— У тебя, Параска, часом, красной краски не осталось? — спросила высокая худая тетка Марьяна. — Хочу хоть кусок полотна покрасить да повесить тот флаг на хате.

— Поищу, тетенька. И я ж думаю что-нибудь покрасить. Так что приносите ко мне и свое.

Назавтра в Карпиловке и в Ковалях, в Рудне и Новой Дуброве на крышах и на углах хат заалели стяги. Они были светлые и темно-бордовые, побольше и поменьше, из поношенного ситца и нового холста. Ребятишки бегали из конца в конец села и спорили:

— А наш лучше, чем ваш!

— Зато наш больше и ситцевый.

— Вот и неправда, самый красный на Параскиной хате.

5

В сумерках Иван и Гэля на пароконке возвращались с мельницы. Хорошо было сидеть рядом на мягких мешках еще теплой пеклеванки. Они не торопились: так хотелось еще хоть немножко побыть вместе. Андрей отпускал дочку с батраком только на мельницу, для того чтобы тот, не дай бог, не отсыпал себе пшенички или му-

ки. И не хотелось старому Ермолицкому, чтобы они оставались одни, да за добро трясся.

Иван погонял коней, а разрумянившаяся на ветру Гэля, в ладном полушубке, отороченном белой овчиной, в высоких ботинках и в сером платке-коноплянке, поглядывала на чернявого, дюжего Ивана. Он молча курил и думал свою невеселую думу. Не раз уже собирался податься с этого глухого хутора, наняться хоть к самому черту, да держала она, стройная как камышинка, синеокая, ловкая и такая ласковая Гэлька. Видано ли, чтобы шляхтянка полюбила отцовского батрака и чтобы он так присох к ней? Знает, что ничего из этого не выйдет. Может, и прав хозяин: сапог лаптю не пара, а Гэльке нужен жених не лишь бы какого рода, чтобы у него и земля была, и хорошие выездные кони, и дом как дом, и одежда — одним словом, ровня. А что у него? Ни кола ни двора. У отца — хата на два окошка, с глиняным полом, клочок никудышной земли и полная хата детей. Правда, время теперь такое, что не разберешь кто чего стоит. На мельнице вот говорили помольщики, что будто в Петрограде переворот учинили и теперь панскую землю бедноте раздадут. Если бы так!

Иван, обжигая пальцы, смоктал окурок и то и дело понукал лошадей.

— Чего снова молчишь? Дома от батьки прячешься и тут как воды в рот набрал, — прильнула к нему Гэлька. — Про что думаешь?

— Про что же мне думать? Одна у меня думка — про горе нашенское. Меня присушила и сама сохнешь, а куда нам деться, если твои на меня волком глядят? Хотел бы кинуться куда глаза глядят, да не могу. День не вижу тебя, кажется, что слепой хожу. Знаю, не быть нам вместе. Отдадут тебя за шляхтюка какого-нибудь, и не увидимся, может.

— Лучше головой в прорубь, чем идти за нелюбимого. Не за человека же отдают, а за коней, за коров, за землю, чтобы жилы рвать на ней, пока не околеешь. Вот увидишь, не послушают — все брошу, убегу, в батрачки наймусь, а с тобой буду. — Она прижалась к Ивану, склонив на его плечо голову.

Колеса громыхали по корням лесной дороги, сопели сытые кони, и тихо шумели голые верхушки деревьев. Когда выехали из леса, стемнело совсем. Во мраке светил-

ся, мигал и расплывался слабый огонек, глухо лаял Пират.

Возле дома Гэле стало тоскливо и горько. Их одинокий хутор, особенно после людной мельницы, гомона помольщиков, шума воды и грохота колес, казался глухим как могила. Выросла здесь и людей не видела. Ее ровесницы на посиделки ходят, на вечеринках гуляют, хоть и голодные, да веселые, а она только и говорила с коровами да овечками, век слушала отцовское ворчание — все ему мало, все не так да не этак. Только и радости было, когда в жниво нанимали девчат и молодух из Ковалей и Карпиловки, варили огромные чугуны ботвиньи, несли на поле горлачи с квасом. А женщины старались на загонах, пели иногда грустные песни. Гэля и петь не умела ни мужицких, ни шляхетских песен. Дома не пели. Больше ругались или молчали. Сейчас придешь домой, отец снова будет смотреть волком, ворчать и охать: никто ему не угодит, никому не скажет он доброго слова.

Подъехали к амбару. Старый пришел с маленьким закопченным фонарем.

— Что-то долго вы проваландались, еле дождался. Думал, может, ось сломалась или какая беда стряслась.

— Очень большой завоз, — ответил Иван. — Одни Перегуды два воза приперли, и все шатровать. Говоровские восемь мехов навальцевали, а с котомками — конца-краю нет.

— Два воза, говоришь, шатровки! Видал ты его. — Старик почмокал губами, пощупал через мешковину, хорош ли помол. — Распрягай! — приказал Ивану. — А ты — марш в хату!

— Я, папа, помогу мешки снести.

— Сами управимся, не калеки. — Он повесил фонарь на гвоздь, забряцал ключами, нашел нужный и отомкнул амбар.

Гэлю на пороге встретила мать.

— Деточка ты моя, намерзлась небось и намучилась.— Она семенила по избе и хитровато улыбалась.

Гэля почувствовала, что в боковушке кто-то есть, настороженно прислушалась.

— Если бы знала, кого нам бог послал, пешком побежала бы с той мельницы.

В дверях показался мужчина в белой нижней рубашке и в галошах на босу ногу. Он захохотал.

— Не узнала, не узнала! — И кинулся к Гэле.

— Казик! — обняла она брата.

Мать, счастливо улыбаясь, смотрела на них.

— Я ж говорила, что какая-то новость будет. Это с пятницы на субботу сон мне снился, будто иду в хату, а она не заперта и двери настежь. Воры, думаю себе. Крикнуть хочу, а голос отняло, губы как смерзлись и не шевелятся. Вошла и вижу — летает по хате воробышек и в окно бьется, вырваться хочет. Покрутился, покрутился, фыр в двери и полетел. Говорю отцу, новость какая-то будет, а он, известно, свое: «Дураку дурное и мерещится». А что ж, чья правда?

— Насовсем, Казик? — спросила Гэля.

— Отвоевался, хватит. Теперь в армии комитетчики правят, прапорщики с унтерами полками командуют. С полковников погоны срывают. У нас штабс-капитана Марухина на штыки вздернули. Нашему брату с ними не по пути. Пусть порезвятся, поиграют немного в свободу. А там увидим!

«Брат не посочувствует», — подумала Гэля. А так сначала обрадовалась, думала — заступится, поможет отца уговорить, чтобы отдал за Ивана. И приданого того не надо, пусть бы для близира хвост какой дали на разжиток.

Она развязала серую от мучной пыли коноплянку, сбросила полушубок, причесала светлые, гладкие волосы. В черной длинной юбке, розовой, с манжетиками, кофточке с высоким лифом Гэля была так свежа, румяна и красива, что брат не узнавал в ней того подростка, каким она была перед его отъездом в юнкерское училище.

— Ну и выросла, ну и похорошела. — Казик хитро улыбнулся и, словно шутя, спросил: — От кавалеров, видно, отбоя нет?

Гэля покраснела до ушей.

— Нужны они мне, как хворобе кашель.

— Значит, одного выбрала, — пытался шутить брат.

Гэля молчала, опустив голову. Она понимала, куда клонит Казик. Все уже рассказали! А прикидывается, выпытывает. И только бы не молчать, попросила:

— Мама, может, молочка кружечка есть, а то в горле от пыли как теркою дерет.

— Почему ж нет? Только подоила. — Мать, не закрыв двери, шаркая опорками, выскочила в сени. Внесла кув-

шин парного молока, налила в покрытую глазурью кружку. — Придет отец, ужинать будем. А ты попей, попей, дочушка, пока еще то будет.

Гэля молча пила. Мать глядела то на нее, то на сына и только кивала головой. Ей не хотелось, чтобы снова вспыхнула ссора, не хотелось видеть дочерних слез в такой радостный день. А на сердце было неспокойно. Может, оттого, что в мире творилось что-то страшное и непонятное, а тут еще с этой девкой никакого сладу.

В сени вошел Андрей. Открыл дверь, чтобы светлей было, снял с гвоздя старый, крытый сукном кожух, бросил жене:

— Дай ему чего-нибудь поесть, пускай в амбаре посидит, посторожит. Ночь — хоть глаза выколи, а голодной босоты во-он сколько таскается! Без царя да без закона им только и чистить чужие закрома. А под кожухом холера его не возьмет, не замерзнет.

— Он же закоченел, мешки таскал, чуть не надорвался, с утра маковой росинки во рту не было. Поел бы хоть как люди, — заступилась за Ивана Гэля.

— Не великий пан. На ларь поставит и съест. Нечего в чужую семью лезть. И без него обойдемся! Тут между своими, может, надо словом перекинуться, а чужой человек зачем? — Слово «чужой» Андрей произнес подчеркнуто громко, посмотрел исподлобья на Гэлю, взял кожух, миску с едой, хлопнул дверью и ступил за порог.

— Ты чего это заступаешься за этого батрака? — закипая от злости, спросил у сестры Казик. — Может, голову тебе закрутил этот ковалевский босяк?

— А он разве не человек, что ему за столом и места нет?! — вспыхнула сестра.

— Мужик! Подколодный гад! Каким бы он ни был, а я с ним за один стол не сяду.

— Ты же его не знаешь, а говоришь.

— И знать не хочу... И тебе нечего на него глаза пялить! — отрезал Казик.

«Ого, этот похлеще отца», — подумала Гэля. Она почувствовала, что вот сейчас уже что-то решится, что-то произойдет в семье и ее жизни. Ивана выгонят... Может, вместе податься в какую-нибудь усадьбу... Но теперь всюду неспокойно: паны куда-то улепетывают, одни экономы остаются... И тяжко уходить из родной хаты, обжитой и теплой; жаль молчаливой, затурканной матери. Она же

добра дочке желает, только сказать боится... Брат вернулся, тут бы радоваться, а ей горько: чужой он какой-то, колючий и злой.

Гэля с матерью ставила на стол миски с квашеной капустой, с горячей рассыпчатой картошкой, нарезала розовое сало и ломти хлеба от большого каравая, посыпанного тмином.

Отец принес из сеней початую бутылку николаевской водки, поставил на стол, мать вытерла фартуком две толстые граненые чарки.

— Поставьте себе и Гэле,— казалось, оттаял Казик,— за сколько лет собрались вместе, не грех и выпить.

Гэля только пригубила рюмку, скривилась, зажала рот рукой и поставила на стол.

— Выпей с братом, сохрани вас бог, — льстиво выдохнул отец.

Казик снова налил себе и отцу, поднял чарку, уставился на сестру.

— Очень уж горькая, — скривилась Гэля, но все-таки выпила.

Долго и шумно закусывали... Каждый думал о своем и молчал.

— Как там старый Перегуд мается? — ни с того ни с сего спросил Казик.

— А, черт его не берет. Вот и сегодня два воза пшеницы напеклевал, трех работников держит, коров штук восемь, а сам по кирмашам на рысаках гарцует, — не скрывая зависти, ответил батька. — Хлопца, сказывают, за золото из окопов вытащил, дочку в гимназию в Бобруйск отправил. Живе-ет и в ус не дует!

— И нам бы свою хоть немного подучить, — несмело отозвалась старая, — только три зимы и походила. Может, тогда и доброго человека повстречала бы.

— Не суй свой нос, — огрызнулся Андрей. — А достойный человек и так не минет. Статью бог не обидел, и приданое дадим, и забудь про этого голодранца. Завтра же турну, чтобы и духу не было.

Гэля опустила голову и выскочила в сени.

— Правду батька говорит — волк козе не товарищ. Ишь ты, умник какой, на хутор зарится, на готовенькое. Вахлак вахлаком, — взорвался Казик.

— Вот и я то же говорю. Истинная, сынок, правда, — бормотал осоловевший Андрей.

6

В ревкоме было накурено и людно. За длинным столом сидело человек десять мужчин: кто в зипуне, кто в кожушке, в солдатских папахах и фуражках. Мужики слюнявили карандаши и заскорузлыми пальцами выводили в ученических тетрадях букву за буквой, строку за строкой.

Максим Левков диктовал им декреты о земле и о мире, и они старательно записывали слово в слово.

— Постой, постой, как ты говоришь? — переспросил пожилой мужик, недоумевающий, как написать «демократический» и что это означает. Максим повторял, объяснял и диктовал дальше.

Когда закончили, из комнаты председателя вышли Соловей с Молоковичем. Александр стал посреди зала и заговорил:

— Мужики, все мы были солдатами и знаем, что война сразу не кончается. Советы хотят мира, только и за мир воевать надо с панами, офицерами, легионерами Довбор-Мусницкого. Корпус этого генерала встал на защиту панов, солдаты белопольского корпуса разъехались по имениям и охраняют их, разгоняют ревкомы, бунтуют в Бобруйске и Жлобине. Не сегодня-завтра могут быть и у нас. Что делать будем? А?

— Защищаться. Что ж еще? — за всех спокойно ответил Мануил Ковалевич.

— А чем? — снова спросил Соловей.

— Ты принес винтовку? Принес. А я, думаешь, дурень? Так и каждый! — выкрикнул Тарас Пальцев.

— Отыщем! У кого двустволка, у кого берданка... Что-то принесем.

— Хорошо, что все кумекаете, для чего нам оружие пригодится. Надо свою самооборону создавать, отряды Красной гвардии. У кого какое оружие есть, патроны, порох, может, кто гранаты припас,— завтра утром со всем, что у кого найдется, приходите в волость. Так и другим передайте.

— А что делать тем, у кого нету? — встревожился конопатый хлопец.

— Искать надо. С палкой против пулемета не попрешь. Шляхту потрясем, во врангелевских покоях пошарим.

— На футарах и орудию откопаешь. Застенковые шершни запасливые, — пошутил кто-то.

— Одним словом, товарищи, так: защищать свою власть, свои права надо самим, ревком теперь становится и революционным штабом. Военным комиссаром будет вот он, — Соловей показал на Прокопа, — товарищ Молокович, командиром — Апупрей Драпеза. В каждом селе будет отделение, взвод, а может, и рота наберется. Все живут дома, а чуть что — по приказу, как по тревоге, выступают. Ясно?

— Еще бы!

— Мы им дадим жару, пусть только сунутся! — гудели мужики.

Соловей попросил, чтобы остались члены РСДРП большевиков. Остальные начали расходиться.

Шли группками в свои села, несли за пазухой переписанные в ученические тетради первые декреты и говорили все про одно и то же.

— А ты думал, за здорово живешь нарежут тебе волоку — и шикуй себе?

— Где ты видел, даром они не отдадут. Повоевать придется.

— И повоюем, а своего не отдадим. Наша земля.

— А чья же? Раз в декрете записано, значит, наша.

В комнатушке председателя собралось восемь рудобельских большевиков: худой, с запавшими глазами, с космами серых волос, остроносый Яков Гошка, высокий, с богатырскими широкими плечами, с маленькими усиками на розовом лице Максим Ус, смуглый, всегда спокойный Левон Одинец, Максим Левков, Прокоп Молокович, в черном бушлате и широких матросских клешах, совсем еще молодой балтийский моряк Зенон Рогович и не по годам рассудительный молодой Ничипор Звонкович.

Они расселись на лавках у стен и ждали, что скажет Соловей.

А тот окинул взглядом знакомых с детства друзей, вспомнил потрескавшиеся пятки и руки в цыпках, поско-

нину, выкрашенную ольховой корой, чумазые лица и только улыбнулся. Сейчас перед ним сидели обветренные, закаленные жизнью мужчины. Не раз глядели они в лицо смерти под Сувалками и Барановичами, у некоторых еще ныли раны от немецких пуль и шрапнелей. Это его самые близкие друзья и единомышленники, первые большевики Рудобельщины.

Все эти мысли мгновенно пронеслись в голове. Соловей одернул вылинявшую гимнастерку, поправил широкий ремень и заговорил спокойно и тихо:

— Товарищи, нас здесь всего восемь большевиков. Не много, но мы уже организация, сила. Максим, — обратился он к Левкову, — придется писать протокол.

Максим вытащил лист бумаги, опробовал перо и аккуратно, большими круглыми буквами вывел: «Протокол № 1 собрания Рудобельской волячейки РСДРП большевиков».

— Товарищи, нам придется воевать не только с панами и подпанками, не только с богатой застенковой шляхтой, но и с вооруженными силами контрреволюционного корпуса Довбор-Мусницкого, — продолжал Соловей. — Сейчас все видят, что Временное правительство Керенского создало этот корпус, чтобы душить революцию, охранять помещичьи имения и расправляться с большевиками и беднотой. Наверное, и Мухель ждет не дождется легионеров, чтобы уберечь врангелевское добро.

— Что ты! — перебил его Левков.— Мухель давно землю парит. Дался он тебе, что и мертвого вспоминаешь. Отравился Мухель в самом начале войны. Промотал панские денежки, а в тюрьму садиться гонор не позволил, насыпал чего-то в чай, выпил стакан на глазах у урядника и околел.

— Нынче тут, брат, живолуп полютей Мухеля. Отставной подполковник. Сам барон его привез. Николаем Николаевичем зовут, а хвамилию никто и не знает. Пес, какого и свет не видывал, — добавил Яков Гошка.

— А я и не знал. Что же, и этот Николай Николаевич не сидит сложа руки. Мы не можем допустить оккупантов в Рудобелку, сил не пожалеем, чтобы жила советская власть. А для этого что надо?

— Поднять людей, оружие добыть, — добавил Ус.

— Так-то оно так. А где взять винтовки, патроны, гранаты и хоть один пулемет?

— Пошарим, так, может, и отыщем. У меня карабин есть и наган, — признался матрос.

— Только ли у тебя одного. У каждого что-то отыщется, — сказал Звонкович.

— Завтра с утра каждый в своем селе займется оружием. Вечером соберете людей, все расскажете им, запишете согласных вступить в отряды самообороны. Я так думаю: легионеры через Глусск не пойдут. Им же пешью ходить не с руки. Прикатят в Ратмировичи по железке. Следовает, нам надо, чтобы на станции были свои люди, а неподалеку где-то надо поставить группу боевых хлопцев, чтобы могли встретить по-настоящему. Я пойду с ними. Жить будем в Оземли. Люди там наши, беднота одна. Коли круто будет, помогут. Согласны, хлопцы?

— А меня возьмешь? — спросил Рогович.

— Возьмем, если зипун натянешь и лапти обуешь, чтобы не узнали, что матрос.

Зенону не хотелось снимать свою форму, на которую все засматривались, но ничего не поделаешь.

— И еще одно, хлопцы, надо связаться с Бобруйским укомом. Теперь расходитесь, братки, и за работу.

— Постой, Романович, — поднялся Молокович. — Сколько нас, сознательных большевиков-партейцев, готовых за революцию в огонь и в воду? Восемь душ. Все здесь. Я думаю, этого мало.

— Знамо дело, мало, — поддержали его.

— Что ж, людей у нас достойных нету? Присмотреться только надо, поговорить с человеком, и он сам к нам придет. Взять хоть бы Антона Киселя или Александра Роговича. Да они черту в зубы пойдут за советскую власть.

— А Матвей Калинкович чем не большевик, хоть и беспартийный, — добавил Максим Ус.

— Вот я ж и говорю, надо нам боевую партийную организацию сколачивать.

— Я думаю, хлопцы, партейной ячейкой пускай занимается Прокоп Молокович, боевые отряды организуют Соловей и Драпеза, а в ревкоме, пока суд да дело, Максим Левков посидит, — предложил Яков Гошка.

Так и порешили. Максим Ус вышел из ревкома вместе с Зеноном Роговичем. Им было по дороге. Максим жил в маленькой лесной деревушке Грабинке, а Рогович — в Старой Дуброве.

Припорошенная тонким снежком земля снова подмерз-

ла, застыли комья грязи, заледенели на дороге колеи. Высокий, широкоплечий Максим в обмотках и солдатской шинели остановился, отвернулся от ветра, прикурил и еще раз взглянул на ревком. Над крышей трепетало алое полотнище, вздрагивало и качалось на ветру древко. На хатах висели большие и маленькие, широкие и узкие красные флаги.

— Гляди, висят.

— Если не будем раззявами, всегда висеть будут, — ответил матрос, и они быстро зашагали по улице.

Сзади затарахтели колеса, звонко зацокали конские копыта. Их обогнала и покатилась по дороге легкая пролетка, запряженная парой сытых лошадей. За кучером, на глубоком кожаном сиденье, развалился Николай Николаевич. Он был важный и независимый, в черном казакине, круглой рыжей шапке, седые усы свисали аж на воротник. Николай Николаевич чуть повернул голову, окинул хлопцев холодным взглядом, и пролетка понеслась по дороге.

— Сколько же он еще тут будет ездить? — спросил Максим.

— Пока не дадим по загривку и не стащим с панского насеста.

— Как ты думаешь, куда он летит, а?

— Видно, на Ратмировичи. Куда ж еще по этой дороге? Может, поехал просить, чтоб легионеров поставили в имение, а может, просто так, — спокойно рассудил матрос.

— Подожди чуток. Сбегаю Александру с Прокопом скажу. Это неспроста он поехал. — И Максим, гремя по тропинке подковами солдатских ботинок, побежал к ревкому.

7

На рассвете Соловей, а с ним еще одиннадцать человек вышли из села. У некоторых на плечах висели винтовки и двустволки, у двоих на боку покачивались сабли, на ремнях, похожие на толкачи, болтались гранаты. Шли по три-четыре человека.

За ночь мороз прижал сильней. Словно капустный лист, поскрипывал под ногами свежий снежок. За черными зубцами леса прятался тоненький серп молодого месяца.

Соловей, привычный к далеким переходам, шел впереди, легко и ходко. Яков Гошка, путаясь в полах шинели, еле поспевал за всеми. Когда рассвело, они вышли из молодого осинника на полевую дорогу. На пригорке показались хаты, хлевы, овины, прясла.

Хлопцы обступили Соловья. Он сдвинул на затылок зеленую военную фуражку, провел пальцем по маленьким подстриженным усикам и тихо, совсем по-дружески, сказал:

— Яша с Анупреем пойдут прямо на станцию. Садитесь среди людей и брешите сколько влезет. Можете сказать, что едете в часть после ранения или ищете повозку, чтобы доехать до дому. Чаще заходите к дежурному справляться, когда придет поезд. Смотрите и принюхивайтесь, чем там пахнет. А мы задами, огородами, кто как, разойдемся по селу. У каждого здесь есть или свояк, или знакомый. Я буду у Прокопова шурина. Чуть что услышите на станции, сразу дадите знать. А к вечеру и мы по одному, по два проберемся туда. Главное, чтобы никто не знал, сколько нас и кто мы такие.

Дни поздней осени короткие и серые: сразу после полудня начинает смеркаться. Александр, не разуваясь, прилег на полати за печью — прошлую ночь не спал и в эту вряд ли заснет. В сенях верещал голодный поросенок, в дровянике тюкал топором хозяин, на лавке маленькая, замурзанная Манька качала тряпичную куклу, пела ей про кота, ругалась и била за то, что не спит, и снова пела.

Александр лежал с зажмуренными глазами, но сон не шел. «Какой ты станешь, Манька, через десять лет? — думал он. — Пойдешь учиться. Все тогда будут учиться в больших новых школах. Отец поставит просторную хату, с электричеством, как в городе. Замостим улицы, землю ухо́дим, станет как пух, машины будут пахать и сеять. Эх, дожить бы до той поры, глянуть бы на нашу Рудобелку, на эту замурзанную Маньку этак лет через десять!»

Незаметно он словно поплыл в синем тумане. Теперь казалось, что не хозяин постукивает на дровотне, а слышны далекие глухие выстрелы, нужно вскакивать, согнувшись бежать по полю, ползти под колючую проволоку, стрелять и кого-то колоть штыком. Кого и за что? Неизвестно.

Сквозь тревожную дремоту он услышал, как в сенях лязгнула щеколда, кто-то отряхнул сапоги и вошел в хату. Александр поднялся, протер глаза, но в сумерках не мог узнать человека, пока тот не заговорил:

— Есть здесь кто живой?

— Папа дрова колет, а мама в хлеву, — бойко ответила Манька.

— А дядьки у вас никакого не было?

Александр узнал Терешку по голосу, спрыгнул с полатей и подошел к нему:

— Кого ищете, дедушка?

— Тебя, председатель.

— Откуда же это на ночь глядя?

— За солью в Ратмировичи бегал. Шпикулянты туда наезжают менять. А без соли какая еда? И бульбину в рот не затолкаешь. Дык от хунта с три разжился. Глядишь, до великого поста как-нибудь и перебьемся. Думал на станции заночевать, так Анупрей сюда направил. Наказал, чтоб ты, хлопче, к утру был там; их благородиев, говорит, дожидаются, так преседатель хлебом-солью обязан встретить. — И он хитровато захихикал: — Слава богу, что хоть сразу на тебя наскочил. А сейчас пойду у кого-нибудь переночую.

— Спасибо, дедушка, за известие. А богато ли на станции людей?

— Чего доброго, а людей как собак на привязи... Ты же скажи Анупрею, что Терешка прибегал и все чин по чину передал. Ну, помогай тебе бог.

Старик потоптался у порога, забросил на плечо мешочек, нащупал щеколду и вышел.

...На рассвете группа Соловья была на станции. В небольшом деревянном здании светилось только одно окно. В холодном темном зале на лавках и просто на полу спали мужики, женщины и дети, проходы были завалены котомками, сундучками, мешками. Александр зашел к дежурному. Пожилой, изможденный, давно не бритый человек в красной фуражке дремал, склонив голову над

столом. Возле телеграфиста горел фонарь, медленно набегала с кольца аппарата узенькая завивающаяся лента.

— День добрый, товарищи, — поздоровался Соловей.

— Я же вам сказал: когда будет поезд, неизвестно. Получим депешу, тогда скажем. Идите ожидайте! — вспылил телеграфист.

— А когда ожидаются легионеры?

Проснулся дежурный, поморгал выпученными глазами и запищал осипшим фальцетом:

— Кто ты такой, чтобы тебе докладывать?

— Председатель Рудобельского ревкома. Прибыли встречать гостей.

Соловей перешел за барьер, стал возле телеграфиста и твердо потребовал:

— Последние депеши!

Дрожащими руками телеграфист подал толстую книгу. Соловей начал читать телеграммы. Одна гласила: «Со станции Березина вышла дрезина военного назначения. О прибытии доложить начальнику станции Березина».

Он повернул несколько страниц назад и заметил листок тонкой гербовой бумаги, на ней каллиграфическим почерком было написано:

«Командующему I польским корпусом генералу Довбор-Мусницкому.
Покорнейше прошу ясновельможного пана генерала взять под защиту Ваших доблестных войск все имущество и усадьбу барона фон Врангеля. Усадьба находится в двадцати верстах от станции Ратмировичи, у деревни Рудобелка. Полное содержание офицеров и солдат будет обеспечено.

Ваш покорный слуга

управляющий имением Рудобелка

Н. Н. Бистром».

— Все ясно! — Соловей с ненавистью бросил взгляд на телеграфиста. — Отправить такую телеграмму? Да это ж измена революции! Где теперь дрезина?

Телеграфист засуетился, нижняя челюсть выбивала дробь.

— Вышла с разъезда, через час прибудет.

Александр открыл дверь и крикнул Якова:

— Постоишь здесь. Чтобы ни один из них ничего не передавал. Не послушают, сам знаешь, что делать.

Возле станции лежали штабеля старых, трухлявых шпал. Своих хлопцев Соловей укрыл за штабелями, а сам вошел в помещение.

Сквозь окна сочился мутный холодный свет зимнего утра. Лица выглядели серыми, а глаза — глубокими черными провалами. Многие пассажиры проснулись, рылись в своих котомках и мешках. Хныкали дети. Дымили самокрутками мужики.

Александр вышел на середину небольшого зальчика.

— Послушайте, товарищи, что я вам скажу, — начал он. — Сейчас из Бобруйска прикатит дрезина с легионерами. Чего они едут сюда? Пригласил их рудобельский управляющий, чтобы не дали поделить панскую землю, чтобы советскую власть задушили. Мы их тут встретим по всей форме. А вы, как только услышите первый выстрел, кричите что есть силы «ура!». Никуда не выходите и от окон держитесь подальше.

— Мамочка, я боюсь, — заплакала девочка.

— Не бойся, доченька, мы за печку спрячемся.

— Эх, была б хоть берданка, так и мы б вам подсобили, — сокрушенно вздохнул высокий дед в белой свитке.

— Кричите погромче, глоток не жалейте, вот и будет нам помощь. Договорились?

— Знамо дело!

— Покричим!

— Чего, чего, а это могем!

Когда Александр вышел, все с тревогой стали прислушиваться и поглядывать в окна.

— Это чей же такой командир? — спросила пожилая женщина.

— Не знаешь, что ли? Романа Соловья сын.

— Энтот, что латышок?

— Эге, он самый. В большевики записался. Переворот, сказывали, в самом Петрограде устраивал, а теперь в волости за главного.

— Тут и черту не разобраться, какому нынче богу молиться: большевики, поляки, германцы. И какого лиха кому надо, дознайся попробуй. Достукались, что и соли не купишь, а тут еще им горлянку дери. «Рятуйте» кричала, а энтак сроду не приходилось.

— Припечет, бабуся, так кукареку затянешь, — засмеялся молодой хлопец.

Говорили еще долго и тревожно, не решаясь выйти за дверь.

Отодвигались от окон, заползали за широкую, вытертую кожухами голландку.

— Ой, бабоньки, ховайтесь, иде-о-от! — отпрыгнула от окна молодуха и села на пол.

Басовито загудели рельсы, прогрохотали колеса на стыках, и стало тихо. На улице послышались веселые голоса.

К вокзалу подкатила зеленая дрезина с прицепом. На перрон повыскакивали солдаты в желтоватых, из английского сукна шинелях и угластых конфедератках. Из-под них у многих выглядывали черные теплые наушники. Гремели медные котелки, стучали подковки — солдаты подпрыгивали, били каблуком о каблук, хлопали один другого руками, изо ртов вырывались белые облачка пара. Хотя и замерзли, но им было весело. Каждый мечтал скорее добраться до имения, отъесться на панских харчах, отлежаться в тепле, а глядишь, и приворожить какую-нибудь молоденькую служанку.

Возле прицепа стоял красивый чернявый поручик, заглядывал внутрь и поторапливал тех, кто еще не успел выбраться на перрон:

— Прэндзэй, прэндзэй, панове! [1]

И тут, неожиданно, словно выстрел в лицо, над станцией ахнул залп. Он раскатился протяжным гулом в тишине свежего морозного утра. За ним донеслось разноголосое «ура!». Казалось, сотни людей сейчас ринутся со всех сторон. Прогрохотал еще один залп. И снова, на этот раз совсем близко, раздалось неслаженное, но леденящее жилы неотвратимостью внезапной смерти «ура!».

Польские жолнеры попадали возле вагонов, позабирались между колес, зазвенели о рельсы котелки и карабины. А из-за штабелей шпал бежали вооруженные люди.

К прицепу подлетел человек с гранатой в руке, в шинели и в военной фуражке.

— Рэнки до гуры! [2] — закричал он, подскочил к поручику и вырвал у него карабин. Солдаты подняли руки вверх. А из дверей валила толпа бородатых и безбородых

---

[1] Живее, живее, господа! (*польск.*).

[2] Руки вверх! (*польск.*).

мужиков, чтоб поглядеть, что там стряслось. Жолнерам показалось, что их окружает целая армия.

— Кто опустит руки и шевельнется, будет расстрелян на месте, — предупредил Соловей. — Обезоружить, — скомандовал он своим хлопцам.

Легионеры дрожали от внезапности всего случившегося, испуга и холода. Их построили в две шеренги и скомандовали: «Смирно!» Яков Гошка с Анупреем собрали карабины и ровным рядком поставили возле штабеля шпал, потом залезли в вагончик дрезины и вытащили оттуда два ящика с патронами. Только теперь до жолнеров дошло, что их облапошили одиннадцать деревенских хлопцев.

Они не знали, как с ними поступят: будут издеваться, бить, а быть может, даже расстреляют. Вокруг стояло несколько довольно молодых мужчин с ружьями наготове. Двое относили карабины, нацепив на себя пистолеты с портупеями.

Из вокзала высыпали все, кто там был, и стали поодаль.

К обезоруженным легионерам подошел Соловей.

— Товарищи польские солдаты! У вас нет ни своих поместий, ни капиталов, ни фабрик. Иначе вы не были бы рядовыми. Вы сыновья рабочих или крестьян. Чего вы приехали сюда, что вы тут потеряли? Вашими руками хотели душить нас, таких же бедолаг, как вы и ваши отцы. В России — революция. Она принесла свободу рабочему люду. Одумайтесь, с кем вам по дороге: с революцией или с панами. Наплюйте на своих генералов, отправляйтесь по домам и живите по-людски: пашите землю, сейте хлеб.

Многие солдаты заулыбались, живо заблестели глаза,— значит, их не собираются расстреливать, даже предлагают ехать домой.

— Мы вас отпускаем с одним условием, что, возвратясь в свой бандитский корпус, не будете воевать против Советов. А обманете — пули вам не миновать. Что скажете, пан поручик?

— После тэго, цо тутэй было, мы юш не жолнежы. Нас чэка велька кара войсковэго сонду.[1] — сухо ответил испуганный и подавленный поручик.

---

[1] После того, что здесь произошло, мы больше не солдаты. Нам грозит суровое наказание военного суда (*польск.*).

— А как думают солдаты?

— Нигды, нигды не бэндзэм! [1] — ответило несколько опомнившихся от страха голосов.

— Чего ж вас несла сюда нечистая? — послышалось из толпы.

— Ишь стоят, как языки проглотили.

— Только верни винтовки, опп нам покажут, откуда ноги растут.

— Уговор такой: поворачивайте назад и до Бобруйска нигде не останавливайтесь, а то как бы наши люди вас еще не переняли, — сказал Соловей.

— Пшэпрашем, — собрался с духом поручик, — нех пан пове, хто вы естэсьце? [2]

— Рудобельский революционный комитет. Так и передайте вашему генералу. Скажите, чтоб и дорогу забыл в наш край. Мы тут и сами наведем порядок... По вагонам, марш!

Сбивая с ног друг друга, легионеры бросились к дрезине, каждому хотелось быстрее укрыться за ее спасительными бортами и не видеть гогочущей, уверенной в своей силе толпы, которая одному богу известно, на что еще могла решиться.

А вдогонку неслось:

— Ну что, отведали панских разпосолов?

— Чешут, как наскипидаренные.

Кто-то, словно бросившись вдогонку, громко затопал опорками по настилу. Оставшихся легионеров как ветром сдуло с перрона.

Соловьевские хлопцы аж за животы хватались. Мужики наперебой предлагали им самосад, похваливали и расспрашивали, откуда кто и чей будет.

Анупрей подсчитал трофеи: двадцать карабинов, три нагана и две цинки патронов.

Соловей сдвинул шапку на затылок, как после тяжелой и важной работы, и направился к толпе.

— Спасибо, что помогли. Без вас бы нам не управиться с этой оравой. Стало быть, вы, мужики, — сила.

Поодаль стояли перепуганные телеграфист и дежурный по станции.

---

[1] Никогда, никогда не будем! (*польск.*).

[2] Извините, пусть пан скажет, кто вы такие? (*польск.*).

8

Ермолицкие выгнали Ивана в начале зимы. Андрей отмерил ему мешочек жита — вот и вся плата за батрацкий мозоль.

— Ты ж, браток, только злости не таи. Так оно обернулось. Шельма эта виновата. И чем ты только хе-хе-хе ее приворожил? — Андрей зачерпнул совком жита, стряхнул над сусеком и, вроде отступного, сыпанул в тощий мешок. — Теперь мы с тобою квиты, и кукситься не за что.

Иван вытащил из-за пазухи рукавицы из овчины, молча бросил на маленькие саночки полупустой мешок и подался за ворота.

Когда дотащился до леса, остановился, глянул на хутор. Как ему там все обрыдло! Давно бы плюнул на кулацкую милость, если бы не Гэля. Не мог понять, как в этом волчьем логове выросла и сохранила душу свою человечью добрая и ласковая Гэлька. Может, потому, что радости не знала в этом кулацком гнезде, только жилы тянули, нелюди. Зимою хутор заметали вьюги, осенью нудно барабанил по крыше дождь, а она слепла над куделью или драла пух, а с весны аж до заморозков, не разгибая спины, полола, жала, косила. Просилась учиться — не пустил, живодер! Душа у нее за всех болела, так ей тяжко было в домашнем склепе, где только одно на уме, как бы урвать, копейку рублем обернуть. Порой не выдерживала, а ему близко было чужое горе. Так и полюбили друг друга. Словно зельем колдовским кто опоил, жить друг без друга не могли. Вернулся бы сейчас хоть взглянуть на нее, да где там, упрятали на хутор к тетке, чтобы не слышала и не видела его. А тут еще этот офицерик объявился, язви его в душу. Сбежал, видать, подлюга, раз от людей хоронится.

Если правда, что землю нарезать будут, взять бы какую десятину, две. Может, и лесу дадут, хату сложить? Эх, тогда зажили бы с Гэлькой. Только б ее силком с каким-нибудь шляхтюком не окрутили.

Иван еще раз взглянул на хутор, согнулся и потащил саночки.

В сумерках к Ермолицким подъехал возок, запряженный отменным рысаком. Андрей загнал в будку Пирата,

возок поставил под навес, коня привязал в конюшне у корыта с овсом.

Он никак не мог уразуметь, что за нужда привела к нему самого Николая Николаевича. Ни разу не бывал, а то прискакал на ночь глядя. Бывало, ведь со шляхтой и не знался. Случаем поздоровается, а чаще не узнавал. Известное дело, полный хозяин такого имения, что хочет, то и делает. Только деньги раз в месяц в Петроград отсылает, раньше самому Иваненке, а нынче его зятю, барону. Само собой, и себя не обижает. Кто там на весах прикидывал, сколько жита уродило, кто мерил, сколько коровы молока дали, сколько спирту выгнали, кто считал, сколько свиней закололи. Вот и шикует. А теперь, глянь-ка, сам примчался: не иначе, что-то приспичило.

Андрей вошел в хату. На кухне горела маленькая лампа, а в горнице в темноте на длинном деревянном диване сидели Николай Николаевич и Казик.

— Чего это ты им лампу не зажгла? — буркнул старик жене.

— Зажигала, так не хотят.

— Так-то оно лучше, Андрей Федотович, — отозвался из темноты управляющий и снова приглушенно заговорил с Казиком: — Банда этого Соловья-разбойника не должна знать о нашей встрече.

Николай Николаевич весело хохотнул, радуясь своему меткому каламбуру. Он чувствовал себя здесь уже не гостем, а хозяином, подвинул гнутый венский стул и картинным жестом пригласил старика сесть. Тот примостился на краешке, словно и вправду был в гостях. Николай Николаевич продолжал негромко, но горячо и безапелляционно:

— Не сегодня-завтра это дикое, выпущенное на волю быдло ворвется в имение и по зернышку, по гвоздику растащит все, что собиралось веками. А за тем примутся и за ваш хутор. Да, да, примутся! Вы сомневаетесь? Прочтите декрет этих самозванцев. А слово какое изобрели: де-крет! Мужичье, в интеллигентов играют, французским прононсом заболели. Тоже мне декретчики! Видали вы! В этом декрете так и пишут, что все помещичьи, удельные, церковные и монастырские земли со всем имуществом переходят в распоряжение Советов. Понимаете, почтеннейший, что это значит? Советов! Совет голодранца с бандитом!

Казик несколько раз порывался вытянуться перед старшим по званию, хотя и без формы, офицером. Николай Николаевич великодушно его останавливал:

— Забудем о субординации, ведь мы же друзья-единомышленники и пока вне службы.

— Что же вы предлагаете Николай Николаевич? — спросил молодой Ермолицкий.

— Пока что защищаться, а затем... затем наступать.

— Вы еще надеетесь на легионеров? На этих сопляков в конфедератках? Трусливая толпа, а не войско! — разошелся Казик. — Пятеро холопов с берданками разоружили едва ли не взвод солдат! И это армия?

— Что вы, Казимир Андреевич! Вас неверно информировали! Там было около сотни бандитов. Понимаете? Их уже почти сотня!

— А-а-а, недаром говорят, пуганая ворона и куста боится, так и эти легионеры. Название громкое, а смелости как у мышей — воробей кошкой кажется. Мешочники и женщины им целой армией показались.

Казик жадно курил. А отец, глядя на сына, думал: «Вот орел. Самому Николаю Николаевичу перечит, да еще как закручивает. Ну и хват хлопец!»

— Чем могу служить, господин подполковник?

— Узнаю настоящего офицера и рад, что не ошибся,— словно перед строем отчеканил Николай Николаевич. — А служить? Служить — отечеству. Стать во главе защитников священной собственности.

— Понимаю. Однако нужны люди и оружие, — деловито ответил Казик.

— Я так прикидываю, что на каждом футоре у застенковцев, да и у каждого самостоятельного хозяина отыщется то ли ружье, то ли обрез, — вставил свое слово старый Ермолицкий, — а люди на такое святое дело пойдут. Кому ж охота отдавать черту лысому свое добро.

— Двадцать пять винтовок и десять оседланных коней даю я. Уверен, что барон за это не взыщет. Все отправим на хутор Перегуда. Там вокруг болота, место глухое и незаметное. А вам, дорогой, — подполковник положил сухую руку на колено Казику, — вам придется поездить «свататься». Человек вы холостой, конь у вас добрый, вот и отправитесь по хуторам. И мы такую свадьбу сыграем, чертям жарко станет. — Николай Николаевич упивался своим красноречием и остроумием. — За нас

корпус генерала Довбор-Мусницкого. В Бобруйске, Рогачеве, Жлобине и на всей этой территории власть фактически принадлежит ему. А вскоре и Минск будет у него в руках. Так что, ежели, господин прапорщик, мечтаете о полковничьих погонах, необходимо действовать. — Управляющий встал.

— Я и торопился сюда, ибо знал, что фронт здесь, а не там. Мужичье страшнее немцев. Однако ничего, мы еще будем с них лозу драть, — в тоне рапорта отчеканил Казик.

— Стало быть, завтра — за святое дело! — Управляющий протянул руку молодому Ермолицкому.

— Может быть, васпане, не погребуете повечерять с нами? — засуетился Андрей и кивнул Анэте, чтобы пошевеливалась.

— Покорнейше благодарю. Не имею возможности задерживаться. Хорошего кругаля еще нужно дать, чтобы ни один хам не пронюхал, где я был. Заложите мою лошадь! — повелительно бросил Николай Николаевич, но спохватился и мягко добавил: — Будьте любезны.

Старый Ермолицкий натянул шапку задом наперед, накинул на плечи кожушок и выскочил в конюшню.

Казик намеревался проводить гостя, однако тот остановил:

— Лучше не ходите. У меня такое чувство, будто из каждой щели следит Соловьево око. И условимся: мы с вами незнакомы и никогда не встречались. — Николай Николаевич крепко пожал руку Казику, пожелал доброй ночи Анэте. Казик помог ему надеть просторную шубу, подал шапку. На крыльце ожидал Андрей.

— А жеребчик у вас важнецкий, — похвалил он коня, — молодой, видать, баловник.

Николай Николаевич ничего не ответил. Он сел в легкий возок, хлестнул лошадь и выскользнул со двора. Андрей закрыл ворота, постоял, пока силуэты лошади и седока не скрылись в серой темени зимнего вечера.

Завернул в хлев, подбросил коровам сена, закрыл ворота на запор и замкнул круглым кузнечной работы замком. Потянул, хорошо ли заперто, спустил с цепи волкодава и потопал в хату.

Старая шмыгала носом и причитала:

— Ой, боюсь я, Казичек, что не сносить тебе головоньки. Не связывайся ты, сыночек, с этим карпиловским и

рудобельским гадовьем. Где это видано, средь бела дня у солдат оружию отобрали? А ты с кем на них пойдешь? Пускай бы сам этот подпанок голову свою подставлял, так нет, тебя подбивает. Ой, не слушай, сыночек. Лучше пересиди, схоронись, пока это лихо не минет.

— Что ты плетешь, старая?— не сдержался Андрей.— Досидишься, пока с тебя последнюю тряпку не сдерут. Уже гарцуют на футорах, по закромам шастают — бедноте семена собирают, сено им подавай, телушка твоя кому приглянулась — отдай. А скулу в бок не хотите?! — разъярился старый. Весною землю обрезать надумали. А она — «сиди тихо». Да я лучше околею на меже, а своего и вершка не отдам. Хоть и старый, а и сам обрез в руки возьму. Вот так!

Ночью Казик слыхал, как ворочалась и причитала мать. Не спалось и ему. Слышно было, как шашель точит балку, как шебуршит по стеклу снежная крупа и скрипит над колодцем журавль. Он перевернул горячую подушку, переложил наган ближе к краю постели, закрыл глаза, а в голове завивалась метелица мыслей. Ему не терпелось скорее облачиться в свой офицерский мундир, вскочить на коня и повести с хуторов сотни хлопцев и мужчин на эти большевистские банды, а там подоспеет армия, верная трону, сотрет в порошок красную погань, вручат прапорщику Ермолицкому погоны с двумя просветами, тогда можно будет начинать достойную жизнь. Он перебирал в памяти всех хуторян и застенковцев, на которых можно было положиться, подумал, что без пулемета им не обойтись, только где его взять? Пускай Николай Николаевич расстарается у Довбор-Мусницкого для «охраны имения барона Врангеля». В разобранном виде можно будет провезти на санях под сеном. Казик пожалел, что сразу не додумался и не сказал об этом.

9

Вьюга зарядила на трое суток. Гнала в поле длинные вихрящиеся космы снега, намела сугробы возле хат и заборов, гудела, скулила, выла. Перемела все дороги — ни пройти ни проехать.

— Не иначе, черти разгулялись, — стряхивая на пороге снег, сказал Роман. — Как ты, сынок, доберешься до той волости? Пока ведро воды вытащил, до колен замело. А это ж пять верст пешком, и ветер как раз в лицо.

Александр доедал горячую картошку с конопляным маслом, запивал молоком и по давней привычке загребал в рот крошки с холщовой, еще материнской работы, скатерти. Мачеха, как могла, угождала пасынку, и не потому, что он стал в волости каким-то там старшим, а любила и жалела его, как родного сына. И как не жалеть? Почти с пеленок вырастила четырех Романовых сирот: правда, хлопцы уже бегали, а Марылька еще в зыбке качалась. Меньшие быстро привыкли к мачехе, звали ее мамою, а Александр хоть и слушался, хоть и помогал, а все не решался и никак не называл. Когда же приходилось ее окликнуть и поблизости не было никого чужого, называл ее теткой Ганной. Знал, что ей было обидно. Ведь она жалела сирот больше, чем другие родных детей. Иной из них такое порой выкинет, что и отстегать впору, а она пальцем никого не тронула.

Александр не раз порывался сказать этой доброй женщине «мама», но язык словно присыхал и выговаривал только привычное «тетка Ганна». А ведь она не побоялась пойти в дом с четырьмя сопляками за безземельного, но покладистого и башковитого Романа Соловья. Горевала вместе с ним, а лучший кусочек берегла меньшим — Костику и Марыльке. Все это видел и понимал Александр. Только забыть родную мать он не мог, как не мог забыть ее курляндские песни и сказки, ее певучий говор. Порой забегал к молчаливому, суровому деду Криштану. Тот посасывал трубку и подолгу не спускал полинялых глаз с внука. Наверное, узнавал в нем свою покойницу Луизу. И разговаривал с Александром только по-латышски, словно тревожился, что внук, позабыв язык матери, забудет и мать.

Разве мог он тогда изменить матери и называть хоть и добрую, но чужую женщину так, как называют только единственного человека на свете, — мама.

А когда вернулся с фронта, сразу же назвал тетку Ганну мамою. Она не выдержала, расплакалась...

Александр встал из-за стола, поблагодарил и начал собираться.

— Ничего, отец. На фронте пе в такую метель спали в окопах, и черт не брал. А тут до волости рукой подать.

Сестра начала упрашивать, чтобы повязал башлык, а мачеха достала с печи свои рукавицы из овчины, хоть и тесноватые, но все же потеплее, чем солдатские.

— На ночь не ждите. Заночую в волости или у кого из хлопцев. Работы нынче по самую завязку. Так что если и не приду сколько там дней, то не тревожьтесь, известное дело, цел. Надо по шляхетским застенкам поглядеть что к чему.

— Ой, сынок, остерегайся, озверела шляхта. Зашевелились, в гости друг к другу зачастили, шепчутся да перемигиваются. А нынче остановил меня Банедик Гатальский и допытывается: «А скоро, Роман, твой комитетчик грабить нас припрется?» Я и говорю: «Мой сын чужой нитки не тронул и не тронет. Народ его, говорю, выбрал, так он по закону и поступает». А он кровью налился да как разошелся: «Это какой же народ выбирал? Мы ж не выбирали. И Перегудов там, и Плышевских, и Ермолицких не было. А мы что, скотина, по-вашему? Не народ? Мы тебя, — кричит, — Роман, пожалели, в свой застенок пустили, приютили, земли от себя по шматку оторвали, чтоб с голоду не околел, а ты, вместо благодарности, со своим антихристом хочешь нас на шворке вздернуть, детей по свету с торбами пустить. Ни черта, — говорит, — лопнет ваша свобода, еще кровавыми слезами умываться будете».

Александр слушал, стиснув зубы. Желваки ходили по худому, заостренному лицу.

— Когда это он?

— Вчера в обед. Везу это я хворост, глядь — идет. Поздоровался, юда, и начал...

— Спасибо, батя, что сказали. А испугались зря. Они наших кровавых слез уже попили, довольно! Конец ихнему богу. Ну, будьте здоровы. — Александр, пригнувшись, вышел из хаты и, проваливаясь в сугробах, зашагал в волость.

Марылька долго глядела ему вслед. Ее охватил страх, что брат идет один через лес, что завируха заметает его следы, что на их семью, затаившись по-звериному, глядят все застенковцы. И до этого здесь все были Соловьям чужие — никто не заходил в хату и их не пускал дальше порога, а теперь проходят, опустив глаза и словно не уз-

нают ни батьку, ни Марыльку, ни мачеху. Кажется, живьем бы проглотили. А вечером, выглянешь из хаты, посмотришь на эти тринадцать присадистых, крытых железом изб за высокими заборами, с наглухо закрытыми ставнями — и кажется: за их толстыми стенами копошится что-то недоброе и страшное. Захолонуло сердце, когда Марылька подумала о брате.

Поднявшись на крыльцо волости, Александр развязал башлык, отряхнул шинель, постучал каблуком о каблук, сбивая снег и грязь с сапог.

В зале, у жарко натопленной грубки, сидели Параска Ковалевич и Микодым Гошка. Женщина кресалом высекала искру и раздувала желтый трут. «Неужто солдатка с горя закурила?» — удивился Александр, но, заметив заткнутый за ремень пустой рукав Микодымовой шинели, все понял. «Душевные наши женщины, отзывчивые. Нужда приучила их и пахать, и косить, и лапти плести. А дай такой Параске пожить по-человечьи, наряди в шелковое платье да шляпку, выведи на Невский — рты разевают... Нынче же ей с детьми хлеб нужен, семян хотя бы немножко, чтоб весной с пустым клином не остаться».

Председатель присел между Микодымом и Параской, протянул красные окоченевшие руки к горячей дверце.

— Вот это свищет! — заговорил Микодым. — Глянул в окно, думаю — снеговик тащится, а пригляделся — председатель. И чего тебе в то Хоромное ходить? Ночуй хоть у меня. Тебя любой примет.

— Это верно, да стариков с сестрою обижать не хочется.

Параска слушала, опустив пушистые ресницы, только порой поглядывала на Соловья и вновь отводила глаза.

Затем втроем зашли в комнату председателя. Сбоку за столом, заваленным толстыми прошнурованными книгами, сидел Максим Левков. Он перелистывал страницы и выписывал что-то в школьную тетрадку. Александр поздоровался и пошутил:

— Не ревизию ли надумал делать старой царской волости, бумажная душа?

— Это точно. Вот гляньте — шнуровая книга межевого обмера земель нашей волости, — он открыл серую в разводах обложку,— за тысяча девятьсот десятый год. По-

любуйтесь. У Ермолицких и Перегудов больше земли, чем у восьмидесяти руднянских мужиков.

— Это и без книги видно, — вставила женщина. — Да разве сравнишь наши пески да трясину с той земелькой, что шершни под себя подгребли?

— Теперь сравняем, Параска. Давайте рассказывайте, что вы с Микодымом выяснили.

Микодым вытащил из-за пазухи лист конторской бумаги, разделенный на два столбика. Над одним жирно, наслюненным карандашом было написано «кому», над другим — «что надо». Микодым начал называть фамилии вдов, солдаток, инвалидов, вечных батраков, у которых не было ни коня, ни коровы, ни семян на весну. Параска только кивала головой да то и дело присказывала:

— Ой правда, ой голытьба, почище, чем у нас.

В списках часто повторялись одинаковые фамилии: Ковалевичи, Гошки, Падуты, Жулеги. Поэтому Соловей все время останавливал Микодыма:

— Это который Ковалевич, Кажушка или Ершик?

Микодым называл уличное прозвище и читал дальше.

— Надо будет в каждом селе организовать комитеты бедноты. Они будут советской властью на местах. Пусть собирают людей и решают, кому, чего и сколько давать. А теперь надо забрать все лишки зерна в панском дворе и у застенковой шляхты. Свезем в магазин и будем раздавать бедноте.

— Жди, отдаст тебе шляхта хлеб, — вмешалась Параска. — Скорее, в ямах погноят или в прорубь спустят.

— Пусть только попробуют! Кон-фис-куем, — по складам произнес Соловей незнакомое слово и тут же объяснил: — Силой возьмем.

— Взять, может, и возьмешь, а чем отдавать будешь? Вот припрутся легионщики или еще какая зараза, что тогда? — высказала Параска свои тревоги. — Вон в Бобруйске, говорят, поляки что хотят, то и выделывают. И Советы от них попрятались. Ты их один раз попугал, смотри, чтобы они не припомнили тебе.

— Не бойся, Параска. Не пустили и не пустим. А то, что болтают шляхтянки в церкви, не слушай и другим не пересказывай.

— Кто тех шляхтянок слушает? Золовка моя вчера из Глусска от доктора ехала, у меня ночевала. Говорит, все местечко как пчелиный рой гудит. Балаголы из Бобруй-

ска пробились. Раньше они бородатые были. Теперь и родные дети не узнали: саблями их «канарейки» [1] побрили, шомполами расписали и товар весь забрали. А Советов, говорит, и духу не слышно.

Все внимательно и настороженно слушали Параску. Задумался и Соловей. Может, если бы кто другой плел, не поверил бы. А в том, что рассказывала Параска, чувствовал, была доля правды. Но нельзя показывать тревогу и беспокойство. Александр улыбнулся и пошутил:

— У генерала одни заботы, у нас — другие. — Потом серьезно добавил: — Нужно быстрее комитеты бедноты создать и провести конфискацию. А если сунутся легионеры, встретим еще лучше, чем в прошлый раз.

Параска с Микодымом собрались уходить по комбедовским делам. Прощаясь, Соловей посоветовал им вечером собрать свой комитет и прикинуть, сколько у каждого кулака можно взять зерна.

Оставшись один, Александр задумался. Он знал, что мятежный генерал не простит им — обязательно пошлет своих солдат на Рудобелку. Он ждал вестей из Бобруйска, но их не было. Молчали и хлопцы из Ратмирович. А тут на тебе — Бобруйск, говорят, захватил польский мятежный корпус. Видно, уездный комитет в подполье. А как точно узнать? Надо пока самим принимать решение. И такое, чтобы ни на шаг не отступать от декретов революции.

На какое-то мгновение Соловей почувствовал себя отрезанным от всего света. Газеты в последнее время не приходят, — значит, их в Бобруйске перехватывают легионеры мятежного корпуса. Вестей из уездного комитета давно нет, — видно, пикак не могут связаться. А какие планы у Довбор-Мусницкого? Если правда, что захватил Бобруйск, то, конечно, захочет расширить свои владения и с новой силой ударит по Рудобелке. С какой стороны? Конечно, с железнодорожной.

Левков словно угадал, о чем думает председатель.

— Что делать будем, Александр? Два десятка польских карабинов, штук пятнадцать трехлинеек да с полсотни берданок у нас есть. Соберем еще кое-что. А у них армия, пулеметы, гранаты.

— И все же мы сильнее любой армии. Те не знают, чего они хотят и за что воюют. Видал бы ты, как ле-

[1] Презрительное прозвище легионеров за желтую форму.

гионеры отдавали нам карабины. Словно радовались, что сбыли их. Да какие они там, к черту, поляки! Католики здешние, даже слова по-польски сказать не умеют. От немецких пуль спасались в этом корпусе. А у нас народ. Кому стрелять не из чего — «ура» кричать будет. И это, брат, большая сила! Надо сегодня и завтра, Максиме, перевести отряды поближе к станции. Солдаты наши в лаптях и свитках ходят, так что никто ни о чем и не догадается. А чуть что — из-за любого куста влупят. Отобьют панов, резвины на плечи — и пошли овечкам сено припасать. Попробуй найди их. Анупрею с Прокопом накажи, чтоб до утра примерно полсотни человек с гранатами и винтовками отправили на Ратмировичи.

К полудню вьюга утихла. Выглянуло солнце, заискрились сугробы и заваленные снегом крыши. По улице, скрипя полозьями, поползли сани с дровами, соломой, сеном и мешками ометья. Это течение жизни навевало Александру невеселые думы: сколько еще придется драться, сколько крови пролить, чтобы народ зажил спокойно, по-человечески, чтобы почувствовал себя хозяином на этой земле. Революция только еще начинается.

А еще мучила неизвестность. То, что рассказала Параска, очень походило на правду. Надо поговорить с ревкомовцами и что-то делать, срочно, немедленно. Анупрей с Максимом Усом по селам организовывают отряды, раздают оружие и патроны, назначают взводных. С ними, наверное, и военком — Прокоп Молокович. Неужели они ничего не знают, ничего не слыхали?

Приоткрылись двери, и в комнату вошел незнакомый мужчина в черной поддевке, невысокий, но широкоплечий. Круглое лицо заросло густой, лохматой бородой, из-под припухлых век смотрели острые, пронзительные глаза. Он поздоровался, стоя у порога, и спросил:

— Где мне увидеть товарища Соловья?

— Я Соловей. Что вы хотели?

— Хотел познакомиться и передать привет от Платона Федоровича.

Соловей аж вздрогнул. Платон Федорович Ревинский — председатель Бобруйского укома — посылал его сюда, обещал помогать и держать связь.

— Садитесь, товарищ. Кто вы и откуда? Давно ли видели Платона Федоровича? — засыпал незнакомца вопросами Александр.

А тот не спешил. Бросил в угол набитую чем-то торбу, искоса посмотрел на секретаря и неторопливо начал:

— Из Глусска пришел к вам. А фамилия моя Мозалевский. — Он снова покосился на секретаря и улыбнулся.

Левков подскочил с места:

— А чтоб ты скис, Иван. Ну и артист. Голос вроде знакомый, а лицо — хоть убей, первый раз вижу.

Они пожали друг другу руки, перекинулись несколькими словами и сели.

— Дела таковы, хлопцы. Довбор-Мусницкий со своим корпусом окопался в крепости, поднял мятеж, занял Бобруйск и двинул на Осиповичи. Отказался подчиняться советской власти и разогнал Советы. Уком ушел в подполье. Но работу ведет, как и раньше. Товарищ Ревинский прислал нашего глусского хлопца, Митю Жижкевича, передать вам, что генерал не забыл, как вы встретили его солдат, и хочет отблагодарить — ударить по Рудобелке. И не лишь бы как — бронепоезд готовит. В тупике на Березине стоит. Ремонтируют его деповские хлопцы. Тянут, как могут. Метелица помешала еще, а то, может, его бы уже и отправили. Теперь дорогу расчищают. Так что скоро ждите. Прикатит. Платон Федорович просил, чтоб и этих не хуже встретили. А еще адресок прислал: чайную по левой руке на Муравьевской, как раз против рынка, знаете? Если кто из ваших зайдет, пусть садится за крайний столик у дверей. Спросит подавальщица, что принести, просите дюжину вареных раков. Она ответит: «Раков у нас не бывает». Скажите: «Тогда дайте три стакана чаю без сахарина». Чай она принесет, а под блюдечком будет записка, куда надо идти. Платон Федорович ждет от вас вестей. Вот и все мои новости,— закончил Мозалевский.

Он посмотрел на пол. С ног натекла большая лужа, и он отодвинулся, чтобы не промочить свои огромные залатанные валенки.

— Как же ты добирался? — спросил Левков. — Хороший хозяин в такую погоду и собаку не выгонит.

— А я сам себе хозяин. Сложил колодки, дратву, вар в торбу, сказал дома, что пойду по застенкам на заработ-

ки: кому подметки подобью, кому новую обувку пошью. С одним подъехал до Касарич, другой до Холопенич подвез, а тут — и рукой подать. Дома, хлопцы, мне оставаться нельзя. Позавчера легионеры в Городке были. Вилюга с ревкомом выехали в Березовку. Приказ членам партии — разойтись по селам. Кто с колодками, кто с ножницами, а кто под видом шорника подались. Приказано вести работу в людской гуще. А я к вам на помощь, если примете.

Он подошел к своей торбе, развязал ее, достал старые, порыжевшие голенища и вытащил из них два нагана с полными барабанами патронов.

— Конечно, пулемет был бы лучше, но и эти сгодятся. Я не с голыми руками пришел. — Он положил револьверы на стол.

Александр сидел настороженный и хмурый. Потом положил наганы в ящик стола и закрыл его.

Мозалевский заморгал глазами:

— Ты что ж, обезоруживаешь меня, товарищ Соловей?

— Уже обезоружил, — спокойно ответил Александр и показал на толстую торбу. — Вон твое оружие. Оно теперь надежнее наганов.

Не понял Соловья и Левков:

— Что ты, Александр? Ивана я знаю не один год, это же свой в доску человек.

— А я разве говорю, что чужой? Партийный билет, товарищ Мозалевский, сдашь Молоковичу, а сам...

— Партийный билет я никому не отдам! — вскочил Мозалевский.

— Что вы оба как дети! Не можете дослушать до конца, — продолжал Соловей тем же спокойным тоном. — Пойдешь со своими колодками по кулацким хуторам и застенкам. Шить ты умеешь?

— А как же. Какие хочешь. Головки, вытяжки, хромовые, юфтевые, с рантом и со скрипом могу. Батька был сапожником, и я с детства шилом кормлюсь.

— Это хорошо. Работы тебе хватит. Шляхта форсить любит. Поживешь у одних, у других, наведаешься к Перегудам, к Винярским. Шить шей, но и принюхивайся, чем там пахнет. Дошло?

— Черт его знает. Я думал, партийное дело дадите или, может, вместе с отрядом пойду...

— Это и есть партийное дело. Нас ты не знаешь и не видел. Крыть можешь сколько влезет. А молиться умеешь?

— «Отче наш» и «Богородицу» знаю.

— Не забывай молиться. Шляхта набожных любит. Хоть сама черту служит, а богу молится.

Соловей смотрел на глусского сапожника и ждал, что́ тот ответит.

— Вот это ты хитро придумал, — поднялся с места Левков.— Сразу и я не допер. А тут на тебе — план, стратегия.

— Разведку, значит, поручаешь? — спросил успокоившийся Мозалевский.

— Без разведки воевать нельзя. А воевать нам придется еще долго и упорно. Оттуда легионеры прут, недобитые беляки, здесь шляхта притаилась, молчит, а зубы точит. Как только пронюхает, что белополяки идут, зашевелится, из-за угла в спину стрелять начнет. Дня три послоняйся по Карпиловке и Ковалям. Может, кому морщаки [1] залатаешь. Это у нас модельная обувь. Разнесется слава про доброго сапожника, и шляхта сама тебя потащит на хутора.

Соловей поднялся. Только теперь Иван Мозалевский рассмотрел его с ног до головы. Когда сидел за столом, казался высоким и широкоплечим, а встал — мужчина среднего роста, щупловатый, обыкновенный деревенский парень с хорошей воинской выправкой. Он крепко пожал Ивану руку и пожелал успеха.

Иван перекинул через плечо торбу и вышел из ревкома. Над крыльцом, залубеневший от мороза, потрескивал на ветру красный флаг.

«А в Глусске уже наверняка легионеры», — с тревогой подумал Мозалевский.

10

Бойцы самообороны жили в своих деревнях и на хуторах. По утрам кололи дрова, кормили коров трусянкой, резали косами сечку, носили в ушатах паренку [2], ла-

[1] Лапти из кожи (*бел.*).

[2] Запаренная, мелко изрубленная солома для скота (*бел.*).

тали хомуты, ладили сани. Но стоило примчаться соседскому мальчишке, сказать: «Анупрей наказал к вечеру всем собраться» — и они бросали все, набивали карманы патронами, собирали в узелок харчи, цепляли на плечо карабин или винтовку и собирались в хате своего взводного. Потом заваливались в плетеный кузов подводы и уезжали.

...На хуторе версты за полторы от Ратмирович собралось человек тридцать вооруженных мужиков из Рудобельской самообороны. Разошлись по двум хатам: грелись, перекусывали, курили. Кто дремал на печке, кто байки рассказывал.

Анупрей объяснял своим бойцам, что поляки собираются напасть на них на бронированном поезде и захватить власть в волости.

— Задача такая, — говорил он, — отбить у легионеров охоту ездить к нам, а если повезет — разжиться карабинами и патронами.

Многие сроду не видели бронепоезда, но слыхали, что его никакая пуля не берет. Граната взорвется, осколки забарабанят по железу, а ему хоть бы что. Как же против бронепоезда с карабинами да с двустволками!

О своих тревогах хлопцы сказали командиру.

— Мы его сюда и близко не пустим. У него железо, а у нас головы на плечах. Вот и посмотрим, кто кого обхитрит.

— А где же Соловей? — спросил кто-то из бойцов.

— Может, нас подбил, а сам в кусты? — послышался во мраке хаты чей-то голос.

— Что ты там, сопляк, плетешь? Лучше скажи, почем дрожжи продаешь? — заступился за товарища Ничипор Звонкович. — Он, брат, на фронте не то еще видывал. Георгиев абы кому не дают. А у него их два, и медалей целая жменя.

— Товарищи, Соловей здесь. Всем сам командовать будет, — успокоил Драпеза.

Мужики загудели и зашикали на хлопца, который и на самом деле испугался не виданного никогда бронированного чудовища.

А Соловей, Прокоп Молокович и Левков сидели в Проковой хате. В камельке, то затухая, то разгораясь снова, трещали смоляки. Из-за трубы то и дело высовывались и тут же прятались две белобрысые головки. Проко-

пова женка на лавочке у припечка чистила фасоль и так была поглощена своим делом, что казалось, не видит и не слышит мужчин.

Они переговаривались тихо. Прокоп посмотрел в окно,— видно, кого-то ждал.

— Идут! — обрадовался он.

В сенях послышался мягкий топот валенок, а может, лаптей, и в хату вошли два молодых хлопца. Один — в длинной суконной свитке, подпоясанный красным кушаком с кистями, другой — в коротком кожушке и облезлой заячьей шапке.

Прокопиха сразу узнала Сымона Вежавца и Амельяна Саковича. Они каждую зиму валили лес или пилили на станции дрова. Земли было мало, семьи большие. Вот и ходили на заработки.

Они поздоровались и стали у порога. Соловей вышел навстречу, посадил рядом на лавку и спросил, хорошие ли у них пилы.

— Точим, бо кормимся ими, — ответил Сымон и подумал: не новый ли подрядчик приехал на работу нанимать?

— Та-ак, говорите, острые пилы, и сами, вижу, хлопцы что надо. Крепкие.

— На силу не жалуемся. Любую сосну повалим, куда глаз покажет, — набивал себе цену Амельян.

— Вот и поможете нам повалить одну штуковину. С легионерами.

Хлопцы не сразу поняли, чего от них хочет этот человек в военной гимнастерке.

— Я — председатель Рудобельского волревкома. Нашего военного комиссара Прокопа Молоковича вы знаете. Мы не должны пустить в нашу волость легионеров. — И, помолчав, спросил: — Или, может, пускай приходят?

— А на черта они нам сдались? — ответил Амельян.— Только как ты их не пустишь голыми руками?

— Руки у нас не голые. Берите пилы и идите за мной, — вставая из-за стола, сказал Соловей. Поднялись и хлопцы.

— Вы только скажите, товарищ председатель, что делать, а мы готовы, — отозвался Вежавец.

— Придем на место, все расскажу.

Александр надел шинель и вышел из хаты. Следом за ним подались Сымон с Амельяном...

Молодой месяц затянули облака, и он никак не мог пробиться сквозь их пелену. И от этого ночь была сероватo-синей. Поблескивал на сугробах снег. Вдоль накатанной полозьями дороги стояли припушенные инеем деревья. Под высоким небом, среди просторов белых полей люди казались маленькими и беспомощными. Вокруг было тихо-тихо. Но где-то за заснеженными лесами, за морозной дымкой ночи наверняка уже лязгали колеса бронированного чудовища, в темных вагонах сидели солдаты в конфедератках и шинелях из английского сукна. И что их сюда гонит? Они никогда не видели людей, что живут на этой земле, готовых все отдать за свободу, за право самим распоряжаться своей судьбой. За что же этих людей должны стрелять солдаты?

Нет, они и на этот раз сюда не придут, не должны прийти. Александр подстегивает своего коня, скрипят полозья, из-под копыт взвивается снежная крошка.

Остановились в лощине возле молодого ельника. Вожжи привязали к суку, кинули коню охапку сена, а сами полезли на крутую насыпь. Рельсы тускло поблескивают, — видно, начинают ржаветь: поезда ходят редко. Удивительно, как они вообще еще ходят! Хозяина дороги пока нет. Только иногда мешочники везут соль и махорку, чтобы обменять на картошку и крупу. Да вот очумелый генерал гонит своих «жолнежей» на непокорных рудобельских мужиков.

А они и на самом деле непокорные, добрые в любви и лютые в ненависти. Потому что впервые мужик узнал себе цену, узнал, что и он человек. И для него «мир народам», «земля крестьянам» — это больше чем декрет. На его руках еще не отошли мозоли, на спине, густо посоленной потом, еще зудят рубцы от панского кнута. Та жизнь еще вот тут комом в горле стоит. А вы хотите отобрать у мужика его власть, его свободу. Не трогайте нас, не гневите, панове! И самый добрый человек страшен в гневе. Увидит мужик в траве перепелиное гнездо и обкосит его. Но любой из нас разорвет пасть взбесившемуся волку и не пожалеет, что первым пошел на него. Куда вы лезете, панове? Такой брони, как у нас, еще свет не видел. А вы на поезд надеетесь. Куда он дойдет? Подумали ли вы?

Когда остановились, Соловей спросил:

— Ну, что будем делать, хлопцы?

Над заметенными снегом берегами неширокой реки выгнулся мост на толстых сваях. Ничего не говоря, Сымон закутался плотнее в свою свитку и по хрупкому снегу съехал под мост. Амельян следом пустил пилу, а за ней и сам.

Зашаркала, завизжала пила по настывшему дереву.

Александр спрятался за куст заиндевелой ольхи и стал всматриваться в даль: нигде ни огонька, ни живой души. Только слышно, как вгрызается в дерево пила и сопят под мостом хлопцы.

— Может, подменить кого? — спросил Соловей.

— Ты поглядывай, командир, а чуть что — свистни,— отозвались хлопцы.

Когда подпилили все сваи, вспотевшие, вылезли на мост.

— И всего-то страху, — сказал Амельян. — Ну и сковал мороз. Не потянуть пилу. Пришлось еще по разу пройтись.

— Развод маловатый, — объяснил Вежавец. — Принимай работу, товарищ председатель.

— Утречком легионеры примут. Спасибо вам от ревкома и от советской власти вообще.

Вернулись в деревню. Сымон остановил Соловья:

— Мы не только пилить умеем, товарищ председатель, еще и стрелять. Возьмите нас в свой отряд.

— А из чего стрелять будете?

— Какая-нибудь ломачина найдется, а там, может, лучшим разживемся.

К утру рудобельский отряд расположился в кустах у берега речки. Соловей приказал притаиться, чтоб и духу не слышно было, стрелять только по команде.

На холоде время словно замирает и еле ползет. Мерзнут колени, коченеют руки и ноги. Но ничего не поделаешь, надо неподвижно лежать и молчать. Все всматриваются в темную стену леса, прислушиваются, не гудят ли рельсы.

Тишина.

Соловей лежит на левом фланге, Драпеза — на правом. Оба думают, чем все это кончится. Если легионеры не заметят ловушки, поезд взойдет на мост. Ох и грохот будет! Полезут друг на друга бронированные вагоны, заскрежещет железо о железо. Ломая поручни, рельсы и опоры, все полетит под лед. Жаль только машинистов...

А если заметят? Придется драться. Может, кто-то погибнет из этих хлопцев, кого-то ранит. А тут и куска бинта нет. Промашку дали.

Но что это? Над лесом взвился дымок. Он растет и приближается. Задрожали рельсы, послышался приглушенный расстоянием гул. Все без команды взялись за винтовки, карабины и ружья, притаились.

Из лесу медленно выползает что-то неуклюжее и серое. Дым вырывается откуда-то из середины состава и расплывается белым облачком. Впереди движется металлическая платформа с крышкой, будто у гроба. Видны бойницы и еще какие-то отверстия. Через них наверняка смотрят чьи-то глаза.

Поезд остановился за несколько саженей до моста. Он не решается въехать на него. От состава отделилась низенькая черная фигурка, такая черная, что от нее, кажется, остаются темные пятна на снегу. По всему, кочегар. Он подходит к мосту и смотрит вниз.

«Эх, дурачье, опилки не присыпали снегом», — злится Сымон Вежавец. А ему так хотелось, чтоб эти ощетинившиеся железные гробы вместе с мостом полетели в прорву замерзшей реки.

Человек в черном заходит сбоку, спускается по откосу, потом машет рукой и бежит назад к поезду. Из люка первого вагона высовывается конфедератка. Кочегар останавливается, задрав голову, что-то говорит, размахивая руками, и бежит к паровозу. Поезд стоит, словно раздумывая: идти или не идти? Пышет паром — и ни с места.

Из серых стальных вагонов вылезают три легионера с белыми нашивками на воротниках. Держа карабины наизготовку, они осторожно идут к мосту.

— Эх, влупить бы им, чтоб потроха разлетелись, — шепчет Яков Гошка, сжимая винтовку.

— Не чхни! — зло шипит Соловей.

Легионеры идут осторожно, — видно, чувствуют, что кто-то следит за ними, что на том берегу не так пусто, как кажется. Они наклоняются, осматривают мост, наверняка не доверяя кочегару. Но никто из них не отваживается спуститься на лед. Они, боязливо оглядываясь и не опуская карабинов, пятятся к поезду, хватаются за поручни и уже из вагона машут машинисту в ту сторону, откуда приехали.

Запыхтел, залопотал паровоз, вздрогнули, заскрежетали железные гробы вагонов и подались назад. Из щелей и люков полыхнуло, и через какую-то долю секунды прокатился гулкий залп, залаял пулемет, ссекая сучья ракитника и осыпая иней с голых олешин.

Ох, как хотелось ответить хлопцам дружным залпом! Командиры едва сдерживали их.

Поезд нехотя, медленно двинулся назад. Соловей приказал отряду отползти в лощину и всем встать. Хлопцы стряхивали снег, хлопали друг друга рукавицами, топали и прыгали на месте.

— Ну и чесались руки пальнуть, — признался Амельян.

— Я их, гадов, на мушке держал, пока в вагон не спрятались; так и подмывало хоть одного уложить, — клацнул затвором Яков Гошка.

— А что из этого? Ну убил бы одного, другого, а сколько их там было знаешь? У них же пулеметы, пушки, патронов полные цинки. А ты с винтовкой да карабином хотел на бронированный поезд идти. Полузгали б нас, как Прокопиха фасолю, — объяснял Соловей. — А так и сено цело, и козы сыты. Где мало силы, умом надо брать.

— Интересно, что еще придумает генерал? — спросил Левков.

— На этом не остановится, что-то придумает, — ответил Соловей, — а тут и без него дел по самые уши.

Довольные, что все так обошлось, партизаны расходились и разъезжались, кто на посты в Ратмировичи и в Оземлю, а кто по своим деревням и хуторам. Многие жалели, что даже и пострелять не довелось. Соловей успокаивал их:

— Все только начинается. Еще надоест стрельба. Драться будем до последнего, но никакой погани и близко не пустим.

Члены ревкома зашли к Прокопу Молоковичу. Печь уже истопили, в хате было подметено и убрано. Прокопиха поставила на стол большой чугунок горячей картошки и глиняную миску простокваши.

— Ешьте, мужчинки, намерзлись же и проголодались.

Мужчины сели, начали брать подгорелые сверху картофелины, чистить их и со смаком есть. Первым заговорил Соловей:

— Сил у нас маловато, патронов и винтовок еще мень-

ше, а генерал напирает. Чем будем отбиваться, товарищи? Как будем защищать советскую власть?

— Я думаю, надо послать наших людей в Минск к товарищу Мясникову. Пусть дадут немного оружия, патронов, а может, и пулеметом разживемся, — предложил Молокович.

— Хоть бы маленькую пушку дали. Мы б им тогда показали, как надо воевать, — подхватил Драпеза.

— Вот и собирайся в дорогу, Анупрей. Подбери себе хлопцев, напишем бумагу, возьмете пару добрых коней, подъедете докуда можно, а там пробирайтесь где боком, а где скоком. Не маленькие, головы на плечах есть. Где лучше проехать, подумаем вместе. Члены ревкома согласны? — спросил Соловей.

— Чего ж нет? — доедая картошку, ответили мужчины.

11

...Долго добирался Анупрей со своими хлопцами до Минска: подъезжали на платформах, забивались в солдатские теплушки, мерзли на полустанках. Никто толком не знал, куда и откуда идут поезда. А они все-таки нет-нет да и ходили.

Около полудня приехали рудобельцы в Минск. Узкие улицы завалены снегом. На вокзале полно солдат, женщин, детей, стариков. Все ругаются, кричат, куда-то бегут, толкаются. Плачет молодая женщина в потертом пальто и старенькой шляпке, на нее никто не обращает внимания. На лавках и под лавками спят измученные люди, храпят и тяжело дышат открытыми ртами. Кругом грязь и мусор.

Анупрей, Яков Гошка, Ничипор Звонкович и еще три карпиловских хлопца, одетые в кожушки и свитки, кто в валенках, а кто и в лаптях, подались на Подгорную улицу искать Военно-революционный комитет. Вывесок никаких не было. Приходилось все время спрашивать.

Наконец вошли в просторный зеленоватый дом. И здесь, как на вокзале, битком набито людей, шумно и дымно. По лестнице вниз и вверх с бумажками, с длин-

ными полосками телеграфных лент снуют военные и штатские, за закрытыми дверьми стучат машинки, кто-то кричит в телефон.

Анупрей подошел к солдату с красной повязкой на рукаве и начал допытываться, где можно найти Мясникова. Тот удивленно и подозрительно посмотрел на мужчин и спросил, кто они такие и чего им надо от главнокомандующего Западным фронтом.

— Только покажи где, а что надо, мы сами скажем, — настаивал Анупрей. — Ты ж тут за дневального стоишь, вот и отвечай, когда у тебя спрашивают. Тыкаться из дверей в двери нет времени. — И он показал ревкомовскую бумажку.

— Топайте, мужички, на второй этаж, — кивнул на лестницу дежурный.

Все двинулись следом за Анупреем по узкому мрачному коридору. Их обходили и толкали быстрые военные.

В небольшом кабинете навстречу им поднялся молоденький парень с припухшими красными губами, гладко причесанный на пробор, одетый в зеленый, чересчур широкий в плечах френч. Анупрей молча протянул ему бумажку, написанную Соловьем и Левковым. Тот прочитал просьбу ревкома, взглянул на мужиков, еще раз на бумажку, улыбнулся, вежливо попросил минутку подождать и, не закрывая дверь, пригласил в большой кабинет.

В комнате было несколько пожилых военных, возле самого стола примостился седоусый, кряжистый человек, похожий на паровозного машиниста. Когда вошли рудобельцы, все замолчали. К ним подошел довольно молодой, смуглый мужчина в солдатской гимнастерке, подвижный и очень стройный. Подал каждому руку, пригласил сесть на потертый кожаный диван и вдруг весело засмеялся:

— Несколько месяцев назад на этом диване сидел — кто бы вы думали? Сам Довбор-Мусницкий. А теперь сидят рудобельские партизаны, да, да, именно партизаны, и просят оружие, чтобы бить этого спесивого генерала. Вот так ирония судьбы. Хорошо вы его бьете, товарищи, по-настоящему, по-большевистски. Оружием мы вам поможем. — Он обратился к присутствующим военным: — Как думаете, чем будем их вооружать, товарищи? Учитывать надо условия и расстояние.

— У Василия Викторовича есть, да оттуда и добираться ближе к ним в лесную республику, — посоветовал усатый военный в кавалерийской шинели.

— Действительно, это, пожалуй, удобнее всего. — Мясников подошел к столу, взял лист бумаги и начал быстро писать толстым синим карандашом. Перечитал, положил в конверт и снова подошел к дивану. Передавая Анупрею пакет, объяснил: — Сейчас же отправляйтесь в Осиповичи. Туда только что уехал товарищ Каменщиков. Получите триста винтовок. Как думаете, пока хватит? — Рудобельцы заулыбались. — Две полевые пушки, шесть пулеметов, патроны, снаряды. Вот записка военному коменданту вокзала. Он вас отправит с первой оказией. Спешите. В Осиповичах не очень спокойно.

Рудобельцы поднялись и начали благодарить.

— Это вам спасибо от революционного правительства. И передайте своим товарищам, чтоб держались. Поднимайте на борьбу соседние волости, народ пойдет за вами. А там у вас такая крепость — ни один черт не достанет. Леса, болота — ваши союзники. Скажите, а кулаки, ну богатеи местные, не пробуют выступать против советской власти?

— Пока не высовывались, — ответил Анупрей, — но в застенках царские офицерики хоронятся и урядник на дальних хуторах отирается. Видно, попробуют куснуть. Оружие у них есть. Но мы теперь богаче их. И свой глаз в застенках имеем.

— Передайте товарищам Соловью и Левкову, чтобы обязательно держали связь с Бобруйском. Уком там пока в подполье, но действует... Ну, как говорили до революции, с богом, товарищи. — Мясников проводил рудобельцев до дверей, попрощался, пожал каждому руку.

12

С ночи потеплело. Оттаяли стекла, закукарекали петухи, почернела дорога, припорошенная соломой и навозом, потемнел лес, только кое-где на соснах еще белели снежные шапки. Хоть зима была в разгаре, но первая оттепель напомнила, что весна не за горами, что пора ду-

мать, как лучше панскую и шляхетскую землю вспахать и засеять. Весну ждет вся изголодавшаяся беднота, мечтая о своем загончике и полоске луга, о своем коне и кружке молока для позеленевших за зиму детей. Революция дала землю, вернула мужикам право на все, что веками отбирали у них камергер двора его императорского величества Иваненко, его деды и прадеды, а незадолго до Октября — худосочный барон Врангель.

Но никто никогда не отдавал награбленное без боя. Вот и надо драться, чтоб возвратить добытое мужицкими руками. И долго еще придется сражаться, много пролить крови, чтобы декреты революции стали законами для всех.

Корпус Довбор-Мусницкого дошел до Птичи и, говорят, жмет на Минск, а тут надо продержаться, отбиться, перехитрить, выстоять, пока подойдет Красная гвардия, и вместе с ней турнуть фанаберистых легионеров, чтоб и духу их здесь не было. Быстрее бы приехали хлопцы из Минска, тогда бы можно было вооружить всю бедноту и так ударить, что только бы перья летели.

— Александр Романович, спросить у вас хотел, — перебил мысли Соловья смуглый хлопец с цыганскими глазами. Он сидел на крыльце ревкома и ждал председателя.

— Чей же ты будешь? — окинул взглядом незнакомца Соловей. — Повырастали так, что и родного брата не узнаешь.

— Кондратов я, Ковалевича Кондрата. Может знаете?

— Кто не знает Кондрата? Как же тебя звать?

— Иваном. Батрачил у Ермолицких на хуторе, вот и не видели меня тут, а теперь хозяин взял да прогнал.

— Чем же ты не угодил ему?

Иван замялся, опустил глаза и начал шаркать моршаком по мокрым половицам крыльца.

— Любимся мы с ихней Гэлькой, замуж она за меня хочет, а старики, как дознались, — на дыбы и выгнали меня.

У Соловья от удивленья округлились глаза.

— Шляхтянка за батрака замуж?

— Какая она там шляхтянка? Не ихнего она роду. Не в родителей пошла. Жалеет всех, сама как батрачка. А теперь убежала из дому. Спровадили было ее к тетке па хутор. Побыла-побыла, да и говорит: «Домой пойду», а сама не домой, а в Хоромцы удрала, к экономке в няньки

нанялась, за харчи служит. Старик уже к моему батьке прилетал. Отдай, говорит, дочку. А тот ни сном ни духом ничего не знает. Отцепись, говорит, мне своих ртов нечем затыкать. Покричали, полаялись, с тем тот и уехал. Так и не знает, где Гэлька.

Председатель ревкома молча слушал Ивана. Одни воюют, мерзнут, заливаются кровью и умирают за землю, за свободу, а у этих любовь, начинается жизнь, и тоже в муках. И кто? Батрак и шляхтянка! И тут борьба. Раньше такого не слышно было. Видно, что-то зашевелилось в душах людей.

— Так чем же, хлопче, тебе ревком поможет?

— Наказывала, чтоб просил хоть с десятину земли и лесу на хату. Тогда и обвенчаться можно.

— За землю, брате, еще драться придется с легионерами, с Ермолицкими и Перегудами. Они не то что леса на хату — лозину не дадут срезать. Отвоюем, будет вам и земля и хата. Так и скажи ей. Если любите, женитесь и живите на здоровье.

— А как же, любим. — Иван опустил голову и помолчал. — Она добрая, работящая девка. — Потом посмотрел Соловью в глаза: — Если надо драться, то я хоть теперь. На волка с ружьем ходил, дикого кабана на острове уложил, аж четыре дробины всадил. А тут, видать, нужен больший калибр. Будет с чем, так и я запишусь в ваше войско.

— А ты сам расстарайся. Надо было пошарить под шляхетским застрешьем. Там наверняка есть.

— А то нет? На целый взвод хватило б. И Казик евоный не с пустыми руками приехал. Офицерик!

— Где он теперь и чем занимается? — оживился Соловей.

— Прячется что-то, и от меня тоже. Так ни разу его и не видел. Теперь, говорят, осмелел: по фольваркам да застенкам носится, вроде в сваты. А кого сватает, лихо его матери ведает.

— Это правда, брате. Теперь ему не до девок. Зашевелились шершни, роиться начинают. Так что вперед иди, а назад озирайся, чтоб шляхта из-за угла не ужалила. Они на наш флаг как бык на красное глядят и землю копытом роют. Заревут и набросятся. Смикитил, Иван, как земелька достается?

Только теперь начинал Иван понимать, почему прячется Казик, чего ездит по застенкам, за что возненавидел сестру и почему, как только приехал он, Андрей прогнал его, Ивана, со своего хутора. Боятся, чтоб вдруг не увидело чужое око, что делается за толстыми стенамп.

— Так что, Иване, добывай оружие. А как — подумай. За Птичью легионеры стоят, по селам шастают, иногда отстают от обозов. Поохоться за кем-нибудь, вот и карабин. А оружие тебя выручит не раз. И десятину свою на первых порах будешь с карабином пахать, чтоб назад Ермолицкие землю и жинку пе отобрали. А лесу на хату дадим и надел нарежем.

— Оно и правда. Захочешь собаку ударить — палку найдешь. Лишь бы было что защищать. Так и Гэльке передам. Пусть приходит.

Иван молча сошел с крыльца и быстро, словно что-то вспомнив, поспешил по раскисшей улице.

В ревкоме Александра дожидалась Параска. Она нарядилась, как на праздник. Коротенький кожушок расстегнут, цветистый платок сполз на затылок, открывая гладко причесанные черные волосы; на ногах — ладные ботинки па пуговицах. Наверное, все эти наряды с самой свадьбы лежали в сундуке. Смуглые щеки по-девичьи зарделись. В зрачках черных глубоких глаз поблескивали огоньки, только возле губ легли бороздки от горьких дум, забот и нужды.

Соловей хотел пошутить, спросить, куда это она так вырядилась, но удержался: женщина, может, впервые почувствовала себя нужным людям человеком, которому опостылело ходить в замызганных лохмотьях. Он погасил улыбку, поздоровался и спокойно спросил:

— Ну как беднота шевелится, Параска?

— А трохи шевелится, хоть на одних драниках[1] сидит. Ходили мы это с Микодымом в Лавстыки и в Рудню. Собрали самую голытьбу, рассказали, как землю делить думаем. Микодым говорит, и я иногда словцо вставляю. А людям верится и не верится, что панская и шляхетская земля будет ихней. Боятся тех легионеров. Говорят, шомполами исполосуют за панское добро. Кому ж охота подставлять ребра?

[1] Блины из тертой картошки.

— Надо, чтоб нас легионеры боялись, а не мы их. Привезут хлопцы из Минска немного винтовок, мы тогда им покажем, в какую сторону лататы задать.

13

Уже смеркалось, когда рудобельские «послы» с горем пополам добрались до Осипович. Сразу бросились искать Каменщикова. Он сам только что приехал сюда, и никто толком не знал, где его можно найти. Старая стрелочница ткнула замасленным флажком в темень:

— Идите вон туда, вагон в тупике. Приехал вчера какой-то командир, а тот или нет, сами допытывайтесь.

Долго ходили рудобельцы по путям, хлюпая по снежным лужам. На них покрикивали часовые: «Проваливай, проваливай, нечего здесь шататься». И они шли дальше. Наконец в окне одинокого вагона увидели горящую свечку. Постучали в закрытую дверь. Осипший голос спросил, кто и чего надо.

— Товарищу Каменщикову записка из Минска.

Дверь открылась, показалась голова в папахе.

— Видно, тяжелая записка, что столько вас ее волокет, — пошутил осипший голос. — Кто из вас старший, залазь сюда.

Анупрей нащупал ступеньку, ухватился за поручни и исчез в вагоне.

В купе было накурено и людно. При трепетном огоньке свечки Анупрей разглядел человек восемь в военной форме. Они сидели вокруг стола, о чем-то спорили и говорили разом. Посреди купе стоял невысокий человек в расстегнутом френче. Когда он заговорил, все смолкли.

— Корпус Довбор-Мусницкого Красная гвардия оттеснила от Рогачева. Теперь из Бобруйска легионеры двинулись на Минск. Многие солдаты корпуса под видом крестьян переходят наши позиции... — И тут он заметил Анупрея, прервал свою речь и обратился к нему: — Что скажете?

— Мне товарища Каменщикова.

— Слушаю вас.

Анупрей протянул конверт от Мясникова. Каменщиков пробежал записку глазами, прикусил губу, задумался. По его выправке, по манере держаться и говорить Драпеза сразу узнал недавнего офицера. На плечах френча еще не выцвели следы от погон. «Ну, этот найдет причину, чтоб не дать», — подумал Анупрей и неожиданно услышал:

— Хорошо, чем можем, поможем. Завтра утром в шестом пакгаузе вас будет ждать товарищ Васильев. Я ему все передам. Поможем и транспортом. Лишь бы только тихо прошла эта ночь.

Каменщиков подошел к столу, вырвал из блокнота листок и размашисто написал: «Тов. Васильев! Удовлетворите рудобельских партизан согласно разнарядке т. Мясникова», расписался и подал листок Анупрею.

— А пока из моего резерва получите личное оружие. Сколько вас? — Анупрей сказал, что их шестеро. — Значит, шесть винтовок, по сотне патронов и по три гранаты выдаст вам дежурный. Ночевать придется на вокзале. Больше негде.

Драпеза щелкнул стоптанными каблуками, приложил ладонь к шапке. Каменщиков улыбнулся и протянул ему руку:

— Узнаю солдата. Желаю успехов вашим партизанам. Правильно поступаете. Само ничего не приходит.

— Мы и не ждем, товарищ командир. Было б только чем, а мы любому дадим по загривку. Без струмента ж и гниду не убьешь.

Командиры весело захохотали. Анупрей по-военному крутанулся, аж задрожал язычок свечки.

Рудобельцы получали оружие в коридоре. Анупрей передавал его от дежурного хлопцам.

— Хоть за войну и намозолила плечи трехлинейка, а теперь с ней веселей и спокойней, — сказал Звон кович.

Потом все двинулись к вокзалу. Там, как на каждом вокзале военного времени, было людно и шумно.

Рудобельцы примостились возле печи. Под головы положили жесткие торбочки, закутались в кожухи, свитки, зипуны. Утомленные столькими беспокойными и бессонными сутками, они сразу уснули. Ни паровозных гудков, ни грохота дверей, ни разговоров, ни ругани и криков они не слышали.

Далеко за полночь содрогнулся пол, что-то натянулось как струна и лопнуло, загрохотало, заухало, затопали сотни ног, зацокали конские копыта, затрещали пулеметы. Слышались команды, пересыпанные густой бранью.

Свечка погасла. Люди кричали, хватали свои котомки, давились в дверях и, вырвавшись, бежали неизвестно куда.

Анупрей высадил прикладом окно.

— Хлопцы, за мной!

Забренчали винтовки и патроны в торбах. Вся шестерка выскочила на перрон и помчалась вслед за солдатами.

— Держитесь вместе! — крикнул Ничипор Звонкович.

Они взобрались на железнодорожную насыпь. По дороге неслись пулеметные тачанки, а высоко над головами выли снаряды и, ухая, падали где-то далеко за станцией. Вспыхивали розоватые отблески, и оседала под ногами земля. Куда бегут люди, что случилось за эти несколько часов, рудобельцы не знали. Они пристали к какой-то части, ее вел тот самый усатый командир, которого они недавно видели в вагоне Каменщикова. Анупрей только успел сказать:

— И мы с вами.

— Становитесь на левый фланг. — И зычно скомандовал: — Построиться. Никакой паники.

Залязгали приклады винтовок, зашуршали по снегу ноги.

— Товарищи! Легионеры прорвали нашу оборону в районе Татарки, хотят захватить Осиповичи и Минск. Наша позиция — с правой стороны железной дороги на подступах к станции. На защиту революции — шагом марш!

Последними в колонне шла шестерка рудобельских партизан. Заколыхались во мраке штыки, по дорогам зазвякали подковы, загрохотали колеса, перекатывалась команда, послышались крики и ругань.

На востоке гремели пушки, сверкали темные молнии разрывов, захлебывались пулеметы. Казалось, от близкого боя усилился и потеплел ветер, осел разбитый сотнями ног снег, посветлело в поле.

Где-то неподалеку небо осветило багряное зарево. Оно росло и краснело, из него вырывались клубы серого дыма и языки яркого пламени. Видно, горела деревня. Нарастал гул стрельбы, гремели разрывы снарядов, в воздухе носились приглушенные крики и надрывный вопль.

Рассвело. Рота усатого командира сдерживала атаки легионеров в кустарнике, неподалеку от переезда. А по дороге ползли повозки с ранеными, сопели испуганные кони, отходили и отползали солдаты. Слева прорвались конные уланы. Поблескивали длинные палаши. Чувствовалось, что прорыв ничем не прикроешь, что силы неравные, а впереди еще бои да бои. Надо беречь каждого человека, каждый снаряд и патрон.

В этом бою был ранен Каменщиков. Его на дрезине увезли в Минск. На повязке, перекинутой через шею, нянчил раненую руку Яков Гошка. Оторванный от рукава тряпичный лоскут набряк кровью, завязанная ладонь прилипала к винтовке, когда он вместе со всеми ложился в придорожные канавы и стрелял по зеленовато-серым фигурам легионеров.

А они ползли, как из потревоженного муравейника, залегали, поднимались и бежали вновь. Падали красногвардейцы, падали и легионеры на серый снег, а из перелеска шли и шли новые цепи в зеленоватых шинелях.

Усатый командир приказал отползать на другую сторону станции, в ельник, что начинался за Осиповичами. На связанных винтовках несли раненых. Отходили короткими перебежками, а редкая цепочка бойцов прикрывала товарищей.

К полудню на станции и на улицах местечка на откормленных панским овсом конях гарцевали уланы. Сверкали длинные палаши, тускло мерцали металлические накладки на козырьках конфедераток и туго сплетенные галуны на воротниках шинелей, на погончиках.

Осиповичи занимал корпус Довбор-Мусницкого.

Один за другим шли на Минск поезда, груженные военным снаряжением, порожняки и теплушки. Вывозили раненых, походные кухни, оружие. Машинисты и кочегары оставляли свои обжитые углы, жен и детей, чтобы только увести паровозы и составы, которые принадлежали революционному народу.

Рота усатого командира остановилась на окраине старого бора. Стонали раненые. Их наспех перевязали тряпками, оторванными от нижних рубах и подштанников.

Рудобельцы распрощались с новыми боевыми друзьями, сняли шапки, постояли над убитыми товарищами, загнали по обойме в винтовки и пошагали лесом на юг, в свои края.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ





1

Лед на реке подмыло водой. В полыньях бурлила черная быстрина и исчезала под порыжевшим льдом. Припорошенный соломой и навозом зимник еще держался, но и по нему не находилось смельчаков ездить — на самой середине сочилась вода, порыжел и стал ноздреватым снег у берегов. А главное, куда поедешь, когда на той стороне в панских усадьбах дымят походные кухни, гарцуют по селам легионеры — забирают у мужиков последнее сено, трясут каждую хату, выскребают из сусеков последние семена, режут телушек, стреляют подсвинков и полосуют шомполами каждого, кто пытается хоть что-нибудь припрятать.

Тихая подтаявшая Птичь, словно граница, поделила села: в Березовке, Катке, Хоромцах, Холопеничах и Глусске стоят легионеры, а за рекою, над Рудобельским волревкомом, бьется по ветру красный стяг. Микодым Гошка с Параскою ломают головы над тем, как справедливей разделить панскую и шляхетскую землю, чем помочь вдовам и сиротам. Соловей и Левков рыщут по шляхетским хуторам — па чердаках и в овинах можно наткнуться па хорошо запрятанный обрез или цинку с патронами, почти у каждого застенковца есть двустволка или берданка. А нынче каждый патрон, горстка пороху, дедова пистон-

ка дороже хлеба: не сегодня-завтра придется воевать, может, голову сложить на берегу Птичи, но не сдаться, не пустить врага на свободную землю, по которой еще не успел пройтись с плугом рудобельский хлебороб. Он ждет весны, надеется на свой надел, верит в силу и справедливость большевистских декретов. А его снова хотят лишить этого права, снова хотят согнуть в бараний рог. Нет, васпане, не бывать по-вашему! Не отступим, не согнемся, пока сила в руках есть и глаза глядят, биться будем за свою мужицкую долю. А помереть придется — детям отдадим свое оружие: пусть охраняют землю и красный флаг над ревкомом. Довольно! Кто сам вырвался из ярма, того назад не загонишь.

В волости становилось все тревожнее. Кое-как из Осипович пробились домой Соловьевы посланцы. Пришли и рассказали ревкомовцам, что будто легионеры уже в Минске, что пошли в наступление кайзеровские дивизии, немцы захватывают города и местечки, устраиваются основательно и, видно, надолго. А из-за реки легионеры готовы каждую минуту ударить по волости. И наверняка скоро ударят. Генерал не простит рудобельцам разоруженных в Ратмировичах «жолнежей», не забыл он и о бронепоезде. Не допустит, чтобы в полесских селах, как на маленьком островке, жила советская власть.

Все это понимал, обо всем этом думал Соловей со своими друзьями. Вечером они собрались в Ковалях, в хате Максима Левкова. Горела коптилка, трещал за печкой сверчок, пахло паренкой и подгорелой картошкой. На печи, свесив босые ноги, сидел чернобородый Максимов отец, Архип, пыхтел подмороженным самосадом, слушал, иногда встревая в разговор:

— Окопаться надо, хлопцы. Позиция, она на окопах держится. Земля человека спасает. Давайте на горелом болоте, как раз против моста, окопаемся. Другой дороги у них нет. А в реку не полезут. Заманим в капкан и стукнем с трех сторон. Вот увидите — моя правда.

Соловей слушал старого солдата японской войны и чертил что-то на синей обложке школьной тетрадки.

— А отец прав. Смотрите, хлопцы. Вот мост. Справа и слева залягут два отряда, третий перекроет дорогу. Как только они втянутся в этот мешок, — Соловей обвел карандашом три стороны квадрата, — мы его и завяжем.

Удирать одна дорога — на мост. А тут мы им дадим жару.

— Когда побегут, шарахнете парой гранат по мосту,— сказал Максим, — тогда им — крышка.

— Дело говоришь. Подумаем и об этом. А завтра до рассвета выводите свои отряды с лопатами в ольшаник, начнем окапываться. Как, дядька Архип, по зимнику еще можно пройти?

— На лошадях навряд. А пешком переберешься: снег слежался и примерз, — ответил Соловью старик.

...Утром, еще затемно, перепрыгивая через промоины, полные воды, на ту сторону Птичи по зимнику перебирались Роман Соловей с дочкой Марылькой. За плечами несли по котомке гречки. Если вдруг и остановят, скажут, что идут на крупорушку.

Но никто их не остановил. Легионерам было не до них. Они отъедались на даровых харчах у холопеничской пани, таскали из винокурни свежий спирт, собирались веселыми компаниями, пили и тоскливо пели:

Вруть Ясеньку с тэй военки, вруть...

Не хотелось им подставлять головы под мужицкие пули, рисковать жизнью, да и никто из них толком не умел воевать. Охранять панские усадьбы они умеют. И пожить на всем готовом каждый горазд. Вечерами в просторный зал панского дворца офицеры привозили молодых дебелых шляхтянок из соседних хуторов и застенков, щелкали перед ними каблуками начищенных сапог, звенели шпорами, до самого утра кружили в вальсах и мазурках разрумянившихся толстозадых временных невест и паненок. На ночь выставляли охрану вокруг замка и спокойно отсыпались. Офицеры — в панских покоях и флигелях, солдаты — в батрацких избах.

Когда паны еще спали, Роман Соловей зашел в кузницу к Янису Гайлису. Старый латыш прожил век и оглох в панских кузницах, согнулся под тяжестью молота, поседели голова и усы от забот и нужды, и только глаза были ясные и добрые, как у ребенка. Янис знал Романа с молодости: они вместе батрачили в поместье Иваненки, по соседству корчевали вырубки и оба когда-то засматривались на красивую веселуху Луизу. А когда она не послушалась родителей и пошла замуж за Соловья, Янис не раз хотел встретить мешковатого Романа на узкой лес-

ной дорожке, но никак не выпадало. Хотел, да и сам избегал этих встреч. Он успокоился только после своей женитьбы. Луизы давно нет на свете. Повырастали Романовы и Янисовы дети. Теперь у каждого свое горе. Романов Костик, убегая из румынского плена, дополз до своих окопов и погиб в первом же бою, а Янисов Донат сложил голову под Перемышлем. Встретятся старики, погорюют, повздыхают и разойдутся. А теперь не так-то просто и встретиться: Янис — под поляками, а Роман на той стороне, у большевиков, где всем командует его старший сын.

Поэтому и удивился Янис, увидев на пороге кузницы Соловья с Марылькой.

«Лабдиен»,— оба поздоровались по-латышски, бросили свою ношу у порога. Роман пожал черную шершавую ладонь кузнеца и сразу взялся за отшлифованную сотнями мужицких рук ручку — стал раздувать большой кожаный мех. Загудел горн. Янис ласково посмотрел на невысокую стройную Марыльку. Она была чуть темнее матери, а так — вылитая Луиза. Насупил брови и спросил у Романа:

— Чего это вас нелегкая принесла? Увидят легионеры и всыпят по «двадзесце пенць» [1].

— Ты ж, может, не продашь, откуда мы? А на лбу ни у кого не написано, какой он: красный или белый. Морщак и армяк — одна хворма и тут и там... Это ж наскребли в засеке трохи гречки да в крупорушку принесли.

Янис смотрел на Соловья и улыбался в желтые, прокуренные усы.

— Ты мне, Роман, хоть теперь голову не дури. Мы уже старые, и делить нам нечего.

Он взял мешочек. Приподнял его и взвесил в руке. Покрутил головой и засмеялся.

Марылька с тревогой следила за кузнецом.

Янис молча большим совком разгреб кучу угля.

— Все, что надо, можешь спрятать здесь, а гречку неси на крупорушку.

Прихватив гаечный ключ, он вышел во двор и начал подтягивать гайки на старом возу, посматривая по сторонам.

---

[1] Двадцать пять (*польск.*).

Роман с дочкой вынули из котомки восемь гранат, все их сложили в один мешок, сверху присыпали гречкой, завязали и загребли углем. Увидев, что все готово, в кузницу вернулся Янис.

— Говори, что дальше делать.

— Придет к тебе человек с ключом от этого замка, — Роман достал из кармана небольшой замок от сундучка, — ему и отдашь. Вот и вся твоя работа. Ключ подойдет, — значит, он.

Соловей отдал дочери ключ и помог забросить поклажу на плечо. Марыля вышла из кузницы и подалась в соседнюю деревню.

Роман подождал маленько, подкачал еще мехи, выглянул из дверей и подошел к кузнецу:

— Спасибо тебе, Янис.

— А ты не благодарствуй. Не тебе ж одолжение делаю. Да какое там одолжение? Давай иди. — И старый Гайлис не то обнял, не то подтолкнул в плечо Романа. — Если остановят, скажи, что был у женкиного свояка.

Роман, понурив голову, потопал к зимнику.

2

От заката до рассвета рыли партизаны окопы и ямы в ельнике у моста. Вдоль реки, за ольховыми и ракитовыми кустами, менялись караулы. На свежем бруствере установили пулемет, отбитый у легионеров березовскими хлопцами.

Все отряды собрались в Карпиловке и ждали приказа Соловья.

— Чего нам сидеть? Налетим на Холопеничи ночью, и все эти «канарейки» только зубами залязгают, — требовали самые нетерпеливые.

Соловей удерживал их, говорил, что нечего без надобности подставлять головы под пули, убеждал, что надо зверюгу заманить в капкан и врезать так, чтоб и дорогу сюда забыла.

Когда из-за реки вернулась Марылька и рассказала, что в Хоромцы, Катку и Косаричи подходят новые отряды легионеров, председатель ревкома собрал всех партизап

возле волостной управы, вскочил на почерневшие бревна, что лежали у соседней хаты, поднял руку, спокойно и твердо заговорил:

— Товарищи, не сегодня-завтра наемники капитала, белопольские легионеры, пойдут на нашу волость. У них конница, английские карабины, немецкие пулеметы и пушки, патронов как песку. У нас оружия такого нет. Но мы верим, что победим, потому что каждый сражается за свою землю, за свободу, за советскую власть. Кто стал в наши ряды, должен знать, на что он идет. Может, и не все вернутся из этого боя, может, мы потеряем наших товарищей, но нам не страшно погибнуть за лучшую долю.

В толпе начали всхлипывать женщины. Партизаны молчали, сжимая винтовки. Колыхались овечьи шапки и солдатские папахи, вился синий дымок от самокруток и таял в измороси сырого весеннего дня.

— Товарищи, — снова заговорил звонким и чистым голосом Соловей, — тот, кто готов драться за нашу власть, пусть послушает и подпишет партизанскую клятву. А кто не хочет или боится, пусть идет к бабе на теплую печь. — Он окинул взглядом толпу. Зашевелились партизаны, начали оглядываться, но не увидели, чтобы кто-то покинул строй.

Соловей достал из карманчика потертого зеленого френча бумажку, аккуратно развернул ее. Снял шапку. Сняли шапки Левков, Драпеза, Молокович. Всколыхнулась толпа: один за другим начали партизаны стаскивать старые солдатские папахи, овечьи шапки, военные фуражки. Ветер развевал густые черные и светлые чубы, трепал реденькие пряди на облыселых головах и седые гривы дедов. Соловей услышал, как какая-то женщина шепотом спросила: «Бабоньки, может, и платки надо снять?» Было так тихо, что слышался даже шелест бумажки в руках.

— Слушайте. «Я, нижеподписавшийся, — начал он, чеканя каждое слово, — клянусь честью и совестью свободного гражданина, что понимаю важность взятого на себя долга, от которого зависит результат нашей борьбы в деле освобождения пролетарских масс, которые страдают в тяжелой неволе и рабстве, и свято обязуюсь пройти выбранный мной тернистый путь. Сознавая революционный долг, я готов пожертвовать собою ради достижения

цели, для освобождения и восстановления у нас советской власти, подобно многим другим предшествовавшим мне товарищам, которые достойно погибли в неравных боях... За измену делу пусть будет мне всеобщее презрение и смерть».

Люди молчали.

— Не сегодня-завтра легионеры могут напасть на нашу волость. Ревком вводит военную дисциплину. Все отряды должны быть готовы в любую минуту выступить на защиту советской власти, — закончил Соловей.

Толпа заговорила, зашевелилась. К бревнам подходили старые и молодые, слюнявили карандаш, и каждый расписывался, как умел, — кто ставил первую букву с хвостиком, кто крестик, а те, что пограмотнее, — расписывались за себя и за соседей — «по их личной просьбе». Расписалась Александрова сестра Марыля, за ней подошла комбедовка Параска и поставила три толстых крестика.

— Председатель, ты б меня командиром над бабским батальоном смерти назначил, — хихикнул Терешка. Но жена ткнула его в шею:

— Замолчи, балаболка.

— Командиры и члены партии большевиков, зайдите в ревком, — объявил Прокоп Молокович.

Из толпы вышло человек двадцать. За ними сунулся и Терешка.

— Тебя ж еще, дед, в командиры не назначили: батальон еще не набрался. Лучше чеши домой, — остановил его Максим Ус.

— Зато в большевики записался. Прокоп же сказал идти в волость.

— Партизаны — это одно, а партейные — совсем другое, — объяснял, улыбаясь, Максим старику.

— Как же так? Раз я за большевиков, значит, партейный.

Когда партизаны зашли в волость, Терешка постоял немного, махнул рукой и вернулся к бревнам, где мужики еще подписывались под партизанской клятвой.

— Неужели не все одно? Раз записался, значит, большевик.

Так думал не один Терешка: каждый, кто взялся за оружие и принял партизанскую клятву, считал себя большевиком.

Еще не рассвело. За ночь земля подмерзла, ветки приречных кустов обледенели и шуршали, как проволочные. С того берега слышался топот ног, конских копыт и приглушенные короткие команды.

Полторы сотни партизан залегло у моста. Они притаились в окопах и ямах, обтыканных молодыми елочками и ветками ольхи. На правом фланге командовал Соловей, на левом — Драпеза. Впереди, за полверсты от них, дорогу перехватил отряд Левкова. Председатель ревкома наказал: без его команды никто не имеет права даже пошевелиться. Пахло сырой землей и мхом. От напряженного ожидания подрагивали челюсти и пальцы. Обостренный слух улавливал каждый шорох и звук.

Топот нарастал и приближался. Зацокали подковы по мосту, глухо застучали сапоги. Легионеры намеревались внезапно взять Рудобелку, занять волость, а что делать дальше, каждый знал сам: плетки были со свинчаткой, шомпола — при каждом карабине.

Впереди рысцой трусила конница. На козырьках конфедераток поблескивали окантовки, позвякивали длинные изогнутые палаши, поскрипывали седла, сопели сытые кони. На мосту конники сняли карабины. Пехотинцы сделали то же самое. По обе стороны дороги, сразу за рекой, начинался густой ельник, а чуть поодаль — дремучий бор. Рассыпаться цепью по лесу было боязно, пугала и лесная дорога. Потому, видно, как-то само собой натягивались поводья, замедлялся шаг, головы поворачивались то вправо, то влево. Командир с биноклем на шее отъехал в сторону, пропуская своих солдат, и подгоняя их короткой командой: «Прэндзэй, панове, прэндзэй!»

Когда мимо него прошла последняя шеренга пехотинцев, он пришпорил сивого, в яблоках, коня, но не очень-то спешил на свое место впереди отряда. Ехал сбоку колонны, вглядываясь в заросли. В лесу было тихо, только медленно и лениво покачивались и чуть слышно шумели верхушки сосен. Притихли и легионеры. Чавкали копыта и подкованные сапоги, кроша наст и тонкий ледок на лужицах. Что-то застучало совсем близко. Похоже, дятел... Закричал ворон на сухой елке. Повеселели молодые краснолицые уланы и легионеры: лес как лес, и зря стращали их поручики и капралы, будто за каждым кустом сидят «бандиты».

У самой дороги стояло несколько штабелей дров. И вдруг из-за них прямо в лоб колонне ударил залп. Передние кони взвились на дыбы и осели, свалился на землю один, второй, третий улан, задние наскочили на них, залязгали затворы карабинов. Но куда стрелять, никто не знал, палили в дрова и просто в белый свет.

А раненые уланы и кони падали один за другим. Легионеры бросились с дороги в лес, и тут с двух сторон, из ям и окопов, прикрытых елочками и кустами, грянули выстрелы. Валились на землю не только убитые, слетели с испуганных коней и живые. Они отползали за толстые стволы деревьев и беспорядочно отстреливались. Ломая сучья, по лесу носились ошалелые кони без седоков. Казалось, стреляет каждое дерево и куст, пули взвизгивают откуда-то из-под земли. Конница и пехота оказались в огненной западне. Одно спасение — назад, на мост. Наугад стреляя в лесную чащу, налетая на своих, мчались ошалевшие и охваченные паникой уланы к Птичи. К мосту ринулась беспорядочная толпа пехотинцев, их к поручням оттесняли конники. С правой стороны затрещал пулемет. Легионеры, переползая от куста к кусту, приближались к реке. Как только конники доехали до середины моста, с той, их стороны полетели гранаты. Вздыбились лошади, поднялись торчмя доски разбитого настила, а сзади напирали и напирали раненые и смертельно перепуганные солдаты.

Заскрипели подгнившие перила. На потрескавшийся, набрякший лед сорвался конь, шмякнулся и не встал. Силился, мотал головой, но так и не сдвинулся с места. Под ним оседал подмытый лед, бурлила черная вода. Без конфедератки и карабина вывалившийся из седла улан пополз по льду. Из-за кустов на мост упало еще несколько гранат. Разрываясь с грохотом и свистом, они застилали дорогу дымом. Западня захлопнулась.

Настил моста разнесли в щепки гранаты, тлели перила и просмоленные торцы перекладин. Командир орал на пехотинцев и размахивал плеткой. Солдаты обломками досок наспех латали дырки в мосту, чтобы хоть по одному можно было перебраться на ту сторону.

Стрельба прекратилась. Партизаны берегли патроны. Стоило им только секануть из пулемета по мосту, чтоб уложить всех. Но это был бы уже не бой, а расстрел.

Соловей из своего окопа следил, как ходуном ходят

кусты на противоположном берегу, и радовался, что уже никто не найдет тех косарицких хлопцев, что бросали гранаты, принесенные из Гайлисовой кузницы.

К полудню все стихло. Легионеры переправились на другой берег, поставили возле обгоревшего моста часовых.

На дороге и в лесу партизаны собрали около тридцати карабинов, сабли, сняли с убитых полные подсумки, ловили испуганных, разбежавшихся по ельнику лошадей.

Когда стемнело, перенесли трупы к мосту. На картоне, прикрепленном к столбу, написали: «Забирайте своих несчастных вояк и не гоните других на погибель. Дорогу на Рудобелку забудьте навсегда». И подписались: «Ревком и подрайонный комитет РКП».

В окопах и в кустах у реки установили дозоры. Остальные отправились по домам. На уланских конях ехали раненые партизаны Моисей Рогович, Рыгор Падута, Денис Макевич. Параска перевязала их жесткими холщовыми бинтами. Когда и как она оказалась в лесу, никто не знал. Параска молодцевато сидела в седле и поддерживала Дениса с пробитым навылет плечом.

— И кто тебя просил лезть на рожон? А если б в голову?.. Потерпи, Дениска, фершал поможет,— утешала она Макевича. — Но зато всыпали панам так, что десятому закажут.

— Анупрей хорошо чесанул из пулемета — они так и посыпались, — вспоминали партизаны недавний бой.

— И жалко: молоденькие все, глупые, где-то матери ждут, — вздохнула Параска.

— Поглядел бы, как бы они тебя пожалели, — посвистывая, сплюнул раненый Денис.

3

После боя партизаны не расходились из волости — сидели в большой прихожей — сборне, курили, припоминали, как все было.

— Максим как дал очередь, этот офицерик так и взвился.

— Который Максим? — допытывался Терешка, все

еще не выпускавший из рук длинного ружья. Свитка подпоясана брезентовым охотничьим патронташем, треух залихватски сбит набекрень.

— А ты, дед, часом, не солью лупил? — подтрунивал высокий как столб и всегда спокойный Максим Ус. — Как шарахнешь, гляжу — панки только кубарем катятся да на ту сторону драпают.

Все захохотали. Но Терешка не растерялся.

— Это они со страху, а у меня по две дробинки в каждом патроне. Как врежу, так с копыт долой. Скажи ты мне, Максиме, кто это с того боку бонбы на мост кидал? Куда они подевались, те люди?

— Все будешь знать, скоро состаришься. — Ус повернулся и пошел в боковушку к Соловью.

В тесной комнатушке на лавках, на столах, на подоконнике сидели командиры отрядов и ревкомовцы.

— Еще один такой бой, а дальше придется отбиваться камнями и дубинами, — говорил Александр. — Патронов мало, винтовок на всех не хватает. Что будем делать, хлопцы?

— Если бы разжиться еще хоть парой пулеметов да ящиков пять патронов раздобыть, — начал Драпеза.

— Может, одолжить у пана Довбор-Мусницкого? — серьезно спросил Максим Левков. Он и шутил не улыбаясь.

— Шутки шутками, а с Бобруйском связаться надо. Уездный комитет хоть и в подполье, но поможет. — Соловей ждал, что скажут ревкомовцы.

Вдруг открылась дверь, и на пороге, с двумя большими торбами, перекинутыми через плечо, появился Иван Мозалевский. Еще больше заросший и обрюзгший, он скинул у дверей поклажу, поздоровался со всеми, сел на край лавки, достал жестянку из-под ружейного масла, отвинтил крышку, отсыпал самосаду и закурил.

— Жаловаться пришел, товарищ Соловей, — начал глусский сапожник. — Сами тут воюете, а я шершней обшиваю, черевички с высокими халявками шляхтянкам подгоняю. Разве я для того пришел к вам?

— О, так это завидная работенка, лишь бы только халявки подлиннее были,— пошутил Ничипор Звонкович.

Мужики дружно засмеялись. Словно и не было недавнего боя с легионерами и это не по ним стреляли из карабинов. Соловей поднялся из-за стола.

— Тут только свои, все большевики — командиры и члены ревкома. Так что можешь не опасаться. Рассказывай, что там на хуторах. А навоеваться еще успеешь.

Мозалевский плотнее прикрыл дверь, прикинул, с чего лучше начать.

— Считай, вся застенковая шляхта — бандюги. Хорошо еще, что шайка Казика Ермолицкого не стукнула вам по затылку. Видать, сюда сунуться еще не отважились, а в Лясковичах разогнали ревком, председателя Аникея Ходку расстреляли возле волости. Счастье, что женка с детьми сховалась. Так они, гады, хату спалили.

Все понуро слушали невеселые вести партизанского разведчика. Он долго жил в кулацких застенках. Переходил из хутора на хутор, шил сапоги, подбивал подметки, спал в закутках за печью, молча хлебал затирку на своем верстаке. Что б ни говорили, он прикидывался глухим.

«Что? А? — переспрашивал. — Говорите громче, ничего не слышу». И ему кричали в самое ухо. Тогда он кивал головою, улыбался, словно от радости, что услышал, снова сжимал губами березовые шпильки и железные гвоздики и молчал. Шляхтянки подтрунивали над ним. Скажет которая: «Иван, иди есть», а он и ухом не поведет, стучит себе молотком, натирает варом дратву. «Вот глухая тетеря», — потешались хозяева.

А Иван ловил каждое слово, каждый звук, прислушивался и присматривался, что творилось на дворе, в сенях, амбаре. Ночью храпел и бормотал «во сне», но слышал, о чем шепчутся хозяева на своей половине, по тихому стуку в окно узнавал ночных гостей.

Они приезжали за овсом, забирали обрезы, топали и разговаривали в сенях, пили самогонку. Хозяин, кивая на запечек, успокаивал их: «Не бойтесь. Глухой как пень. Вот закончит сапоги — и с богом».

Около недели обшивал Иван Андрея Ермолицкого. И не сам набивался — люди порекомендовали хозяину хорошего сапожника, что славно шьет и дешево берет. Наказал Андрей, чтобы прислали его к нему на хутор. Иван и пришел.

Дома были только старики. Анэта все охала и посматривала в окно, не идет ли дочка, крестилась и шмыгала носом. Андрей больше молчал, целыми днями ковырялся в хлеву и амбаре, куда-то исчезал и появлялся только ночью.

Как-то после первых петухов в хату с двумя бандитами ввалился Казик. Вошел, как гончий пес, потянул вокруг носом, увидел колодки и инструменты на скамеечке и кинулся к отцу:

— Что за человек?

— Сапожник, сынок. Из Глусска. Старухе валенки подшил, мне головки новые ставит. Спокойный человек и глухой как пень. Не бойся, Казичек.

— Мы свое отбоялись. Пусть теперь нас боятся. Крутятся, гады, как подсмаленные. У нас вон какая сила! Да еще человек двадцать прибудет. По Рудобелке ударим, послушаем, как эти «соловьи» запоют. Ходку уже уходили в Лясковичах.

— Ухлопали, ухлопали! — рявкнул громила в суконном домотканом френче...

Иван Мозалевский не пропускал ни одной подробности, ни единого слова, рассказывал все по порядку.

— А Казик в офицерском мундире и погоны прицепил. Про сестру спрашивал. «Поймаю, — говорит,— сучку, сам кнутом исполосую, чтоб не бегала, а этого работника на первой осине повешу сушиться».

— Где же они скрываются? — спросил Соловей.

— Как коршуны: где ночуют, там не днюют. Больше Загальских хуторов держатся. У атамана девка в Подлуге есть. Возле нее и трется.

Соловей и все ревкомовцы внимательно слушали, даже курить перестали. У Левона Одинца потухла цигарка, прилепившаяся к нижней губе, и свисала изо рта, как гороховый стручок.

— Аникея мы им не простим. И вообще с этой шайкой шершнюков пора кончать. — На обветренных скулах Соловья заходили желваки, губы вытянулись в тонкую ниточку... — Это же целый взвод Мусницкого притаился в нашем тылу. Вчера убили Аникея, а завтра любого из нас могут пристукнуть. — Соловей посмотрел на Левкова: — Бери, Максим, боевых хлопцев и окружайте хутора. Пока переловите шляхтюков, мы с Анупреем и Прокопом будем управляться тут.

— Максим, возьми меня. Я этого Ермольчука как облупленного знаю, — подал голос Терешка.

— Бери, Максим, дед будет самым геройским хлопцем в твоем отряде, — пошутил Молокович.

— А что? И мы не лыком шиты, — хорохорился старик. — Обстригу бороду, так еще о-го-го!

— Ей-богу, правда. Он бегает как ошпаренный, и за молодицами еще ухлестывает, как молодой жеребчик, — не то серьезно, не то в шутку сказал Максим Ус.

Хлопцы загоготали. Терешка не знал, смеяться ему или обидеться на Максимовы шутки. Он сдвинул на затылок треух и молодецки расправил согнутые старые плечи.

— Беру тебя, дед, начальником разведки, — согласился Левков.

— Нет, Архипович, без винтовки не пойду. Нехай тот вынюхивает, у кого нос длинный, а я воевать буду. Эх и врежу ж этому облупленному офицерику! А начальник из меня, что поп из бабы.

4

Темнело, когда Гэля прибежала в Иванов двор. Озираясь, ополоснула в луже ботинки. Она пробиралась украдкой по грязному полю, огородами и задами, только б не увидели и не сказали батьке, чтоб тот силком не затащил домой.

Иванов двор маленький и грязный, изрытый копытами овец, весь в навозе и щепках. Старая хата скособочилась, соломенная крыша заросла зеленым мхом. Гэля подошла к широким дверям, повернула задвижку. В темных сенях никак не могла нашарить щеколду. Двери открылись изнутри.

— Пригибайтесь только, а то стукнетесь, — послышался женский голос.

Гэля поздоровалась и остановилась у порога, не выпуская из рук узелка. Кондратиха сразу и не узнала ее. Всего раза два видела в церкви вместе со старой Ермолицкой. На хуторе же ни разу не была. А когда прогнали Ивана, ох и наслушалась от карпиловских и ковалевских баб и про сына и про его ухажерку. «Хоть бы разок поглядеть, что там за паца такая», — говорила она Ивану. А тот только отмахивался.

— Проходи, молодичка, садись. Куда это бог на ночь глядя несет?

— Из Хоромцев иду, а куда — и сама не знаю... Хотела Ивана вашего просить, чтоб подвез немного.

Старуху осенило.

— А боже ж мой, не Андреева ли ты будешь? Впотьмах и не узнала. А детки ж мои... — Она заметалась по хате. — Может, перекусила б чего с дороги?

— Спасибо, я недавно ела.

Гэля села на лавку, спустила на плечи платок, расстегнула жакетик. Женщины долго молчали, не зная, о чем говорить. Начала Кондратиха:

— И что это вы надумали, детки? Задурили один другому головы и ходите как от чемерицы пьяные... Где это видано, чтоб из такого богатства да на нищету девка пошла! И батьку не слушаться грех... Пускай бы все было ладом да складом, как у добрых людей. А то не знаю, что тут и говорить. Нехорошо, детки.

Гэля начала натягивать платок и взялась за свой узелок. Кондратиха вскочила с места:

— Что ты, дитятко, что ты? Разве ж я враг тебе? Или из хаты гоню? Жалко мне тебя, бо сама всю жизнь толкусь как Марк в пекле. Раздевайся, будь как дома. Скоро и Иван придет. Сохнет по тебе, счернел весь. Может, от тоски сам себе не рад, вот и спутался с этими лесовиками. С поляками биться ходил. А божечки, сколько я переколотилася, пока там стреляло да гремело. Сколько поплакала. Но вернулся, слава богу. Время такое тревожное, а вам любовь на уме. Ох, детки, детки! Не ждите милости от твоего старика, не простит он ни вам, ни нам.

— Нам, не нужна его милость. Может, волость даст какую полоску, а там и хатку как-нибудь поставим, лишь бы только вместе.

— Разве ж я враг вам? Живите на здоровьечко, чтоб только спокойно все да по-людски было, по закону, с батюшкой да с благословением. Это ж теперь поскручивались молодые, говорят: «Бога нет, и поп не нужен», а без бога ни до порога. — И, помолчав, добавила: — Баранчика можно будет зарезать, горелки трохи выгнать, чтоб все по-людски было.

У Гэли посветлело на душе. Она почувствовала, как тепло и уютно в этой пустой и темной хате. Долго ли,

коротко, но ей придется пожить здесь, управляться возле этой печки, угождать Ивановой матери.

— Вот после пасхи и повенчаетесь. А теперь нельзя, детки. И батюшка в великий пост грех на душу не возьмет. А там, может, и отец твой смилостивится, не враг же он своему дитяти. Может, все перетрется и перемелется, — глядишь, как говорят, и мука́ будет.

— Мука́-то навряд, а му́ки хватит, — вздохнула Гэля. — Отец говорит, что лучше в гробу меня видеть, чем под венцом с Иваном.

— Лютый он, ой лютый! — вздохнула Кондратиха. — Напролом живет, ничего не жалеет. Смолоду знаю его: за копейку батьку родного на кресте распнет. А с дочкой, может, и примирится. Ты же у него одна.

Старуха не видела в потемках, как бежали по Гэлькиным щекам горючие слезы, как она силилась проглотить жесткий комок. Поэтому и молчала. Ей было жаль себя, горько и стыдно перед людьми.

На дворе послышался топот и тихие голоса. Скрипнули в сенях двери, зашаркали ноги о голец на пороге. Согнувшись, в хату вошли двое мужчин.

— Добрый вечер, если есть кто живой, — поздоровался незнакомец.

— Чего это вы, мама, сидите в потемках? — узнала Гэля голос Ивана. Она прижалась к стене и затаилась, только сильно колотилось сердце, запылали щеки, а во рту стало сухо-сухо.

— Где же ты керосину наберешься, — отозвалась Кондратиха.

Она подошла к печурке. Зашуршали сухие щепки, мужчина чиркнул спичкой. В тусклом свете Гэля разглядела обветренное, худое лицо, запавшие глаза и под заострившимся носом маленькие усики. Кондратиха поднесла к спичке лучину, и она ярко вспыхнула. Только теперь Иван увидел на лавке Гэлю, увидел и растерялся, не зная, что говорить, что делать. Если б никого не было, подхватил бы ее на руки, прижал к себе, а теперь...

— О, так у вас гости! — заговорил незнакомец.

Кондратиха узнала Романова сына, обрадовалась и чуть смутилась.

— Проходите, председатель, присаживайтесь.

Она зажгла лампу, что висела над столом, подкрутила фитиль и бросилась вытирать фартуком лавку.

— Гэлька, неужто ты? Откуда бог несет? — подошел к ней Иван.

— Разве не видишь, притомилась, бедная, — ответила мать. — Пусть отдохнет у нас, а там видно будет.

Соловей все понял. Так вот она какая, Ермоличанка: бывает, что и в змеином гнезде цветок вырастает. Красивая! А на шляхтянку мало похожа.

Иван сел рядом с Гэлей. Свесив лохматую голову, жадно тянул вонючий самосад. Кондратиха поставила на середину стола большую глиняную миску с простоквашей, на льняную скатерть положила полбулки хлеба.

— За скоромное простите. Перекусите, что бог послал, — пригласила Кондратиха.

Иван взял Гэлю за руку и повел к столу. Она слегка упиралась и отнекивалась для приличия. А потом все хлебали простоквашу из одной миски, ели крутую, подгорелую пшенную кашу. Соловей посматривал на Гэлю и Ивана, думал, как они хорошо будут жить через пять, от силы через десять лет. Потом сказал:

— Оженим вас по-новому, по-большевистски. Нарежем самой лучшей земли, лесу дадим на хату. Вот и будет первая советская семья в волости.

— Отец не признает, если по-новому. Надо, чтоб батюшка, — тихо отозвалась Гэля, — а иначе все равно домой поволокет.

— До пасхи подождем, а там видно будет, — сказала Кондратиха.

— Пусть будет и с попом, лишь бы жили согласно. Вот разгоним легионеров, хуторских бандитов переловим — и тогда земля наша, лес наш, реки и луга наши. Только не ленись, все будет: школы построим, свитки сбросим, заживем как люди. А пока еще не раз кровью умоемся. Легионеров отогнали, а там немцы прут. Успевай только отбиваться от погани.

— Так что ж это будет, Лександра? Неужели под германцем жить придется? Это ж какая-то божья напасть на нашу голову. И что им тут надо? Чего их несет нечистая? — запричитала Кондратиха.

— Если все дружно возьмемся, то отобьемся и от германца, тетка.

— Как же ты отобьешься, если у него сила — пушки да пулеметы, а у нас что? Вилы да дедовские берданки. Ой, хлопчики, страшно мне за вас. Богородица, мат-

ка боска, заступись и помилуй... — начала креститься старуха.

— Никто не заступится, тетушка, и не помилует, если сами себя не защитим.

Соловей встал, поблагодарил за ужин и начал собираться. Он видел, что ночевать ему негде, и не хотел мешать молодым.

— Оставайтесь у нас, товарищ председатель, как-нибудь разместимся, — не очень настойчиво приглашал Иван. Но Соловей сказал, что ему еще надо зайти к Прокопу, попрощался и вышел.

Гэля с Иваном долго сидели на лавке, шептались, ласкались, а когда сморил сон, она полезла на печь к старухе, а Иван до утра вертелся на полатях: мысли, как слепни, кружились одна за другой и не давали заснуть.

Еще не рассвело, а Гэля уже собралась в дорогу. На шестке старуха сжарила яичницу, налила кружечку парного молока, положила краюху хлеба и все упрашивала не стесняться, есть. А когда Гэля взялась за щеколду, обняла ее и заплакала:

— Куда ж ты, моя ясочка, пойдешь? А дай же вам, боженька, здоровья, счастья, долгого века. Береги себя, дочушка, чтобы не простыла, не дай бог.

Иван, в шапке и кожухе, стоял опечаленный. Он не хотел отпускать Гэлю, но и оставлять ее нельзя: дознается и тут же прилетит Андрей. Тогда беды не оберешься. Увезет на хутор и силком выдаст за кого-нибудь гнусавого шершнюка. Пусть лучше пока поживет в Хоромцах.

5

В Рудобелке была советская власть, ревком, а за Птичью легионеры и солдаты кайзера Вильгельма драли с мужиков шкуру. В Лясковичах и Загалье пьянствовали, грабили и издевались над людьми шляхетские банды.

Жить отрезанными от мира больше было нельзя. Нужны были советы, поддержка, а главное — оружие и патроны. Где их искать? С кем посоветоваться, что делать дальше? Есть же уездный комитет большевиков. Надо во

что бы то ни стало пробраться в Бобруйск, отыскать Платона Федоровича.

Соловей вспомнил про чайную, раков и про три стакана чаю без сахарина. Посоветовался с Прокопом Моловичем и Максимом Левковым.

— Надо ехать, — поддержал Максим, — без подмоги нам не выстоять.

Ехать решил сам Соловей с Анупреем Драпезой.

Дороги размыла ранняя весна. В лощине лужи мутной воды. Ночи стеклили их тонким ледком, под ногами похрустывал наст и чмякала прошлогодняя листва. До Ратмирович Александр с Анупреем добрались пешком. На Соловье была длинная, подпоясанная веревкой свитка, старая отцовская шапка, на ногах — морщаки с суконными портянками, а в руках кнут: если кто остановит, ответ был готов: «Не встречали ли буланого коня с лысиной?» Анупрей же должен был говорить, что едет в больницу к отцу. У него и торбочка была за плечами, вроде бы с передачей для больного.

На станцию пришли ночью и сразу же затерялись среди пассажиров, что спали на лавках и на полу. Тут уже не страшно: никаких документов ни у кого не было, а если кто и поинтересуется, можно говорить все, что взбредет в голову. На станции хлопцы впервые увидели новых оккупантов. Освещенный тусклым, закопченным станционным фонарем, по мокрому настилу перрона ходил взад-вперед старый долговязый немец. Усы подкручены, как у кайзера Вильгельма, на голове каска с двумя козырьками и острым шишаком на макушке, спереди — большой распластанный орел. Короткая мышиного цвета шинель топорщится на спине, гулко стучат подбитые толстыми гвоздями подошвы. Немец смахивал на огромного грача, который прилетел на чужое поле и ковыляет в одиночестве.

Заморосил мелкий весенний дождь, поползли по стеклам длинные, кривые струи. Дождь прогнал с перрона и старого немца. Видно, спрятался где-то.

Соловей сидел с прикрытыми глазами и не пропускал ни единого движения, ни единого слова. Слух и зрение были настороже, а в голове, будто в туго заведенных часах, бешено стучали, обгоняя друг друга, мысли. Он ду-

мал обо всем, о чем не хватало времени думать дома: почему подписали Брестский мир и пустили немцев, куда переехало командование Западного фронта; что происходит в мире и как быть дальше им, рудобельским коммунистам и партизанам, ведь защищаться придется не только от мятежного корпуса белополяков, а и от регулярной, вооруженной и вымуштрованной армии кайзера; кого они найдут в Бобруйске, что им посоветуют, чем помогут?

Анупрей, подложив под голову торбочку, дремал на полу у стены. Они выдавали себя за незнакомых. Договорились садиться в разные концы вагона, а в Бобруйске встретиться в чайной на базаре.

Поезд подошел далеко за полночь. Одно название поезд: несколько теплушек с проломанными боками, разбитыми стеклами, давно не топленными «буржуйками». Впереди, сразу за паровозом, прицеплены три пассажирских вагона. В них моргали огарки свечек, и казалось, что там тепло и уютно. Возле этих вагонов стояли немецкие солдаты и никого туда не пускали. А в теплушки рванулась толпа мешочников — толкались и кричали, кто-то кого-то подсаживал, кто-то кого-то стаскивал за воротник. Все ругались, орали и мешали друг другу. И так перед каждым вагоном. А по перрону спокойно расхаживал, посмеивался и потешался старый немец с вильгельмовскими усами.

Соловей с Анупреем с грехом пополам забрались в последний вагон. В нем было холодно, темно и тесно. Мужчины и женщины сидели, лежали на нарах и под нарами, устраивались на полу и просто стояли, прислонившись к стенке. Вагон гомонил и ругался: отталкивали узлы и друг друга, окликали знакомых и односельчан. Когда поезд двинулся, все понемногу успокоились и притихли.

Поезд еле тащился. Останавливался на каждом полустанке и просто в поле. Через окна слышалась немецкая речь, выкрики, какие-то распоряжения. Потом снова ковылял раскачавшийся «телятник». Люди стонали и бормотали спросонок.

Когда совсем рассвело, Соловей увидел через щель в стене рыжую прошлогоднюю траву, посиневшие елочки вдоль дороги, лужи, наполненные вешней водой. Он узнавал, где они едут, потому что эту дорогу не раз измерял по шпалам. Вот поезд прогремел над Березиной. Вон как широко она разлилась и затопила прибрежный оль-

шаник и стога на лугах. Значит, близко станция. Стало немного страшно: а что, если немцы или легионеры надумают трясти каждого, кто приехал, начнут шарить в котомках, искать и принюхиваться? Почти рядом Соловей заметил седую, сморщенную, как печеное яблоко, старушку. Она тяжело дышала и стонала. Он подсел к ней и стал расспрашивать, куда она и зачем едет.

— Помирать, видно, детки. Заложило все в середине... — Она постучала худыми, потрескавшимися пальцами в грудь. — Вот насоветовали люди поехать до того дохтура Марзона, а где его искать, и не знаю.

— Я, тетушка, как раз к нему и еду. Батька мой там лежит. Так что не горюйте, доведу до самой больницы.

— А дай же тебе бог здоровья. Только ж я чуть ковыляю, — может, и не захочешь канителиться.

— Мне спешить некуда. Дойдем помаленьку.

Когда поезд остановился и все ринулись к дверям, Соловей подхватил старушкин узелок, соскочил со ступенек и помог ей слезть. Взял бабку под руку и осторожно повел.

У входа в вокзал стояло с десяток немецких солдат. Они ощупывали каждого взглядами и волосатыми руками, о чем-то спрашивали. Большинство пропускали, некоторых, с самыми большими мешками, отводили в сторону. Соловей шел спокойно, поддерживая больную старушку, и пристально следил за Анупреем: пропустят или задержат? Вот конопатый немец с широким женским лицом обшарил его мешочек, полапал руками от подмышек до колен, что-то буркнул и подтолкнул рукой к дверям.

Александр повеселел: а у него есть надежный «пропуск». И он еще осторожнее повел старушку к выходу.

Тот же немец, с желтыми, как у кота, глазами, прошелся руками и по его бокам, посмотрел на бабку, брезгливо сморщился и безнадежно махнул рукой. Через людный прокуренный вокзал Александр с больной старушкой вышел на мощеную площадь. У столба их дожидался Анупрей. В больницу они отправились вместе. Хоть было и некогда, жаль было бросать беспомощную старуху, да и опасно сразу идти в чайную: черт его знает, может, кто идет следом. Да и присмотреться надо к новым порядкам.

Утром улицы пустынны. Только по мокрой, занавоженной брусчатке тащилась огромная повозка с горшками да толкал перед собой тачку старик в длинном лапсер-

даке и круглой ермолке. По тротуару, цокая подковками, шел вытянувшийся, как хлыст, немецкий офицер. Только поблескивали похожие на бутылки желтые краги и медный шишак на черной каске.

Город был тот и не тот. Стояли знакомые Александру дома, заборы, деревья, и непривычно было видеть на этих улицах солдат и офицеров, с которыми он три года воевал. Теперь они здесь чувствовали себя хозяевами. Надолго ли? Как все повернется? В одном был уверен твердо: надо держаться до последнего...

Оставив бабку в больнице, Соловей с Драпезой, минуя красный костел с острыми шпилями, пересекли Муравьевскую улицу, вышли на Ольховскую и направились к рынку. Тут стояло несколько небольших возов сена, на прикрытой соломой брусчатке сивый дед разостлал клеенку и разложил на ней свой товар — потертый голубой мундир, шляпки с перьями, медные подсвечники и еще какое-то старье. Он пританцовывал и тоненьким голоском зазывал покупателей:

Вот мундир для генерала
Продаю за хлеб и сало.
Эти дамские обновки
Продаются по дешевке!

Александр хитро улыбнулся, толкнул Анупрея локтем:

— Может, купим, а?

— Разве что для Терешки? — хихикнул Драпеза.

Они толкались между возами, рядами, женщинами, продававшими сахарин, соль и цикорий, приценивались и торговались — и все время посматривали на двери большого двухэтажного дома с вывеской: «Чай и домашние обеды».

Наконец завернули туда. В небольшом зале сидели человек десять деревенских дядек. Кто нарезал сало, кто хлебал жиденькую юшку, кто пил мутный цикорий. Все молчали. Александр с Анупреем сели за свободный столик, достали из торбочки хлеб и кусок копченого окорока. Оглянулись. Из боковушки, где бренчали оловянными мисками и раздавались женские голоса, вышла тоненькая девушка в фартучке, в коричневом платье с белым воротничком, как у гимназистки.

— Что прикажете, господа?

— Дюжину раков, — спокойно ответил Соловей.

На него сверкнули красивые черные глаза.

— Раков нет, — сказала девушка.

— Тогда три стакана чаю без сахарина.

Через несколько минут девушка поставила на стол три стакана чаю. Под одним из них Александр нащупал малюсенькую записку. Ловко вытащил ее и спрятал в карман. Прочитал только тогда, когда вышли из чайной: «Минский форштадт, 78. Спросить, не нужен ли клевер».

Шли долго пустынными улицами и переулками. Здесь почти не встречались немцы. Деревянные дома, сады и огороды напоминали местечко или деревню: мычали коровы, на завалинках копошились куры, возле заборов рыли землю свиньи.

Вот и длинный дом без ставен. На стене — заржавевшая жестяная дощечка: «Страховое общество «Россия», а под ней от руки выведен номер — «78». Без стука вошли в комнату, поздоровались. На скамейке сидела старая еврейка и щипала перья.

— Не нужен ли вам клевер? — спросил Соловей.

Не отрываясь от работы, женщина посмотрела на них и позвала:

— Бэрул, кум а гэр! [1]

Из дверей вышел молодой парень с рыжеватым чубом. На нем была черная косоворотка с белыми, как на гармошке, пуговицами, на босых ногах — опорки от старых валенок.

— Не нужен ли вам клевер? — спросил у него Соловей.

Парень открыл дверь другой половины и жестом пригласил пройти. Когда двери закрылись, Александр тихо сказал:

— Мы из Рудобелки, хотим поговорить с кем-нибудь из укомовцев.

— Присаживайтесь, товарищи. Скидайте свои свитки вот сюда, на диван. А мы вас давно ждем. Молодцы, рудобельцы! Как там товарищ Соловей?

Драпеза улыбнулся, хотел что-то сказать, но Александр опередил его:

— Ничего себе, жив-здоров. Пока ни легионеры, ни

[1] Бэрул, иди сюда! (*евр.*)

немцы не подстрелили. Беда только — отбиваться нечем. Вот и прислали нас сюда.

Хозяин попросил минутку подождать и выскочил на кухню, а когда вернулся, хлопцы увидели через окно, что женщина, которая только что щипала перья, куда-то пошла с большим решетом в руке.

Через полчаса на стареньком велосипеде подъехал мужчина в тужурке и форменной фуражке почтового чиновника.

— Не бойтесь, — предупредил хозяин квартиры, — это товарищ Раевский.

В комнату вошел молодой смуглый парень. Его красивое лицо с широко поставленными глазами озарила улыбка.

— Рад тебя видеть, Александр Романович, — тряс он руку Соловья. — Слышали про ваши дела и давно хотели встретиться. — Он поздоровался с Драпезой, потом с хозяином и сел в уголок дивана.

Алексанр сразу узнал председателя укома Платона Ревинского. «Ага, понятно, теперь его называют Раевским, — подумал он. — Пусть будет так. Раевский так Раевский».

— Что у вас нового, товарищи?

— Держимся из последних сил. А надолго ли хватит пороху, не знаем, — ответил Анупрей.

— Пороху и винтовок нам только и не хватает, товарищ Раевский, — уточнил Александр. — И знать надо, что в мире творится, на фронте и в Москве. А то сидим как кроты в норе. Шляхта болтает, что большевикам пришел конец, что вся Россия вот-вот будет под немцем. Газеты, листовки нужны, организация и руководство военной и партийной работой. Затем и пришли.

— И хорошо, что пришли, товарищ Соловей.

Рыжеватый парень громко засмеялся:

— Ну и конспираторы! Мне Соловей заливает про Соловья, а я и развесил уши...

— И правильно делает. Тебя он не знает, ты ж ему визитную карточку не давал, — сказал Раевский. — Привели их сюда, наверное, Розины «раки». Так, хлопцы?

— Раки и клевер, — засмеялся Анупрей.

— А откуда им знать, куда их те раки привели: к своим или в ловушку. Познакомьтесь хоть теперь. Это Борис Найман, а теперь его зовут товарищ Новиков... Заси-

живаться нам некогда. Борис, спрячь, пожалуйста, мой велосипед в коридор.

Борис на минуту вышел.

— Немецкая оккупация — дело временное, — начал Платон Федорович. — Мы вынуждены были подписать этот кабальный договор в Брест-Литовске, чтобы спасти революцию, чтобы иметь хоть малепькую передышку перед новыми боями с империалистами и контрреволюцией. Так говорил товарищ Ленин на седьмом съезде партии. Штаб Западного фронта переехал в Смоленск. С ним у нас самая тесная связь. В Минске и здесь работают подпольные комитеты. Советское правительство недавно переехало в Москву. Партия наша теперь называется «Российская Коммунистическая партия большевиков», — информировал Раевский. — Задача: мобилизовать всех рабочих и крестьян на борьбу с оккупантами, вооружить каждого добровольца, готового сражаться за советскую власть. Кое-что у нас есть, и мы вам поможем и оружием, и припасами, и литературой. Будут газеты и листовки и на немецком языке. Распространяйте их среди солдат. Им тоже осточертела война, хочется домой, к детям, женам, к спокойной жизни. Многие нам сочувствуют, есть революционно настроенные. На них и надо делать ставку.

— У нас еще немцами и не пахнет, — вставил Анупрей.

— Нет, так будут. С легионерами вы легко расправились. А это армия, и не абы какая. Винтовками ее не остановишь. Потерять лучших людей не за понюх табаку — резону нет. Так я говорю, Александр?

— Так это что же — руки кверху и сдаваться? — горячился Анупрей. — С хлебом-солью их встречать? Подставлять под плетки спины, баб и дочек отдавать на поругание? А холеры им! Бить гадов будем, пока патронов хватит.

— А не хватит, что тогда? Убежишь в лес, а тех, кто останется, пусть вешают и стреляют? — спокойно спросил Раевский.

Вернулся Новиков.

— Где мало силы, надо брать умом и хитростью. Вот и подумай, как и людей уберечь и немцев быстрей выгнать. А шапками забрасывать не спеши, разъяришь врага и сам не рад будешь. У нас здесь пулеметы были и силы больше, чем у вас, и то временно в подполье ушли.

— Ты, Анупрей, не кипятись, — утихомиривал Драпезу Соловей, — послушай, а потом встревай.

— Что посоветовать вам? — продолжал Платон Федорович. — Пока в бой не ввязывайтесь. Пускай занимают имение, а в деревню они и сами не очень-то полезут. Партизанские отряды выведем в лес, в деревнях оставьте своих людей, в волости посадите надежного человека. Чтоб немцы верили ему, а он служил нам. Следите, чтоб не растаскивали народное добро, а своевольничать начнут, можно и ударить внезапно. Как только гнать их начнем, тут уже и вы будете не обороняться, а наступать, бить и в хвост и в гриву. Так я говорю? И не только я. Так думает уком, такой тактики придерживается губернский партийный комитет.

— Правильная тактика, — согласился Соловей. — С пистоновками против пушек не очень навоюешь. А силы накопим, тогда и ударим.

— Через несколько дней буду у вас. Там все и решим. А что делать теперь, скажет товарищ Новиков. Только как безопаснее всего добраться в вашу лесную республику? — спросил Платон Федорович.

— В вашей форме до Глусска вы свободно доедете как почтовый служащий, — начал Соловей.

— И не только форма, а и свидетельство есть за всеми печатями.

— Тем лучше. Придете на постоялый двор, спросите балаголу Шолома Гитьку. Он вас подкинет до Васи Подберезного, а тот сделает все, что надо. — Соловей поднялся. — Ждем вас, товарищ... Раевский. — Он улыбнулся и сильно пожал руку Платону Федоровичу.

Через минуту синяя куртка и спицы велосипеда промелькнули за окном.

— Теперь слушайте дальше, — сказал Новиков. — На Казначейской улице есть маленький магазинчик с большой вывеской: «Книжная торговля и писчебумажные принадлежности И. Агала». Зайдете туда и спросите: «Нет ли у вас «Закона божьего»? Если старенький подслеповатый хозяин скажет: «Закона божьего» нет, есть только «Новый завет» — передайте ему привет от Новикова и считайте, что самой свежей литературой вы уже обеспечены.

С Минского форштадта хлопцы пошли на другой конец города, к Соловьевой тетке. Там сняли свои свитки.

почистились, похлебали перлового супа с таранкой и подались на Казначейскую улицу. По ней прогуливались сытые немецкие офицеры с длинными трубками. Куда-то спешили, позвякивая плоскими зелеными котелками, солдаты. Из коротких голенищ у них выглядывали круглые алюминиевые ложки. Козыряли рядовые высшим военным чинам как-то нехотя, словно сгоняли с виска назойливую муху. Кое-где мелькали шинели цвета высушенного табака, конфедератки с сияющими козырьками, сверкали сапоги легионеров корпуса Довбор-Мусницкого.

— Смотри ты, снюхались лиса с волком и живут в одной берлоге, — буркнул Ануирею Соловей, а сам подумал: «Хоть бы не нарваться на кого-нибудь из тех, кого в Ратмировичах до смерти напугали. Вдруг узнает — будет тебе и Новый и Старый завет».

Как только вдали показывалась конфедератка, Александр подходил к окну какой-нибудь лавки или нагибался и поправлял портянки.

Но вот, слава богу, и «Книжная торговля и писчебумажные принадлежности И. Агала». Небольшой магазинчик втиснулся между высоким домом и кирпичным лабазом с глухой стеной. За окном на веревочке развешаны разноцветные книжки и старые пасхальные открытки, разрисованные ангелами, овцами и красными яйцами; на подоконнике лежали толстые альбомы с позолоченными срезами и блестящими застежками.

Хлопцы постояли у витрины, хотели посмотреть, нет ли кроме хозяина еще кого-нибудь, но ничего не было видно. Открыли дверь и остолбенели — сбоку, у прилавка, стоял грузный немец и рассматривал разложенные веером пасхальные открытки. Перед ним была та самая смуглая девушка с библейскими глазами, которая утром в чайной подавала им чай без сахарина. Она что-то весело щебетала старому немцу в очках, а он тасовал открытки и довольно улыбался.

В уголке сидел седой старичок и, уткнувшись носом в страницу, читал толстую книгу. Он даже не шевельнулся. Девушка только глянула на хлопцев и снова защебетала. Александр подошел к прилавку и тоже начал рассматривать открытки. Анупрей остался у порога. Тем временем старик дочитал страницу и отложил книгу.

— И что бы вы хотели у нас купить? — обратился он почему-то к Анупрею.

Тот не растерялся:

— Мало ли чего нашему брату нужно?

— Если по книжной части, то почему б и нет? — оживился старичок.

— А как же, по вашей. Может, какая трубка обоев нашлась бы да пара книжек для сорванцов, а то за войну и они одичали. Нехай хоть бзкать трохи научатся. Поповна взялась показывать буквы, а книжек, может, у вас разживемся, — разговорился Апупрей.

В это время смуглая девушка завернула в бумагу отобранные немцем открытки, не считая сунула в ящик марки. Солдат щелкнул подковами, козырнул и весело попрощался:

— То сидания, фрейлин Роза.

Потом повернулся к старичку, еще раз козырнул, сказал: «Ауфвидерзейн» — и вышел из магазина.

Как только закрылась за немцем дверь, Александр спросил у хозяина:

— Нет ли у вас «Закона божьего»?

— Есть только «Новый завет», — улыбнулась девушка, которую немец назвал Розой, и заговорила как с давними знакомыми: — Вижу, что вы нашли товарища Новикова. А сейчас вам будет и «Новый завет».

Она исчезла в дверях кладовки, следом за ней потопал и старик. Слышно было, как они о чем-то говорили по-еврейски. Через несколько минут Роза вынесла стопку тонких листков, отпечатанных на русском и немецком языках.

— Прячьте за пазуху, — шепнула она.

Старик поставил на прилавок две небольшие пачки книг, перевязанные шпагатом. Сверху лежал «Новый завет».

— Дома пролистайте каждую. Может, что найдете,— сказал старичок и протянул хлопцам маленькую влажную руку, пожелал им счастливой дороги, сел в свой уголок и начал «пюхать» пожелтевшие страницы толстой книги.

— Выходите по одному и в разные стороны, — посоветовала Роза.

— А этот немец, часом, не следит за нами? — спросил Александр.

— Не бойтесь. Это наш немец, — успокоила Роза.

6

Оккупанты заняли Жлобин, Рогачев, Шклов, Могилев, захватили сотни местечек и тысячи деревень от Немана до Днепра. Немцы хозяйничали в Минске и Борисове, Осиповичах и Бобруйске, Полоцке и Мозыре. В Орше у кайзеровских вояк хватило сил занять только товарную станцию, а пассажирский вокзал остался советским. На нем пламенел красный флаг, на перроне дежурили красногвардейцы и чекисты, дежурные принимали поезда из Москвы и Смоленска и отправляли их назад в красную столицу.

Из зеленого вагона вместе с толпой солдат и сестер милосердия, крестьян и мешочников вышел невысокий худощавый мужчина в короткой черной поддевке, потертой кепке и в добротных юфтовых сапогах. Он свернул в пустой грязный переулок. На завалинке дома с синими ставнями прятала под крылья маленьких желтых цыплят большая курица. На заборе сохло несколько горлачей, на окне ярко цвел густой «огонек». Мужчина смело ступил во двор, будто бывал здесь не раз, открыл двери и очутился в чистой, светлой комнате. На гвозде висела видавшая виды кожанка и хромовая фуражка с красной звездой. Откинув матерчатую занавеску, из-за перегородки вышел молодой чернявый мужчина с мешками под глазами. На нем была расстегнутая гимнастерка, галифе с кожаными леями и дырявые носки на ногах. Видно, он только что задремал и сразу же проснулся, как звякнула щеколда.

— Мне начальника пограничной Чека, товарища Ревина, — спросил пришелец.

— Сразу подавай ему начальника. А рядовые вам не требуются? — буркнул в ответ хозяин. — Ну, я Ревин. Что дальше?

— Тут все написано. — Человек протянул синий пакет.

Ревин его разорвал аккуратно, достал отпечатанную на машинке бумагу, прочитал, положил пакет в карман гимнастерки и заговорил вежливо и приветливо:

— Раздевайтесь, садитесь, товарищ Серебряков, я сию минуту.

Он исчез за ширмой. Послышалось, как стукнули о пол каблуки, звякнула пряжка. Через несколько минут Ревин появился причесанный, туго затянутый ремнем, в начищенных сапогах.

— Значит, так, — сказал он, словно продолжая давно начатый разговор,— необходимые документы для вас есть. Запомните, Петр Михайлович. Теперь вы — Павел Михайлович Балашов, слесарь чугунолитейного завода пана Витушевского, мещанин города Бобруйска.

— Добре, что хоть батьки одинаково звались, а к остальному привыкну. Бобруйск знаю хорошо, больше года прослужил там в автомобильной роте.

— Товарищ Кнорин лишь бы кого не пошлет. И правильно, что ему поручили организацию партийного подполья на оккупированной территории. Он-то хорошо понимает, что одних немцев надо бить пулей, а других — словом. Старым солдатам надоело воевать и таскаться по свету, они рвутся к своим семьям, хотят быстрее вернуться к станку или плугу. Многие сочувствуют нам и стараются не замечать, когда отправляем своих людей, посылаем литературу, а порой и оружие. На таких немцев у подпольщика должен быть особый нюх. А гад встретится — никакой ему пощады! Все это вам, конечно, говорили в Смоленске?

— С обстановкой познакомили, нужные в Бобруйске адреса помню. Только бы добраться туда. Надеюсь на вашу помощь.

— Билет до Бобруйска достанем. А перейти на ту сторону — раз плюнуть. Может, правда, и прицепится какой-нибудь солдат, начнет «цурюкать», а ты ему десяток марок в зубы — сразу замолчит. Тут недавно мы отправляли в Бобруйск «Правду», «Звязду» [1], пачки листовок, «Rote Fahne», специально отпечатанную в Смоленске. Сверху, понятно, все прикрыто ситцем, платками, таранкой, пачками табаку. Сдает этот «товар» товарищ Котлович в багаж, а таможеннику что-то тюкнуло в голову — пристал: открывай корзины, и все тут. А что значит открыть корзины? Завалить все дело и самому пойти под полевой суд. Выручила николаевская золотая пятерка — сунул ее Котлович таможеннику, тот и размяк. Приказал солдатам погрузить багаж в вагон. Вам как раз и при-

[1] Орган ЦК Компартии Белоруссии.

дется ехать с товарищем Котловичем. К вечеру он будет тут. Везет новый «товар». Запомните, фамилия его Антонов. Антонов Иван Тихонович. За ним как за каменной стеной: немного болтает по-немецки, нюх на опасность, как у породистой гончей, в любую щель пролезет. Он вас свяжет с бобруйскими товарищами. А теперь рассказывайте, что там нового в Москве и Смоленске.

— Веселого мало. Голодает Москва, но работает. Массы идут за Лениным, дают перца меньшевикам и «левым» коммунистам. В Смоленске верят, что оккупанты долго не продержатся, собирают силы. Так вы же здесь газеты читаете, не хуже меня знаете, что происходит на фронтах и в Москве, — устало произнес Серебряков.

Ему хотелось спать. Голова была тяжелой, а впереди — беспокойная ночь и долгая дорога.

Ревин понял это. Бросил на диван маленькую подушечку, на стол положил две таранки, толстый ломоть поздреватого хлеба, поставил бутылку с подсолнечным маслом на дне.

— Перекусите и до вечера отдыхайте, а я смотаюсь на станцию. Работы у нашего брата по уши: лезет всякая сволочь с контрабандой и контрреволюцией, вот и приходится всех процеживать.

Он набросил кожанку, сунул в карман наган, предупредил, что скоро придет хозяйка, и вышел из комнаты.

Серебряков погрыз таранку, помакал в масло хлеб, собрал в горсть крошки и растянулся на твердом коротком диванчике. Глаза закрылись, а в голове отстукивало: «Павел Михайлович Балашов, Павел Михайлович Балашов, Павел Михайлович Ба-ла-шов».

...Котлович — Антонов очень смахивал на бойкого молодого купца: целлулоидный воротничок с загнутыми уголками, пикейная манишка, хороший костюм в полоску и ботинки с гетрами вызывали доверие и уважение.

— В нашем торговом деле что главное? Нюх. Цикория нет — доставай цикорий, сахарин нужен — вези сахарин; мыло, таранку — все подавай. С руками оторвут. Есть каждый хочет. Вот и пришлось кормильцем голодного общества стать. Благородное дело. Согласны?

Серебряков слушал веселого балагура, который терся среди мешочников и облинялых буржуйчиков, и порой не

верил, что это большевик и опытный конспиратор. Он диву давался, глядя, как огромные кошели «бобруйского коммерсанта», кряхтя, тащили в вагон носильщики под самым носом железнодорожной жандармерии.

Перед посадкой поджарый немец с густо усеянным большими веснушками лицом и с белыми поросячьими бровями проверил потертое удостоверение Балашова, буркнул короткое «geh» и принялся за следующего. Возле поезда уже толпились люди. На перроне горело два тусклых фонаря. В вагонах, казалось, в темноте ночи кто-то прорезал мутно-оранжевые окна в еще далекий рассвет. Пахло паровозным дымом и мокрой сиренью. Балашов стоял у вагона и напряженно смотрел на открытые двери вокзала: «бобруйского коммерсанта» не было. Он забеспокоился, обождал еще несколько минут и втиснулся в толпу мешочников, которые с криками и руганью ломились в вагон.

В самом конце он нашел свободную верхнюю полку, бросил на нее маленький фанерный чемоданчик и стал устраиваться на ночь.

Трижды прозвонил станционный колокол, заревел, зачихал паровоз, дернулся вагон и покатился во мрак ночи. Поезд стучал, скрипел, шатался, как старый немазаный воз, останавливался у каждого столба. Вагон говорил, спорил, храпел, кашлял, задыхался от густого тяжелого духа.

В Шклове, Могилеве и Жлобине немцы проверяли документы, светили в лица карманными фонариками, похоже, что кого-то искали, вытаскивали из-под лавок заспанных пассажиров. Те, очумелые от тяжелого сна, долго почесывались и не понимали, чего от них хотят, потом шарили за пазухами, отыскивая свои билеты и николаевских времен паспорта. Немцы чмыхали носами, ворчали: «Est ist schweine Gestank» [1], ругались отборным русским матом, кого-то волокли, пинали, ссаживали. Свидетельство на имя Павла Михайловича Балашова, очевидно, было безупречным, да и вид владельца его не вызывал никаких подозрений.

Вдруг кто-то стукнул его по ноге. Павел Михайлович поднялся и увидел в проходе Антонова.

— Пора вставать, землячок, скоро будем дома. — Сказал и пошел в тамбур.

[1] Свиной смрад (*нем.*).

Чуть переждав, Балашов последовал за ним. В окна пробивался рассвет, в синей дымке мелькали леса и деревни, поля, речки.

Антонов стоял возле окна и аппетитно курил.

— Я беспокоился, не отстали ли вы от поезда. Только вышел из вокзала и сразу потерял вас.

— Со мной такого еще не случалось, — улыбнулся Антонов и плотней прикрыл двери. — Слушайте: в Бобруйске мы с вами не знакомы. Идите прямо в чайную. Пароль знаете. Вас поставят на квартиру и сведут с нужными людьми. Девушке, которая принесет вам еду, шепнете: «Антонов кланялся вашему папе». Это обязательно. — И, помолчав, объяснил: — Нужно, чтоб мой «товар» сразу попал к «покупателю».

Он крепко пожал Балашову руку и вышел из тамбура.

Утром в чайной у рынка Балашов подкрепился селедкой с картошкой и густым горьким цикорием. Здесь ему дали адрес его квартиры. Красивой девушке он передал привет от Антонова, заплатил за завтрак и пошел искать дом на Столыпинской улице.

Через несколько дней тем же поездом в Бобруйск приехал немецкий коммунист Густав Шульц. Он тоже заходил в чайную к Розе Агал, а потом превратился в заядлого «книголюба» и часто наведывался в магазин ее отца.

Густав служил в городской комендатуре, носил шпилеобразную каску и хорошо подогнанный мундир, иногда в его глазу поблескивал монокль, на руке болтался маленький стек. Хоть был он в годах, но всегда выглядел франтом.

В книгарне старому Ёселю Агалу Шульц оставлял аккуратно заполненные паспорта, с которыми от Орши до Бреста ездили подпольщики, предупреждал, когда и кому надо исчезнуть, а в солдатских казармах все чаще появлялись отпечатанные на тонкой бумаге номера «Rote Fahne» и «Rotes Soldat», листовки с призывами быстрее возвращаться домой, свергнуть династию Гогенцоллернов, создать новую, социалистическую Германию.

В магазине «Книжная торговля и писчебумажные принадлежности» Павел Балашов передавал Густаву Шульцу поручения и задания подпольного уездного комитета,

забирал паспорта и бланки пропусков, выслушивал и запоминал самые свежие планы немецкого командования.

К августу на всех заводах и в мастерских Бобруйска действовали подпольные большевистские ячейки, была создана партийная группа и в типографии на Муравьевской улице, где печатались призывы Бобруйского укома. Их выносили в кулях с обрезками бумаги, а к утру листовки были в чайной и в книгарне Агала.

Выпить стакан чаю забегали гимназисты и ученики так называемого политехникума, заходили они и в книжный магазин купить тетрадей или перьев. А уходили с листовками за пазухой. Потом листовки находили в крестьянских возах на базаре, на тротуарах и даже в соборе. Уездный комитет партии призывал народ сражаться с насильниками-оккупантами, отбирать у них награбленное добро, вооружать и создавать партизанские отряды.

Эти листовки на серой и желтой бумаге звали к борьбе. И каждый день то возле Кочерич, то возле Глуши, то по дороге из Подречья на обозы с житом, поросятами и коровами, награбленными в деревнях, налетали бородатые, в свитках и холщовых рубахах мужики, стреляли над конскими ушами, отбирали у перепуганных солдат карабины и заворачивали повозки в лес.

Однажды возле Горбацевич мужики содрали с восьми немецких солдат сапоги, брюки, мундиры, каски, обули их в свои лапти, одели в свитки и в такой «форме» отпустили. Комендант фон Троммель пришел в ярость и тут же отдал приказ: «Каждого пойманного бандита расстреливать без суда и следствия».

По улицам города шныряли патрули и наряды полевой жандармерии, хватали подозрительных, набивали ими камеры тюрьмы на Шоссейной улице и казематы крепости. А в чайной возле базара каждый день кто-нибудь просил раков или три стакана чаю без сахарина, в магазинчике Агала шла бойкая торговля «Новым заветом», на дверях городской управы и комендатуры появлялись новые листовки, все чаще в казармах находили «Rote Fahne», а интендантские отряды возвращались из деревень с пустыми руками, да еще разоруженными.

Молодым офицерам приветливо улыбалась красивая официантка фрейлейн Роза, бродил по базару с корзинкой в руке рабочий чугунолитейного завода Павел Балашов, всегда спешил куда-то на старом велосипеде почто-

вый чиновник Платон Раевский. А из Орши веселый балагур Ванька Антонов снова вез три огромные корзины «ширпотреба».

7

В весеннем воздухе стоял запах горьковатой пыльцы прибрежных верб. На изгородях и пряслах горланили и били крыльями петухи. Подсыхала и дымилась по утрам в низинах синеватым паром земля. Бабы на огородах копали гряды, сажали лук, отбирали семенную картошку. Пришла пора сеять. А где чьи полосы, еще никто не знал. В ревком чередой шли вдовы и безземельные карпиловские деды.

— Долго ты что-то чешешься, Микодым. Земля пересыхает, и навоз выветривается. Делить надо, а то проспим все. Картошку сажать пора, проса да гречки хоть горсть в землю кинуть, — торопили председателя комбеда.

Утром еще в сумерках они с Максимом Усом начали тесать колышки и зачищать на них залысины. Связали двое веревочных вожжей, смеряли их облупленным желтым аршином. Позвали Параску и пошли на панские пары нарезать наделы.

Только успели раза три натянуть вожжи да забить первые колышки, как из деревни повалил народ. Никто им ничего не говорил, но как-то пронюхали, что комбедовцы пошли делить землю, и двинули все, как на то первое собрание.

— Давай, Микодымка, я тянуть буду, а ты пиши в свои метрики, — объявил дед Терешка.

От его новых лаптей на земле оставался ровный клетчатый след. Старик носком расковырял ком, взял землю в пригоршню и понюхал.

— Может, панским дикалоном пахнет? — не удержался от шутки Максим Ус.

— По́том мужицким, по́том, — спокойно ответил Терешка. — А нарежешь мне вон до той дички, пеклеванкой запахнет. Правильно говорю?

— Ишь чего захотел! — зашумели женщины. — Ему до дички! А несчастным сиротам песочек?

— Ты нарезай, Микодым, а потом жребий потянем. Чтоб без ругани, — предложили карпиловцы.

Кондрат Ковалевич подъехал на лошади с плугом и остановился возле мужиков.

— Не первым ли хочешь отсеяться? — спросил Андрей Падута.

— А почему б и нет? — И, помолчав, добавил: — Пока они будут тягать эти вожжи, может, обпашем весь надел, чтоб видно было, что занят, что — наш. А потом и поделим. Ну как, мужики?

— Это не помешает. Гони аж до жита.

— Но-о! — погнал Кондрат шелудивого после зимы коня. Тот вогнул голову, натянулись постромки, и плуг врезался в мягкую землю. Борозда аж лоснилась за отвалом. Следом за Кондратом пошли несколько мужиков. Через загон Андрей попросил:

— Дай и мне подержаться.

— Только глубоко не бери, не потянет дохлятина, — передавая ручки плуга, предупредил Кондрат.

Как только бабы увидели, что мужики пашут, тут же похватали лопаты, чтоб чуть подкопать свою полоску.

А мужики по очереди опахивали хорошо выстоявшийся пар. На каждом наделе комбедовцы оставляли колышек с номером на залысине. Смеркалось, когда из большой Усовой шапки каждый тащил свое счастье.

В рудобельское имение немцы заявились теплым дождливым утром. Процокали по мостику копытами породистые кони, прогромыхали зеленые походные кухни, оккупанты въезжали за высокий каменный забор из красного кирпича. Мокрый песок на дороге, как оспой, побит гвоздями подкованных сапог.

На большом дворе поставили в козлы винтовки с короткими блестящими штыками. Запыхтели длинными трубками, загалдели важные и медлительные солдаты. Пожилые выглядят утомленными и безразличными, молодые еще шутят и вертятся возле кухонь, расхаживают по двору и большому саду, а высовываться за ворота пока не решаются: наслышались в Бобруйске и Глусске про «лесных бандитов» и боязливо посматривают на каждый куст.

Дня через два со взводом немецких солдат приехал на коне молодой хозяин имения барон Петр Николаевич Врангель. На нем была лохматая бурка, наброшенная на походный, из генеральского сукна, мундир, маленькие звонкие шпоры, надвинутая на самые брови зеленая фуражка с кантами. Худосочный, подтянутый, нервозный хозяин имения совсем не походил на пана; он не знал, когда надо пахать и бороновать, молотить и сеять, но всегда знал одно: этот белый дворец с колоннами и просторными залами, с лосиными рогами и персидскими коврами — его собственность, что поля и леса, раскинувшиеся на десятки верст вокруг имения, принадлежат ему. Все последние годы, до самого переворота, имение приносило ему такой доход, что никогда не надо было думать о деньгах. Они сами текли к нему в дом.

Рудобельское имение барону Врангелю досталось в приданое от камергера царского двора Михаила Васильевича Иваненко. После свадьбы барон с молодой женой был здесь лишь однажды. Потом они уехали в Таврическую губернию, в шикарное имение, записанное на имя тещи, которую до свадьбы барон уже называл maman.

Теперь Врангель решил обосноваться во дворце и на этих землях, напомнить мужикам, кто здесь хозяин. Но судьба сыграла злую шутку — он бессилен. Приходится надеяться только на штыки вчерашних врагов — кайзеровских солдат.

На крыльце барона встречал Николай Николаевич. В последнее время он очень сдал и был похож сейчас на застенкового шляхтича.

Они сразу прошли в большой кабинет.

— Расскажите, что происходит здесь, дорогой Николай Николаевич, — с деланной вежливостью сказал хозяин, развалившись в глубоком кресле.

— Вынужден честно признаться, что положение самое что ни на есть критическое, нищенское положение, ваша светлость. Имения, как такового, считайте, давно не существует. Батраки разбежались, никого не слушают, ничего не хотят делать. Митингуют, разделили ваши земли, под метлу вымели зерно из амбара. Мужики с ружьями шляются по лесу. Одна надежда на волю божью да на армию кайзера Вильгельма.

— А вы, батенька, паникер, — усмехнулся Врангель и нервно заходил по комнате. — Это, думаете, все? Ду-

маете, лаптежники удержат власть и будут диктовать свои варварские законы? И на немцев не очень-то надейтесь, — заговорил он тише. — Русское офицерство живет и сражается. Мы еще ударим так, что пыль только останется и от большевиков и от этих временных «освободителей». И вы не имеете права сидеть сложа руки. Неужели здесь все за большевистскую коммуну? Разве зажиточные хозяева на хуторах не понимают, что их ждет петля, а детей — сума? Неужели они сидят и ждут, когда придет нечесаный дикарь и средь бела дня обдерет их как липку?

Врангель пробежал несколько раз из угла в угол кабинета, остановился посреди мягкого ковра и, чеканя каждое слово, произнес патетически:

— Если бы не великая миссия спасения России от этой нечисти, я бы здесь навел порядок. Кровь со слезами брызнула бы из этого быдла. А пока надо умело возглавить близких нам людей, владельцев хуторов, молодое офицерство, которому мерещатся генеральские погоны. При-ду-шить! — Он сжал жилистый кулак. — В самом зародыше придушить даже мысли о «равенстве и братстве»... Мужик есть мужик, а господин есть господин. Власть принадлежит сильным и умным избранникам. А вы тут распустили нюни.

Николаю Николаевичу было обидно слышать упреки молодого хозяина. А он-то ждал благодарности за то, что сберег хоть то, что можно было уберечь. В глубине души он старался не столько для барона, сколько для себя. Не раз подмывало прихватить самое ценное, бросить эту завшивленную и бунтующую Россию и бежать куда глаза глядят: в Румынию, Чехию, Францию. Купить клочок земли, и быть самому себе хозяином, и не служить черту лысому. Но заговорил Николай Николаевич о другом:

— Осмелюсь доложить, ваша светлость, что, если бы мы распустили нюни, от вашего имения остались бы только головешки. Не без моего участия на хуторах действует отборный отряд наших людей под началом молодого прапорщика Казимира Ермолицкого и бывшего учителя Порфирия Плышевского. Три волости давно под их контролем. А с рудобельской бандой Соловья сам Довбор-Мусницкий не совладал. Эти головорезы разоружали солдат, не пропустили в Ратмировичи бронепоезд, заманили в западню и перебили целый отряд легионеров.

— Не пугайте! Про «страхи» я наслышался по дороге сюда, — перебил барон. — Давайте лучше подумаем, с чего начнем. К вечеру подготовьте список тех, кто растаскивал мое имущество, кто делил земли, и предъявите им счет: в двадцать четыре часа все доставить на место. Вам ясно?

Николаю Николаевичу было настолько ясно, что даже лицо его посветлело. Вернуть все назад — то же самое, что вырвать кость из волчьей пасти. А что на это скажут ревкомщики? Они же где-то здесь, пока притаились, но начеку. И неспроста без боя пустили сюда немцев. Может, и этих ждет западня. Одним словом, спать надо не раздеваясь. А барону что? Нашумел, наприказывал и уехал. Если удастся, конечно. Эти соловьи-разбойники и его могут вздернуть на горькую осину.

— Без вооруженной силы, ваша светлость, ничего не сделаешь, — осмелился признаться он. — Мужики озверели. Силу надо ломать силой.

— Не волнуйтесь. Немецкие солдаты нам помогут,— рявкнул барон.

Николай Николаевич вытянулся как на параде.

— И еще. Я хочу видеть прапорщика и учителя. Подумайте, как это лучше устроить. А пока идите.

Николай Николаевич исчез за дверью. Барон несколько раз прошелся по комнате. Через окно увидел поджарого немецкого офицера. Он, постукивая по наглянцованным крагам коротеньким стеком, приближался к дворцу.

— Гутен морген, гер комендант, — весело и беззаботно поздоровался с ним барон.

Немец изобразил лошадиную улыбку, ощерив большие желтые зубы, и пригласил в свой кабинет на первом этаже.

«Кто же здесь в конце концов хозяин? — возмутился Врангель. — Если бы мы с тобой встретились где-нибудь под Сувалками, я бы из тебя сделал решето, а пока... пока спокойно, генерал!»

Комендант предложил барону сесть рядом.

— Я вынужден просить господина коменданта помочь вернуть мне мое имущество, разворованное бандитами, и вообще навести порядок в окрестных деревнях: пора кончать с бандитами и поставить мужиков на место.

— Армия не есть полиция, господин барон. Но мы, конечно, поможем вам. Но прежде всего — контрибуция.

Хлеб, масло, сало необходимы империи. Мы будем брать это и отправлять в фатерлянд. А помогать нам с вами будут сами мужики.

— Как? — удивился барон.

Комендант хитро засмеялся.

— Нужно выбрать самоуправление. Натравить одного на другого, пусть грызутся и помогают нам.

На следующий день Николай Николаевич с тремя солдатами объезжал верхом на коне хаты и приказывал идти всем в имение на собрание.

В панский двор пришли только старики да женщины: лихо его знает, что там еще выкинут. Добра никто не ждал. Молчаливые и понурые старики старались стать подальше, спрятаться за чью-нибудь спину. Среди пришедших вдов была и Параска, босая, в домотканой юбке и облезлом платке.

Когда собралось человек сорок, на крыльцо вышел немецкий комендант и сам барон в расстегнутом кителе, без погон, сухой и тонкий как хворостина.

Многие «своего» пана видели впервые. Может, если бы не напали германцы, так бы никогда и не увидели, что это за фрукт — барон Врангель.

Рыжеусый немец с лошадиной челюстью поднял руку и заговорил по-немецки. Потом умолк и посмотрел на барона. Тот вышел вперед, обвел всех маленькими, глубоко посаженными глазами.

— Господин комендант говорит: немецкое командование требует послушания и уважения к армии его императорского величества Вильгельма Второго. Сопротивление распоряжениям властей будет расцениваться как бунт. Бунтовщиков в военное время расстреливают. За нападение или покушение на немецкого солдата виновные и их пособники будут караться смертью, а деревня сожжена.

Снова заговорил немец. Барон согласно кивал головой. Когда комендант остановился, перевел:

— Россия Германской империи должна выплатить большую контрибуцию. Большевистским голодранцам платить нечем. Поэтому каждый крестьянский двор должен сдавать немецкой армии хлеб, масло, сало, мед, лен. Прибавлю от себя: кто послушался большевиков и взял хоть пушинку из моего имения, должен все вернуть на

место. Слышите? Завтра же! Кто ослушается, пусть его дети проклинают отца за то, что осиротил их.

Комендант нетерпеливо дожидался, когда закончит барон, чтобы продолжить речь.

— Все распоряжения немецкого командования, — переводил барон,— будут передаваться через волостного старосту. Им будет ваш человек, который не снюхался с большевиками, у которого большая семья и есть своя земля.

— Михаила Звонковича, — шепнула Параска Микодыму Гошке, а тот передал соседу.

— Ночью ходить строго воспрещается, — продолжал барон. — Переходить из деревни в деревню можно только по специальному пропуску, выданному немецкой комендатурой и волостью. Так, кто достоин быть старостой?

Кто-то выкрикнул из задних рядов:

— Михаил Звонкович!

— Правильно! Человек он самостоятельный, — поддержали другие.

— И хутор у него добрый.

Барон пошептался с управляющим. Тот пожал плечами и развел руками.

— А может, есть более достойный? — спросил барон.

— Лучших у нас нет. Пускай Михаил будет, — загудел прокуренным басом Микодым, а за ним и вся небольшая толпа.

Так и выбрали Михаила Звонковича старостой. Люди расходились, понурые и мрачные.

8

На Зайцев хутор через болота и кустарники пробирались старые и молодые. Кто с корзинкой, кто с лукошком, кто с коробом за плечами шли лесными тропинками люди из Карпиловки, Рудни, Ковалей, Лавстыков. «Грибники» и «ягодники» собирались на поляне у опушки леса, заросшей типцом и звонцом. Рассаживались группками, курили пробирающий до печенок самосад, перекусывали, тихонько разговаривали. Когда собралось человек семьдесят, из хаты, что стояла на краю опушки, вышли ревко-

мовцы и с ними какой-то незнакомый молодой человек в синей сатиновой рубахе, домотканых штанах и залатанных сапогах. Хоть и одет человек был по-здешнему, но никто его не знал.

За полверсты от хутора, а кое-где и за версту Ануприй Драпеза расставил стражу.

Все притихли, когда в круг вошли Соловей, Левков, Прокоп Молокович и незнакомый человек. Соловей снял фуражку.

— Товарищи! — начал он. — Ревком собрал вас сюда затем, чтобы предупредить. Пока не стоит без нужды задираться с немцами и проливать зря кровь. Люди нам еще потребуются для новых боев. А советская власть была, есть и будет. В ревком вы выбрали невеликих панов. Не обязательно нам сидеть только за столами, можно и за пнем решить все наши дела. Выбрали вы и волостного старосту. А раз выбрали, то слушайтесь его. Михаил Звонкович зла вам не сделает. Так я говорю, мужики?

— Что ты, упаси боже! Где то видано, чтоб такой человек... — загудели в ответ мужики.

— Знали, кого выбирали, — подмигнул Соловью Микодым Гошка.

— Значит, так: что Михаил прикажет, надо выполнять. А то раскусят немцы, что люди старосту не слушают, и поставят вместо него какого-нибудь шляхтюка или эсера.

— А и правда, — поддакнул старый Терешка. — Упаси боже, шершень рассядется, так из-под него и не вылезешь. Нехай лучше будет свой человек.

— А теперь, товарищи, нам хочет что-то сказать председатель уездного комитета товарищ Ре... Раевский. То, что он скажет, запомните, а что был тут — забудьте.

Человек в синей косоворотке встал возле Соловья и тоже снял фуражку. Широко поставленные глаза под густыми бровями ласково светились, на голове взъерошились коротко подстриженные черные волосы.

— Товарищи рудобельцы! Тот, кто думает, что немцы здесь будут вечно, ошибается. Советское правительство было вынуждено заключить в Бресте мир с германцами, чтобы остановить войну, собраться с силами и турнуть их так, чтоб и десятому заказали. Раз их пустили, то немного потерпим да посмотрим, чего они стоят. А забудут, что в гостях, дадим им так, что свои острые каски вме-

сте с головами оставят здесь. Тут собрались большевики-партейцы и красные партизаны, поэтому от вас у меня секретов нет. Оккупанты оккупантами. Они — как щепки на реке, поболтаются, поболтаются, и река их выбросит. А советская власть живет везде — в Москве и Петрограде, Смоленске и Бобруйске и здесь, в Рудобелке. Уком временно ушел в подполье, чтоб собрать больше силы, как следует вооружиться, чтоб в любой час быть готовыми ударить по врагу. Из волости вы не должны выпускать ни единого зернышка.

Не все и немцы одинаковы. Среди солдат есть рабочие и крестьяне. Им надоела война, они хотят сбросить вместе с шинелями кайзера Вильгельма. Они не только сочувствуют, но и помогают нам. Постарайтесь таких перетянуть на свою сторону. Немецкие коммунисты передали нам свою газету «Rote Fahne», что значит «Красное знамя». Надо ее незаметно распространять среди солдат. Еще одно хочу вам посоветовать. Соли, керосину, мыла купить у нас негде. А в Бобруйске все-таки достать можно. Через волостного старосту попросите коменданта, чтоб разрешил организовать кооперацию. Ваш надежный человек будет ездить и привозить из Бобруйска все необходимое.

— А спички там есть? — спросил Терешка. — И хоть бы каплю дегтю, а то сапоги, как собачья шкура, трещат.

— Будут тебе и деготь и спички, дядька Терешка, — успокоил старика Левков. А Прокоп Молокович меж тем ходил среди собравшихся и раздавал каждому большие и маленькие листки. На одних крупными буквами было написано: «Ко всем гражданам оккупированной Белоруссии». Другие были усеяны мелкими, кручеными буквами. Не иначе — немецкими. Тут же Прокоп объявлял: кто хочет записаться в большевистскую партию, пусть отдает ему заявление.

— А если я не умею писать? — спросил Терешка.

— Попроси грамотного. Потом и самого научим.

— Учить учи, только на гречку, Прокопка, не ставь,— не унимался старик.

Партизаны смеялись над Терешкиными шутками, улыбались и ревкомовцы.

— А как писать, товарищ Молокович?— спросил Иван Ковалевич.

— Тебя, сморкача, только в партии не хватало, —

вскочил Терешка. — Держись лучше за шляхтянские ляжки, так, может, тебе Ермолицкий галагутского петуха в приданое даст.

Иван покраснел и опустил голову. Некоторые засмеялись, потому что привыкли смеяться, что б ни сказал Терешка, другие зацыкали на деда, чтоб умолк.

Соловей нахмурил брови, его тугие загорелые щеки покраснели, будто дед не Ивана, а его попрекнул шляхтянкой.

— А знаете ли вы, дядька Жулега, что та шляхтянка отреклась от богатства, бросила и застенок и родичей? Брат — бандит, а ее к нам тянет. Пиши, Иван, заявление. Двумя руками голосую за тебя. А там и первую советскую свадьбу сыграем.

Прокоп роздал листы бумаги в косую линейку, дал огрызок химического карандаша.

Грамотные, примостившись на пеньке или приспособив стопку листовок, начали писать заявления в Рудобельскую ячейку РКП большевиков от себя и «за неграмотного... по его личной просьбе».

Через полчаса Прокоп собрал двадцать восемь заявлений, написанных химическим карандашом, подписанных где фамилией, где крестиком.

— Товарищи, листовки постарайтесь до утра расклеить на заборах и деревьях вдоль дороги, газеты подкиньте немецким солдатам. Это первое задание молодым большевикам, — сказал Соловей. — А теперь расходитесь по одному, по два. Поищите грибов, черники наберите. Чтоб ни одна собака не пронюхала, где вы были и кого видели.

Мужики, забрав свое грибное снаряжение, разошлись по лесу.

А на Заячьем хуторе рудобельские ревкомовцы еще долго советовались с Платоном Федоровичем Ревинским. Он приехал сюда с пропуском, выписанным Густавом Шульцем на имя Федора Раевского. Платон Федорович объяснял, как будет действовать кооперация, что в Бобруйске надо будет обращаться к товарищу Лиакумовичу, а он обеспечит всем, что требуется. Но главное — создавать и вооружать партизанские отряды, вербовать немецких солдат, а верноподданных кайзеровских служак взять в такие клещи, чтоб они и ходить боялись по этой земле.

— Связь с уездным комитетом прежняя: через чайную и книжный магазин. А мы будем время от времени

наведываться к вам. Любой документ и пропуск вам достанем. Так что, товарищи, выше головы. До полной победы ждать недолго. Впереди — новая жизнь. Следите, чтоб ни немцы, ни свои не разграбили и не разрушили имение. Ведь там все сделано руками ваших дедов и отцов. Когда-нибудь этим будут гордиться.

— Туда недавно, Платон Федорович, приехал молодой пан, барон Врангель, и требует, чтоб мужики вернули все, что взяли у него в амбарах, — перебил Ревинского Левков. — Пригрозил, что расстреляет тех, кто не выполнит его приказ.

— Сам он ничего не сделает один, а немцы вряд ли согласятся быть панскими палачами. Может, стоит его припугнуть, чтобы побыстрее убрался?

— Пристукнуть его, гада, и все. Это ж такой выжлятник. Свет обойдешь, не найдешь второго. Его бы воля, он бы тут натворил делов... — гудел густым басом Максим Ус.

— Пристукнуть можно, но сколько потом осиротеет семей из-за одного подлеца. Немцы озвереют и начнут расправляться с неповинными людьми. А вот пугнуть барона можно, — посоветовал председатель укома.

Если бы он знал тогда, что этот самый барон станет атаманом белогвардейских головорезов на юге России, что кровавый след за ним потянется через Крым и Черное море, он бы сам посоветовал, а то и приказал Максиму Усу или Анупрею Драпезе прикончить этого барона!

Чуть помявшись, с лавки поднялся Ничипор Звонкович, вытащил из-за пазухи сложенный вчетверо листок бумаги.

— Тут моего дядьку Михаила выбрали волостным старостой, заставили быть вроде немецкого пса. А он человек честный и вот заявление написал, чтоб и его приняли в большевистскую партию. Не знаю, что думаете вы, а я принял бы. Наш он человек.

— Думаем то же, что и ты, — весело ответил Соловей. — Если бы Михаил был не наш, никто б его в старосты не выбирал. Волость как была, так и осталась большевистской. Так или нет, хлопцы?

— Давай сюда заявление, — протянул руку Молокович. — Кто за то, чтобы принять Михаила Звонковича в партию коммунистов-большевиков?

Вместе со всеми проголосовал и председатель уездного комитета.

К вечеру он собрался в дорогу. Тимох Володько запряг маленькую мышастую лошаденку, бросил в возок травы и повез главного уездного коммуниста по одному ему ведомым лесным тропинкам.

Примерно за полверсты впереди повозки шел по лесу Максим Ус с наганом и гранатой, а через придорожные кусты продирались и наблюдали за всем Ничипор Звонкович и Левон Одинец.

...На другой день волостной староста попросил дочку панского винокура Лизу, чтоб та сходила с ним к немецкому коменданту и перевела ему просьбу крестьян.

На большом дворе дымилась походная кухня, а возле нее стояли в очереди солдаты с медными котелками. Повар в давно не стиранном колпаке черпал из котла и разливал в котелки густой рисовый суп. На скамейке, сделанной из доски и двух кирпичей, стояли прямоугольные жестянки с галетами. Каждый брал блестящий коробок и с полным котелком отходил в тень лип. На крыльце в расстегнутом мундире стоял комендант и наблюдал, как подкрепляется его войско. Заметив, что молоденькая стройная девушка в длинной юбке, белой кофточке и соломенной шляпке с каким-то мужчиной идет к нему, комендант поспешно застегнулся на все пуговицы, надвинул на лоб лакированную каску с двумя козырьками и принял важный вид.

Михаил Звонкович отвесил низкий поклон. Лиза только кивнула красивой головкой и что-то залопотала по-немецки.

— Объясни ему, что мужики хотят организовать кооперацию, возить из Бобруйска мыло, керосин, соль, сделать тут хоть маленькую лавку и продавать все и просят у пана коменданта разрешения.

Комендант выслушал то, что перевела ему Лиза. Рыжие усы зашевелились, как у таракана, заходили густые брови, такие же рыжие, как усы. Он заговорил зло.

— Господин комендант говорит, что крестьяне должны сдавать армии кайзера Вильгельма хлеб, сало, масло, мед, полотно. А староста обязан выделить подводы и доложить господину коменданту, у кого что можно взять.

— Подводы найти нетрудно, а хлеба да сала лет на десять припасено на хуторах у Перегудов, Ермолицких да

Винярских. Что ж? Можно и показать, где они прячут добро. А мужики давно на бесхлебице сидят. Откуда у них тот хлеб или сало?

Лиза никак не могла перевести слово «бесхлебица» и даже покраснела.

— Списки, у кого есть хлеб, я дам. А как насчет кооперации, спроси у него.

Комендант еще немного поупирался, но Михаил упросил его. Может, тут и Лиза помогла своими лукавыми серыми глазами и румяными щечками с золотистым пушком возле ушей. Комендант сказал, что на первое собрание пайщиков придет сам вместе с переводчицей.

И действительно, пришел. В школе за узенькими партами и прямо на полу сидели бородатые и среднего возраста мужики, особняком возле печи стояли человек двадцать баб и молодиц. Половинка солнца выглядывала из-за леса и заливала комнату красным отблеском. По улице в туче рыжей пыли тащилось с поля стадо. Слышно было, как щелкает кнутом и клянет лысух и рогуль пастух.

Комендант пригнулся в низких дверях, чтобы не сбить шишак на блестящей каске, стряхнул с мундира пыль и пошел к столу. Следом за ним прибежала Лиза. Бабы искоса посмотрели на нее. «Одна кровь играет в них. Видишь, как выслуживается», — шепнула Микодымиха Параске.

Комендант сел за стол и поманил пальцем волостного старосту. Михаил встал рядом и как-то стеснительно заговорил:

— Граждане и все вобчество, мужчины и бабы, сидим мы при лучине и сами закоптились, как головешки. Керосина нет. И соли, чтоб присолить какое варево, нигде и щепотки не найдешь. Как пахнет мыло, уже бабы забыли.

Видно, Лиза очень точно переводила речь старосты, потому что комендант посмеивался и кивал головой.

— Если же мы сорганизуем кооперацию, соберем паи, выберем лавочника, казначея и всю управу, можно будет то-се привозить из Бобруйска.

— Хоть бы трохи тряпье отмыть да вшей на детях вывести.

— Ботвинью нечем присолить, — заговорили хозяйки.

С последней парты поднялся высокий белявый Прокоп Молокович. Крестьяне переглянулись, зашептали:

— Ишь ты его! И не боится.

— А чего ему бояться? Он же не конокрад какой.

— Пусть нечисть эта нас боится, а мы у себя дома. Вот так!

— Стихните вы! — цыкнула на них Параска.

Прокоп говорил спокойно и рассудительно:

— Што кооперация нам нужна, каждому ясно. Так чтоб попусту не говорить, выберем правление, казначея, продавца. Соберем паи, и пускай едут в Бобруйск. Я думаю, что лучшего казначея, чем Микодым Гошка, нам не найти, а продавцом пускай бы был хоть Тимох Володько. Хлопец он молодой, шустрый. Одним словом, подходит. Ну и Степан Жинко, как грамотнейший, над ними — за старшого. Как вы думаете?

— Думаем так, как и ты! — с другого конца выкрикнул Левон Одинец.

А Лиза, сидя возле усатого немца, все щебечет ему на ухо, все пересказывает, что кто говорит.

Поднялся длинный как жердь Аверков Каленик. Серые волосы свисали аж за воротник магазинного пиджака. С детства он подавал кадило попу и сам собирался пойти в божьи слуги. Когда закрутила всех война да революция, обозлился на весь свет, притаился на отцовском хуторе. По воскресеньям и престольным праздникам пел на клиросе, а иногда, когда не было дьяка, читал «Апостола». А теперь сдурел, что ли? Выскочил, что тот Пилип из конопель, да как ляпнет:

— Пускай паненка перескажет господину коменданту, что тут собрались одни бунтовщики и ревкомщики: и Прокоп, и Левон Одинец, и Параска, и тот же хваленый Микодым. Хватайте их и вяжите!

У всех аж дух заняло от неожиданности. Лиза побледнела, оглянулась по сторонам. Комендант спросил:

— Was sagt dieser Bauer? [1]

Девушка насупила брови, будто подбирала нужное слово, потом улыбнулась и перевела:

— Er sagt Produktionsgenossenschaft das ist gut [2].

Никто не понял, что она сказала. Все со страхом ждали, что будет делать комендант. А он закивал блестящей каской, зашевелил жесткими рыжими усами и через жел-

[1] Что говорит этот крестьянин? (*нем.*).

[2] Он говорит, что кооперация — это хорошо (*нем.*).

тую лошадиную челюсть процедил единственное понятное слово:

— Gut! Sehr gut! [1]

Кто-то так тряхнул Каленика за пиджак, что он аж язык прикусил. Несколько голосов прошипело: «Иуда, христопродавец!» И все смолкли, будто ничего и не произошло.

Как и предлагал Прокоп, в кооперацию выбрали Тимоха Володько, Микодыма Гошку и Степана Жинко. В бывшей монопольке решили открыть магазин. Комендант разрешил раз в неделю собирать правление и каждый месяц — собрания пайщиков, выписал пропуск для поездок в Бобруйск за товарами.

Рудобельская кооперация развернула свою работу на второй же день. Молодой, маленький, как узелок, и очень расторопный Тимох Володько только недавно вернулся из какого-то далекого солдатского госпиталя и теперь, изголодавшийся по работе, прибивал полки в лавке, собирал по хатам мешки под соль, записывал, что кому привезти. Микодым ходил из двора во двор и собирал паи, чтоб было, как говорил он, за что руки зацепить.

За товарами для кооперации мужчины ездили по очереди. Делали это очень охотно. С пропуском рудобельской комендатуры их нигде не задерживал патруль. Володько даже разрешили брать с собой карабин, чтоб отбиваться, если вдруг нападут «бандиты».

В Бобруйске Володько заезжал на склад, отнятый ревкомовцами у купца первой гильдии в самом начале революции. Хозяин куда-то сбежал, а складом так и заведовал большевик Лиакумович, в свое время назначенный руководителем продотдела. Склад стоял на Березинском форштадте, вдали от людских глаз. Бобруйчане забыли, а немцы и не слышали о его существовании. Густав Шульц выдал Лиакумовичу бумагу с печатями городской управы, которая свидетельствовала, что склад принадлежит товариществу сельских кооперативов. Это утверждала и вывеска, старательно размалеванная заведующим. Лиакумович, человек интеллигентного вида, с пышными, ухоженными усами, в белых манжетах и воротничке, си-

[1] Хорошо! Очень хорошо! (*нем.*).

дел в маленькой кладовке и выписывал товары, а на складе ворочали ящики Борис Найман и Шолом Агал. Под мыло они закладывали мешочки с порохом, пироксилиновые шашки, обоймы патронов, упаковывали пачки газет, которые привозил из Орши Котлович, листовки, отпечатанные в Бобруйске, и номера «Rote Fahne».

Кроме всего этого Володько начал привозить из Бобруйска карабины, наганы и гранаты. Охранной грамотой у него был пропуск рудобельского коменданта.

Обычно, когда прибывали новые товары, собиралось «расширенное правление кооперации». Приходили Соловей, Левков, Молокович и Одинец. Будто бы невзначай заходили командиры партизанских отрядов — Максим Ус, Ничипор Звонкович, Анупрей Драпеза. Здесь и проводились заседания ревкома и партячейки, держали совет командиры отрядов, раздавались листовки и газеты. А если вдруг заглядывал немецкий патруль Степан Жинко показывал комендантову грамоту — разрешение раз в неделю созывать правление кооперации. Иногда солдат угощали шнапсом с панской винокурни и солеными огурцами.

Соловей немного умел говорить по-немецки и втолковывал солдатам, что их облапошил кайзер, что они не должны воевать против таких же, как они, крестьян, что им надо быстрее возвращаться домой, расправляться с Вильгельмом и брать власть в свои руки. Солдаты задумывались — и правда, каждому хотелось домой. Они жадно набрасывались на листовки, которые находили в своих карманах, читали в газете статьи Карла Либкнехта и вдохновенные речи Розы Люксембург.

В казарме тоненькие листики на родном языке переходили из рук в руки, их прятали в тюфяках и подушках, ими делились с товарищами, как весточками из дому.

Комендант никак не мог дознаться, кто приносит в казармы эту «коммунистическую заразу». Он яростно рвал на мелкие клочки листовки и газеты, топал ногами, рассекал воздух взмахами коротенького стека и кричал:

— Даже куры не боятся их угроз! А солдаты кайзера были всегда верны присяге и отчизне.

Комендант посылал в деревни и хутора отряды солдат. Они выгребали из сусеков и кадушек жито, стаскивали с чердаков окорока и волокли на повозки.

Голосили бабы, умоляли хоть на затирку оставить муки, пожалеть детей. А солдаты будто и не слышали их.

Барон Врангель убеждал коменданта, что обоз надо завернуть в его двор и ссыпать все в господские амбары: ведь это его добро, украденное мужиками и бандитами. А комендант выполнял приказ своего командования — собирал контрибуцию натурой. На каждую подводу он посадил по солдату и отправил первый обоз в Ратмировичи.

Возницы шли пешком, солдаты лежали на возах и сосали длинные трубки. Скрипели в глубоком песке колеса, шумели старые, замшелые сосны, и щебетали голосистые лесные птицы.

Когда обоз въехал в дремучую пущу, возле самой дороги прогремел выстрел. Испуганные кони рванулись в лес, перевернулся один, второй воз, вместе с мешками полетели на землю немцы, не успев схватиться за свои карабины. А их уже окружили человек сорок молодых бородатых вооруженных мужиков. Отстреливаться и сопротивляться не было смысла. «Что может сделать десяток солдат с такой огромной бандой? Погибнуть? За что и во имя чего? Кому охота помирать?» — думали перепуганные оккупанты. Они подняли руки.

Партизаны ловили лошадей и уводили их на узкую лесную дорогу, собирали брошенные солдатами карабины, отстегивали тесаки и высыпали из патронташей патроны. Потом немцев поставили по двое в ряд.

К ним подошел смуглый, среднего возраста мужчина и, путая русские слова с немецкими, спокойно и тихо заговорил:

— Вы хотели оставить наших детей без хлеба. Выходит, бандиты вы, хоть ваш комендант бандитами считает нас. Мы — партизаны, мы защищаем свои семьи, свою землю от врагов. Идите спокойно назад. Никто вас не тронет. А коменданту передайте, что не отдадим со своей земли ни единого зернышка. Вас сотня, а нас тысячи. Все мы были солдатами и умеем хорошо стрелять.— Он улыбнулся, вытащил из-за пазухи пачку листовок на немецком языке и роздал каждому по нескольку штук.— Aufwiedersehen [1], — и приставил ладонь к козырьку вылинялой солдатской фуражки.

[1] До свидания (*нем.*).

Солдаты повернулись, как по команде, и тихо, украдкой оглядываясь, поплелись по пыльной дороге. Когда чуть отошли и убедились, что никто за ними не гонится, зашагали быстрее, едва не бегом.

— Заворачивай на Зайцев хутор! — приказал Соловей. — Пускай каждый забирает свое, а шляхетское раздадим сиротам и вдовам.

Веселей покатились колеса по твердой лесной дороге. За подводами шли партизаны. У некоторых кроме своего ружья висел на плече немецкий карабин. Максим Ус опоясался двумя полными патронташами. Хлопцы вспоминали, как кто стрелял, хвалились добытым оружием.

К вечеру того же дня взбешенный беспомощностью немецкого коменданта барон Врангель велел заложить бричку и сказал, что едет в гости к хоромецкой пани. Положив под сиденье какие-то коробочки и шкатулки, он набросил лохматую бурку, вскочил на потертый кожаный облучок и помчался рысью по пыльной дороге.

Въехали в лес, и бричка судорожно затряслась на выбоинах и корневищах, а барон только и знал прикрикивал на возницу: «Погоняй!» Взмыленные кони перевели дух лишь на холопеничском мосту. С облегчением вздохнул и барон, словно выскочил чудом из капкана. Ему жаль было покидать имение, но не мог он рисковать жизнью, необходимой «для спасения России».

Он переночевал в хоромецком имении. Там его ждали Казик Ермолицкий и Порфирий Плышевский. О чем говорили они, никто не знал. Утром барон укатил в сторону Бобруйска.

Больше в Рудобелке Врангеля никто не видел. И Максим Ус еще долго жалел, что выпустил его живым.

9

При немцах Андрей Ермолицкий наконец отыскал дочь на фольварке и, как блудную овцу, притащил на хутор. Хотел выпороть вожжами, но старуха коршуном

вцепилась в него, упала на колени, накрутила вожжи на руки и заголосила:

— Лучше меня, если хочешь, убей, а дитя не дам позорить. Кто ж ее возьмет после такой срамоты? Вот увидишь, сам будешь просить, чтоб хоть Иван не побрезговал.

И умолила. Отступился старый. Три дня продержал Гэльку в чулане и выпустил: надо ж кому-то доить коров, сечь свиньям траву, да и клевер косить пора.

От сына, видно, помощи уже не жди: отбился от дома, распустился, запил. Где-то на загальских хуторах с шайкою таких же, как и сам, собакам сено косит. Бесится, все угрожает кому-то. С карабинами да наганами разгуливает: не навоевался еще! Андрей готов был терпеть немцев, лишь бы жить спокойно дали. Так нет, трясца их матери, немчура тухлая! Пригнала их нелегкая аж сюда — жито выгребли из амбара, окорока сняли в клети. Сколько ни божился, что не большевик он, они только глазами моргают, как те совы на рассвете, да зубы скалят. Казик бы им показал, если бы прискакал со своими хлопцами. Да ищи ветра в поле: гарцует где-то, носится по вдовам, как молодой кобель.

Но и немцы черта лысого в зубы получили. Говорят, Соловьева банда все начисто отобрала.

От этих мыслей еще большая обида и злость разобрала старого Ермолицкого. Большевиков он ненавидел смертельной ненавистью, может, и смирился бы с ними, но с их порядками — никогда. «Вот уйдут, даст бог, немцы, тогда снова эти Соловьи да Левковы разойдутся, снова землю делить начнут, обрезать хутора, чтоб их резачка резала. Неужели Казик с Плышевским допустят, чтоб их отцов эти антихристы с торбами по свету пустили? У них же сила! А Плышевский еще и голова, учитель к тому же аж николаевской поры».

Не давала покоя старому Ермолицкому и Гэлька. Он готов был взять примака, лишь бы зять был шляхетской породы. Да и, в конце концов, примак даже выгоднее — приданого не надо, а работник лишний в доме будет. Только бы не этого злыдня!

А Гэлька стала смирная и послушная. С рассвета до ночи топталась в хлеву и на поле, да еще и в лес успеет сбегать, принести ведерко черники. Мать не нарадуется и не нахвалится ею.

Подоила как-то до рассвета коров Гэлька, обула морщаки, прихватила ведерко и говорит:

— За Горелым болотом ягод черным-черно, сбегаю пособираю.

И пошла.

Но ни к обеду, ни к вечеру не дождались Ермолицкие дочку. Бросилась старуха к сундучку, а там нет ни белого платья, что еще в прошлом году к пасхе шили, ни ботинок на пуговичках. Так и села возле сундука Анэта.

— Езжай, отец, ищи. Чует сердце — замуж эта дурница сбежала.

Но Гэлю уже нельзя было вернуть.

Давно она припрятала под выворотнем узелок с подвенечным платьем и хромовыми ботинками. Когда вошла в лес, положила узелок в ведро и побежала в чащу. Промокла до нитки от росы в высоком папоротнике и багульнике, спряталась за кусты можжевельника, стянула влажную кофточку, сбросила юбку. Оглянулась вокруг — не видит ли кто. Острая ветка щекотнула по голым плечам, утренней прохладой обдало все тело. На нее смотрели замшелые выворотни и дупловатые дубы. Слезы подступили к глазам — не подружки и не мать заплетают ее и одевают к венцу, не пекут каравая и не поют свадебных песен. Только сосны шумят да ящерица с трухлявого пня с любопытством посматривает на молодую. Гэля натянула тесноватое белое платье, изящные ботинки стянули растоптанные за лето ноги. Сложила свое старье в ведерко и пошла к повороту, где стояла разбитая молнией елка. Шла украдкой, оглядываясь по сторонам, как вор. Да так оно и было — она воровала свою любовь у лютого отца, у озверевшего брата, что осиротил Аникеевых детей, грабил и убивал ни в чем не повинных людей и хоронился по лесам и глухим хуторам, как бешеный волк. Хоть и говорят «родная кровь», а как они опостылели ей своей жадностью и злобой, как ненавидела и боялась их Гэлька. Она бежала по густому черничнику, высоко поднимая подол платья, чтобы не забрызгать его ненароком переспелыми ягодами. Слезы сами катились по горячим щекам. Гэля их не вытирала, а только ловила пересохшими губами.

Вот и дорога видна. В кустах фыркнул конь и зашелестела высвеченная солнечным лучом листва. Гэля побежала быстрее, перепрыгивая через пеньки и валежник,

сбивая мухоморы и сыроежки. Из-за куста вышел Иван в начищенных сапогах, кортовом пиджаке, черной фуражке с блестящим козырьком. Он побежал к ней настречу, обнял, прижал, а поцеловать не отважился — еще ведь не жена.

— Пришла? Вот и хорошо. А я только подъехал. Как думаешь, старики не хватятся и не побегут следом?

Возле коня стоял молодой свояк Ивана и ольховой веткой отгонял слепней и мух с лошадиной морды.

— Давай, молодая, свое приданое, — вместо приветствия пошутил он, взял ведерко с Гэлиной одеждой, поставил в передок и прикрыл свеженакошенной травой. Поправил постилку на возу, подтянул сбрую.

— Если хочешь украсть невесту, так быстрее погоняй, — сказал он Ивану и вскочил на воз. Молодые сели на постилку. Затарахтели колеса по лесной дороге, объезжая деревни и большаки.

Из ситцевого платочка Иван достал фату и веночек из жестких белых цветов. Гэля нащупала под воротничком иголку с длинной ниткой и стала пришивать венок к фате.

Лесными дорогами они проехали верст двадцать, аж до Лучиц, и остановились у паперти маленькой деревянной церкви. Вокруг никого не было. В песке, возле коновязи, ковырялись поповские индюки, да в густых лопухах хрюкал сытый поросенок. Гэля осталась одна на подводе, а Иван со свояком побежали в поповский дом. Они уже давно сговорились с батюшкой и заплатили вперед три пуда жита.

Вскоре показался старый, тщедушный попик в белом полотняном подряснике и в порыжевшей от времени соломенной шляпе. За ним семенил в опорках на босу ногу горбатенький звонарь с безбородым лицом. Он позвякивал связкой ключей, а следом шли Иван со свояком.

Иван сбегал к возу, взял Гэлю за руку и повел в темные двери. В притворе она надела фату с венком и робко вошла в прохладный полумрак церкви. Возле аналоя горела одна свечка. На столике Гэля заметила два медных перстенька, видно, выкованные карпиловским кузнецом из толстого николаевского пятака. Когда поп запел: «Венчается раба божья...» — над Гэлиной головой Иванов свояк поднял блестящий венец, похожий на царскую корону, а над Иваном держал такой же венец гор-

батенький звонарь. Поцеловали холодный крест, поцеловались с Иваном, поп надел им на пальцы тугие колечки, перекрестил огромным евангелием в бархатном переплете.

Вот и все. Теперь они муж и жена. А что дальше? Отступятся ли отец и Казик? Дадут ли спокойно жить, пускай в бедности, но так, как велит сердце? Гэля едва держалась, но не заплакала. Сняла в притворе фату, завернула в ситцевый платок, и, уже не прячась от людей, молодые поехали по большаку в Иванову хату.

Старая Ковалевичиха, вытирая платком глаза, в сенях осыпала головы молодых пригоршней ржи и повела в светелку.

— Пригибайся, дочушка, чтоб не стукнулась.

За столом в розовой сатиновой рубахе сидел Иванов отец, а рядом с ним весь ревком — Соловей, Левков и Молокович. Сбоку на лавке — старший брат Ивана Атрохим и три младших хлопца.

Молодых посадили в красный угол. Гэлька снова надела фату. Она разрумянилась и улыбалась всем добрыми ясными глазами. В хате стоял полумрак, но огня не зажигали — и венчание и свадьба были крадеными, таинственными: без музыки и песен, без шумного застолья.

— Как только выкурим немцев, мы такую вам свадьбу закатим, вся Карпиловка ходуном пойдет, — поглядывая на молодых, говорил Соловей. — Хоть вы и обвенчались, а мы вас все равно в ревкоме запишем. Земли нарежем самой лучшей, коня дадим, пару коров — живите на здоровье. А жизнь такой будет, что никому и не снилась.

— Где ж ты коров тех наберешься, Лександра? — хитро прижмурившись, спросил Кондрат.

— А разве мало их, дядька, в панских да шляхетских хлевах? Кто их вырастил? Мужик. Мужику они и достанутся.

— Хватит вам, мужчинки, воду в ступе толочь, — поднялась с ребристой чаркой в руке Кондратиха, — лучше выпейте с молодыми, чтоб им добро жилося, елося да пилося.

Все чокнулись и выпили разведенного черничным соком спирта с панской винокурни.

Кондрат захмелел. Он наклонился к Прокопу Моловичу и загудел ему в ухо:

— Это ж надо, такое стряслось: Андрей Ермолицкий — мой сват. Черта с два я теперь шапку ломать перед ним буду, пусть хоть удавится. Сват, — значит, ровня. А Иван... Что Иван? Не женился — три онучи, и женился — три онучи. Одна прибыль — девка хваткая. С такой не пропадешь. Она ж и дома ворочала всю работу.

Когда совсем стемнело, гости стали расходиться по одному. А молодых Кондратиха отвела спать в хлевушек — в хате было тесно и людно.

А назавтра чуть свет остановился возле Кондратова двора сивый жеребец в яблоках, и из легкого возка вылез мрачный и злой Андрей Ермолицкий. Он постучал в маленькое оконце кнутом.

— Эй, кто там есть?

Из сеней вышел босой Кондрат в залатанных исподниках.

— Не прибилась ли к тебе моя блудная овечка? Свет объехал. Говорят, тут она.

— Овечек нет, а невестку бог дал.

— Бог ему дал! Украл, ворюга! Где она? Вот я ее сейчас кнутом отхожу, сразу зуд пройдет. — И он, как бешеный, заметался по двору.

От злости хлестнул кнутом по окну, дзинькнуло и рассыпалось стекло. Из хаты выскочил Атрохим. Он выхватил кнут из рук Андрея и так уцепился в плечо, что тот аж присел.

— Вон отсюда, поганый шершень, что и духу твоего не было! — гаркнул он на отцова «свата».

Ермолицкий сразу притих, но не сдался.

— Воры, убийцы, дитя родное украли, чтоб вам пусто было! Где ты там есть? Марш домой, сучка!

— Я тебе сейчас как двину, так ты и кости не соберешь! — замахнулся обветренным кулаком Атрохим.

— Сыночек, не трогай ты его, — выскочила из сеней Кондратиха. — И ты, сваток, не лютуй. Пускай живут на здоровье. Что уж теперь? Венчанные они, муж и жена. Зашли б лучше в хату да поговорили как люди.

— Чтоб она огнем пошла, твоя хата! Какие вы люди? Голь перекатная, на чужое добро позарились. Трясцу вам, а не приданое. — И он показал куцый кукиш. — Ни полушки не достанется. Нехай зараз же отдает платье и ботинки хромовые. Слышишь? Где ты там прячешься?

Гэля все слышала, сидя в хлевушке на теплой постели. Она свернула подвенечное платье, схватила красивые ботинки, которые обувала всего раза два, и выбросила все через окошко.

Отец сразу подскочил к стене, схватил Гэлькины наряды и начал их комкать в руках.

— А, вот ты где, сука блудливая! — заревел он от злости. — Марш домой! — затопал ногами Андрей.

— Вы меня только мертвую можете забрать. А так не гневите бога и не смешите людей, — всхлипывая, отозвалась Гэля.

Старый Ермолицкий остолбенел с открытым ртом, потом топнул ногой:

— Прокляну негодницу! И вы у меня еще поплачете, гады! Лешие! Опоили дуру любистком, потешаетесь теперь!

Он отвернулся от окошка, поднял с земли ременный кнут. В другой руке потащил за собой по песку белое платье. Перевалился в возок и зло стеганул сивого жеребца.

Гэля сидела на кровати в длинной холщовой рубахе и горько плакала.

Ей еще не раз придется поплакать на своем веку!

10

Чуть ли не каждую неделю рудобельские «кооперативщики» ездили в Бобруйск за товарами. Лиакумович не жалел им ни мыла, ни керосину, подкидывал немного соли, иногда давал ситцевых и конопляных платков, а то и рулон какой-нибудь «чертовой кожи» на штаны. Привезут Тимох с Микодымом или Степаном ящики и мешки, закроются в магазине и начинают перетряхивать все: под мылом — порох спрятан, под спичками — патроны лежат, из соли вытаскивают несколько наганов, завернутых в промасленные тряпки. Разложат листовки и газеты, написанные по-нашему и по-немецки. И... пошла торговля. Смотришь — за полдня все и разнесли. Листовки и патроны чаще всего забирал Роман Соловей: набьют ему це-

лую торбу всего, сверху прикроют куском ситца, положат пару брусков мыла — и потопал старик. А куда нести все это, ему не надо было спрашивать.

Потом приходит Левков, за ним — Андрей Падута. А утром не только в Карпиловке или Рудобелке, а верст за двадцать от них висят на заборах листовки, подписанные Бобруйским уездным комитетом РКП(б): «Не давайте немецким оккупантам вывозить народное добро, разоружайте солдат, создавайте партизанские отряды».

И снова возле холопеничских мостов и в Гатовичской пуще гремели выстрелы, хлопцы и дядьки в лаптях и зипунах, как привидения, выскакивали из лесу, заворачивали подводы, забирали у солдат карабины, а их со связанными руками гнали обратно. Немцы не очень-то и сопротивлялись: им самим все уже опостылело, да и знали солдаты, что здесь они временные гости, а из дому доходили слухи, будто и там народ бунтует.

Все чаще в казармы и избы, где стояли солдаты, попадали маленькие газетки. В них коммунисты призывали немецкий народ свергнуть кайзера Вильгельма, как это сделали русские со своим царем, забрать бюргерские земли и заводы, начать строить новую жизнь в вольной Германии. Солдаты читали и перечитывали эти листки, прятали их от офицеров, шептались между собой и не спали ночами в чужой, непонятной и бедной лесной стороне.

Они нехотя выезжали собирать контрибуцию, нехотя шли охранять волость и шататься ночью по селу, чтобы спокойно спали коменданты и офицеры. За себя солдаты не очень боялись. Партизаны предупреждали: если они не будут лезть на рожон, никто их не тронет. Так и получалось. Только увидят на дороге вооруженных мужиков, сразу поднимают руки. Отстреливаться нет смысла: мужиков с винтовками обычно раза в три больше, чем конвоя при самом большом обозе. Только моргнуть успеешь, а партизаны уже спереди, и сзади, и со всех сторон появляются из-за кустов. Куда тут денешься? Да многие и сами понимали, что солдат превратили в грабителей, что грех забирать хлеб у таких же крестьян, как они сами, что надо помочь русской революции, а не душить ее. Одним словом — думай, солдат, как дожить тебе до встречи с родным краем, а ее, встречи этой, каждый ждал с недели на неделю, со дня на день.

Идут ночью по селу три-четыре солдата с карабинами. Видят, в хате ярко горит лампа, пиликает гармошка, ухает бубен с колокольчиками. Надо же посмотреть, что там такое. Зайдут, грозно спросят: «Кто ест козяин?», а девчата уже подвигаются на лавке, дают им место, сыплют в пригоршни семечки, приглашают на вальс.

Ну как тут быть суровым, если синеокая Дуня так похожа на его Терезу или Марту? И хлопцы добродушно приглашают: «Kom, Kamerad, танчить». Как удержаться? Отдает молоденький солдатик карабин товарищу, кладет руку на тугое плечо и гремит подкованными сапогами, аж лампа трясется. Глядишь, и второй разохотился, только самый старший сидит на лавке, обняв три карабина.

Выйдут на улицу, полезет который-нибудь в карман за зажигалкой, а там уже что-то шуршит. Придет в казарму, посмотрит, оказывается — свежая газетка. А в ней пишут, что в Баварии бастуют батраки, в Мюнхене рабочие вышли на улицы с красными флагами и приветствовали русскую революцию.

Немецкие коммунисты призывают солдат вернуться на родину и направить штыки против помещиков и фабрикантов. Вот и разберись, солдат! Прочитает, и хочется с кем-нибудь посоветоваться, вместе подумать. Тихонько ткнет газетку соседу: своя же, немецкая. «Смотри-ка, что пишут. Выходит, и дома беспокойно. Да и жена намекала в письме, что бурлит все вокруг».

Так и ходит из рук в руки листовка или газета, которая неизвестным путем попала в солдатский карман.

Комендант зеленеет от злости, что вокруг действует какая-то вражеская сила, что враги проникают не только в казарму, не только в солдатские головы, но и добрались до его собственного кармана.

Он не знает, что делать, ведь ничего не удается вывезти на станцию и отправить в рейх. «Бандиты» перехватывают обозы и раздают добро тем, у кого только силой и удалось что-то найти и реквизировать. А солдат на очередную «операцию» приходится гнать чуть ли не под пулеметами. Шепчутся все они о чем-то, а появись офицер — тут же умолкают.

Комендант положил конец всяким сборищам на селе. Только правление кооперации и может собираться раз в неделю в лавке или школе. Сколько ни навещал лавку патруль, да и сам комендант нет-нет да и заглянет, — все

чин чином, сидят, беседуют, что-то подсчитывают, а то и переругиваются, самосад же такой курят, что лампа вот-вот погаснет. Прислушается комендант, но попробуй пойми, о чем эти диковатые мужики горланят на своем варварском языке. Так и уйдет ни с чем. Раза два навещал он «кооператоров» вместе с Лизой. Она переводила, сколько селедки продали, сколько платков и соли, что надо привезти, с кого паи взыскать.

В последний раз, когда комендант, махнув рукой, вышел за дверь, председатель подрайонного комитета партии большевиков и волревкома Александр Соловей улыбнулся и сказал:

— Продолжим, товарищи, партийное собрание. У нашей организации уже есть свои ячейки в Лучицкой, Паричской и Глусской волостях. Все члены партии и красные партизаны имеют кое-какое оружие и готовы драться, а если потребуется, так и умереть за власть Советов. Но, товарищи, уездный комитет предупреждает, чтобы не было неорганизованных, бессмысленных стычек с немцами. Многих мы уже склонили на свою сторону, они не только нам сочувствуют, но и помогают иногда. Согласно договоренности с нашим правительством, немцы должны скоро уйти из Белоруссии. Только надо их проводить с тем, с чем пришли. Не дать ни одного зернышка. Думаю, это нам удастся. Еще вопрос. Вы знаете, товарищи, что в Загальских болотах, да и здесь по хуторам, еще шныряют шляхетские бандюки — Казик Ермолицкий, Плышевский, братья Перегуды и вся их свора. Они уже немало уничтожили наших людей. А как только уйдут оккупанты, вот увидите, явятся сюда. Теперь немцы охраняют Берков, Медухов, Хоромное и Сереброн — все осиные гнезда. Но как только начнем делить их землю, придется столкнуться лбами с этой шляхетской шайкой. Так что передайте своим хлопцам, если где-нибудь которого поймают, пусть судят так, как они судили Аникея.

Потом Соловей сообщил, что в следующее воскресенье в Гатовичском лесу, возле «чудотворной» часовни, будет большое богослужение. Вот там можно и собраться всем командирам взводов, отрядов и партийцам-большевикам.

...Как только выглянул месяц, к кринице, над которой стояла замшелая часовня, стали собираться люди. Кто ехал, а кто прошел пешком двадцать — тридцать верст.

Сюда собирались калеки и слепые со своими хворостями, женщины и мужчины, старые и дети. Вокруг часовни рассаживались бородатые лирники и обшарпанные нищенки. В церкви служили аж три попа: исповедовали, крестили, святили воду, с хоругвями ходили вокруг криницы. Собирались сюда и парни с девушками. Постоят немного в церкви и расходятся группками по лугу да по дубраве. После таких богослужений и попадали кошевичские девчата замуж в Карпиловку да в Курин, а рудобельские — в Лясковичи или в Заболотье.

При немцах возле часовни уже не устраивали прежних кирмашей, не продавали ни розовых пряников, ни длинных конфет с кисточками. А народу все равно собиралось много. Одни — чтоб помолиться за душу «убиенного раба божьего», другие — чтоб набрать святой воды от лихоманки или дурного глаза, третьи — увидеться с братом или сватом, поговорить с кумом, которого давно не встречал. А молодые, как говорили бабки, «чтоб покрутить хвостом».

В последнее время к часовне приходили «безбожники» и «кооперативщики», лузгали семечки, смеялись, пили «святую» водицу и шатались по лесу.

В заросли лесными тропинками пробирались Соловей с Левковым, Прокоп Молокович с Левоном Одинцом. Вокруг них располагались на траве хлопцы из Катки и Зубаревич, Шкавы и Заваленов. Для виду ставили бутылку, раскладывали ломти хлеба с салом, чтобы вдруг какой-нибудь Каленик не раскумекал, что и тут собрались «ревкомщики»; если наскочит немецкий офицер с патрулями, пускай все выглядит как у людей.

Командиры взводов докладывали, кто еще записался в партизаны, сколько есть винтовок и ружей. И все в один голос жаловались, что мало патронов и пороху.

Хлопцы рассовывали за пазухи свежие листовки, отпечатанные в смоленской и бобруйской типографиях или оттиснутые на шапирографе. Собирались небольшими компаниями и расходились кто куда. В разные стороны уходили и ревкомовцы. Ночевать им в одном месте было нельзя. Хоромное, где Александров отец арендовал землю, было гнездом лютых шляхтюков, там каждый готов был Романова сынка живьем поджарить на собственном мизинце. Поэтому Александр где дневал, там не ночевал. Только Марылька и знала пристанище брата. Приходила

иногда к нему, приносила чистую рубаху, а порою и кусочек сала.

Дело было к осени, когда на пару с Тимохом Володько Александр на кооперативной фурманке отправился в Бобруйск. Пропуск ему выдал волостной староста Михаил Звонкович и ободрил:

— Тут, браток, все по форме. Гони хоть до самого Вильгельма. Ни одна собака не гавкнет.

И в самом деле, все обошлось без сучка, без задоринки. Раза три останавливали патрули. Взглянет который на большую синюю печать с орлом, ткнет обратно жесткую картонку, буркнет: «Fahr!» [1] — и снова гремит по разбитому шляху телега.

В Бобруйске Тимох поехал на склад к Лиакумовичу, а Соловей соскочил возле знакомой чайной. За столами сидели несколько мужиков со своими котомками. Пили чай острые на слово бобруйские извозчики и чумазый кочегар со станции. Из боковушки стрельнула глазами Роза, которую Александр уже встречал здесь и в книжной лавке старого Агала.

Она сначала подошла к кочегару, поставила перед ним тарелку картошки с селедкой, потом начала сметать крошки со стола, за которым сидел Александр. Незаметно улыбнулась ему и прошептала:

— Возле кладбища на Инвалидной улице, в доме четырнадцать, спросите, не нужны ли дрова. Если спросят какие, отвечайте — грабовые. — А через минуту принесла две чашки заваренного цикория, сунула марки в кармашек и скрылась за ширмой.

Александр выпил обе чашки горького цикория, вышел из чайной и подался вниз по Скобелевской улице. Возле бани свернул к глиняному карьеру и наконец выбрался на узкую грязную улочку. Как только он вошел в темный коридорчик, дверь распахнулась, и Александр сразу узнал рыжеватую чуприну Бориса Наймана. Он стоял с намыленной щекой и бритвой в руке. Александр обрадовался ему, как родному брату.

— Если грабовые плашки привез, то садись, — пожимая руку, пошутил Найман. — Новость слыхал? В Германии революция. Без дураков, революция. Самая настоящая. Вильгельм смылся куда-то за границу. Берлин

[1] Езжай (*нем.*).

бурлит. Демонстрации, митинги, созданы Советы, армия разваливается. А здесь генералы скрывают эти новости от солдат.

Он рукавом вытер мыло с недобритой щеки и вышел в другую комнату. Вернулся оттуда со стопкой листовок.

— Вот, держи!

Соловей взял еще липкие синие листовки, исписанные от руки немецкими буквами. Сверху он прочел: «Genossen Soldaten!» [1]

— Это — обращение уездного комитета к немецким солдатам. Мы поздравляем их с революцией, призываем немедля возвращаться домой и встать на защиту революционной Германии. Здесь же и требования к командованию — выполнить условия договора и до октября вывести войска с нашей территории. Листовочка эта нам дорого обошлась. Товарища Балашова знаешь?

— Как же не знать Павла Михайловича!

— Сцапали его ночью. Сидит в крепости. И шапирограф на квартире нашли. Мы вместе с ним печатали. Я одну пачку сюда взял, остальные, думал, утром захвачу. Только собрался, а там уже, передали, в сенях два немца в засаде. Сторожат, кто придет. Только не дождутся. Так что бери листовки и топай грабовые плашки колоть.

— А как же товарищ Балашов? Кто навел на него? Об этом надо дознаться! — встревожился Соловей.

— Павел Михайлович молчать умеет. А провокатора или шпика найдем, из-под земли достанем. И судить будем по законам революционной совести.

— Как бы мне встретиться с товарищем Ра... — Александр никак не мог привыкнуть хорошо знакомого ему Ревинского называть другой фамилией.

— С товарищем Раевским пока что встречаться опасно, и тебе и ему. Немецкое командование словно с цепи сорвалось, страшится, чтобы после нашей агитации солдаты не подняли на штыки своих офицеров. Полевая жандармерия рыщет повсюду, как стая гончих. Только недолго им осталось гарцевать. В августе в Смоленске состоялась областная конференция подпольных организаций Литвы и Белоруссии. Там от нас присутствовал как

---

[1] Товарищи солдаты! (*нем.*).

раз товарищ Балашов. Создан краевой подпольный комитет. Решение такое: гнать немцев с нашей территории, не давать им грабить мужика и хозяйничать в имениях. Молодых хлопцев призывного возраста решено вербовать в Красную Армию.

— Завербовать-то завербуем, а потом куда с этими добровольцами? — перебил Бориса Соловей.

— Послушай: из Смоленска присланы специальные люди. И у вас есть человек. Косаричи знаешь?

— Да у меня половина отряда — косарические.

— Замечательно. В Косаричи поехал Костя Пинчук. За кого он себя выдает, неважно. Свяжись с ним и начинай отбирать ребят в Красную Армию. А товарищ Пинчук знает, куда их переправить. — Найман встал. — Что делать, ты знаешь. Обстановка ясна. В следующий раз наведаешься, желанным гостем будешь. А теперь исчезни. Иди за кирпичный завод, а там карьерами выбирайся в город. Больше никуда не заходи и не будь раззявою.

Соловей рассовал листовки под подкладкой френча и за пазухой, распрощался с Борисом и по заросшей переспелой коноплей меже спустился в глубокий карьер.

Домой он ехал на рогожных кулях с таранью. Тимох примостился на передке и хвастался, чего ему напаковал Лиакумович.

— Не приведи господь, рвануло бы то, что под нами, — не то что от нас, от конской подковы ухналя не нашел бы.

Они раза три сворачивали в густой кустарник, таскали сено с чьих-то стогов, кормили коня и сами грелись под стогами.

Было сумрачно и сыро. Почернела и пожухла отава, ветер гнал стреловидную лозовую листву, и порой казалось, что нет ни боев, ни немцев, ни шляхетских банд. Над головою — низкое облачное небо, а вокруг луга с высокими присадистыми стогами и тишина.

Когда въехали в панский лес, заморосил тихий запоздалый дождь. Соловей укрылся под свиткой, боялся замочить листовки. Они были посильней всей Тимоховой добычи, припрятанной под мылом и таранью. Наступали решающие дни: гнать немцев, поделить землю, начать новую, свободную жизнь. Приближалась огневая, полная тревоги и радости пора.

Не доезжая до села, Соловей спрыгнул на землю.

— Ну, я пошел, — бросил Тимоху, — а ты сегодня «торгуй» половчее и передай всем нашим, чтобы к вечеру собрались на Заячьем хуторе. Понял?

— Есть, товарищ командир!

Тимох стегнул вожжою по мокрой лошадиной спине и погромыхал в село.

Фигуру Соловья скрыла сетка дождя и черная мокрая стена кустов.

В тот же день после полудня каждый немецкий солдат знал, что пришел конец династии Гогенцоллернов, что в Германии революция.

— А теперь за кого валяться в окопном дерьме? — спрашивали они один у другого и передавали отпечатанные на шапирографе листовки с расплывающимися ошеломляющими словами о событиях на родине.

Комендант трясся от злости и, будто командуя на плацу, рявкал:

— Брехня! Большевистская провокация! Сейчас же собрать и сдать мне эти вонючие листки! Кто принес это собачье свинство? Деревню обыскать! Бунтовщиков арестовать!

Солдаты не шевелились. Одни мрачно молчали, другие не скрывали свою радость.

Офицеры метались по казармам и собирали измятые синие листки, выворачивали солдатские карманы, только там уже было пусто. Каждый отчеканивал:

— Выбросил, герр лейтенант! — И добавлял наивно:— Кто же теперь будет править Германией?

— Кайзер Вильгельм Второй, — огрызались офицеры.

Комендант чувствовал, что капкан вот-вот захлопнется, что вокруг действуют невидимые силы большевиков, но где и кто они? Неужели те неуловимые бандиты, что перехватывают обозы и разоружают солдат? И вот теперь подбивают к бунту солдат армии «его императорского величества». А там наверху, в Берлине, молчат, никаких указаний... Значит, придется действовать, как было приказано. Но из деревень ничего нельзя вывезти. Один выход — взять хоть то, что осталось в имении. И солдаты потащили из господских амбаров на пароконные подводы и на походные двуколки мешки жита и гречки, кадки с салом, покатили из винокурни бочки со шнапсом, из комнат вытащили персидские ковры и пуховые подушки. Делали это они весело и споро.

А управляющий Врангеля, растерянный и испуганный, бегал по двору от воза до воза и только кричал: «Was machen sie?»[1] Комендант не обращал на него внимания. Он приказал все это добро под усиленным конвоем отправить утром на станцию, погрузить в вагон и с охраной доставить в Германию. На ночь вокруг имения выставлялся усиленный патруль.

А в это время в хате Архипа Левкова собрался весь Рудобельский ревком.

— Хватит агитировать, товарищи, пора действовать.— И Соловей рассказал обо всем, что узнал в Бобруйске. — Захватить волость, не дать немцам вывезти награбленное добро, потребовать, чтобы немедленно вывели войска с Рудобельщины, — такова задача на эту ночь и утро. Я предлагаю такой план: отряд Максима Левкова разоружает часовых у волостной управы и занимает Карпиловку. В это время отряд Ничипора Звонковича идет на Новую Дуброву. Максим Ус со своими хлопцами займет Лески. А мы с Анупреем захватим имение. Попробуем договориться с комендантом. И предупредите хлопцев — зря кровь лить не надо. В Германии революция, многие солдаты — левые социал-демократы и коммунисты. За что же их убивать? Да и самим гибнуть нет смысла. А пуля — дура, она не спрашивает, кто ты и сколько у тебя детей.

— Среди немчиков есть такие хлопцы, что хоть их взводными назначай, — отозвался Максим Ус. — Сами этого рыжего коменданта на кресте распнут.

— Отряды собираются на Зайцевом хуторе. Вооружаются кто чем может. Чтоб видно было, что и мы не с голыми руками идем, — приказал Прокоп Молокович. — А теперь каждый своей стежкой — на хутор!

...На той самой поляне собралось сотни четыре мужиков с карабинами, винтовками, дробовиками. Кое у кого за ремнем торчал наган. А дед Терешка нацепил через плечо длинную стражницкую саблю с кожаным темляком. Чтоб она не тащилась по земле и не била по пяткам, дед придерживал саблю рукой. Шапка у него съехала на одно ухо, реденькая бороденка задралась кверху. Смотрят на него молодые и ухмыляются, а он похаживает

[1] Что вы делаете? (*нем.*).

от одного к другому, потом вдруг выдернет саблю и похваляется:

— Если хочешь, побрею. На, пощупай, как огонь. На трех брусках доводил. Запустил Минич. Не иначе, стражничиха кабанам траву секла.

— Ты теперь, дед, как генерал Скобелев. Глянут немцы — и врассыпную, — пошутил Ус.

— Нечего зубы скалить, Максимка. Тут стараешься как лучше, а ему только хаханьки над дедом Терешкой. Это же не лишь бы какая сашка, это, если хочешь, боевая трафея. Не попал тогда в этого злыдня топором, и ты поленился пробежаться, чтоб перенять рыжую собаку, так вот вскочил сгоряча в его фатеру и забрал етую мешалку. Трафея, брате. Видишь, и с кисточкой.

Мужчины добродушно смеялись над разговорчивым и всегда потешным Терешкой.

На поляну вышел Александр Соловей. На нем был военный френч, перетянутый широким ремнем, зеленая, еще николаевских времен, фуражка, а на ремешке красная ленточка, скорее всего из Марылькиных кос.

Разговор сразу утих. Все подошли ближе к Соловью. Опираясь на ружья, курили и слушали, что говорил председатель ревкома.

— Товарищи партизаны и революционное крестьянство! Немецкой оккупации пришел конец. По договору с Советским правительством немцы должны уже очистить территорию Белоруссии. Но командование оттягивает вывод войск. Видно, мало еще награбили в наших деревнях. Теперь они выгребают все в панском имении, забирают скотину и лошадей, чтоб отправить в Германию. Но разве это панское добро?

— Известно, наше! — загудело несколько голосов.

— Утром мы предложим немцам убраться из волости и вернуть все, что они награбили.

— Бить гадов надо! А вы цацкаетесь с ними, просите да уговариваете. Продались германцу, товарищи комиссары, немчуру жалеете, — закричал, протискиваясь сквозь толпу, молодой кучерявый матросик. — Если боитесь, я поведу. Кто со мной, мужики? — Он расстегнул бушлат, показывая полосатую тельняшку, выхватил наган, готовый тут же ринуться в бой.

— Заткнись, вояка, — сгреб матросика за грудки чуть ли не вдвое выше его ростом Максим Ус.

Партизаны наблюдали, что будет дальше.

— И откуда ты такой сыскался, что трещишь, как старые портки? — подошел к нему, держась за саблю, дед Терешка.

— Тихо, мужики, — успокаивал Соловей. — Вот товарищ Ступень говорит, что мы продались немцам...

— Болбочет дурень лишь бы что. Нечего слушать, — прогудел Микодым Гошка.

— Ему хочется стрелять, чтоб кровь лилася. А мы хотим жить на этой свободной земле. И немецкие солдаты пускай живут. Они такие же рабочие и крестьяне, как и мы. Дома у них семьи. В Германии тоже произошла революция, Вильгельма больше нет. Среди солдат есть социал-демократы и коммунисты. В кого ж мы стрелять будем? В кого будут стрелять они? Оружие мы не выпустим, но оно должно быть в умных руках. Вынудят стрелять, начнем. Только не забывайте, что у них пулеметы, винтовки, патроны. Но за нами сила и правда, потому что никто другой — мы здесь хозяева. Стрелять только в крайнем случае. А теперь слушайте. — Соловей вытащил из кармана лист бумаги и стал читать: — «Приказ номер один Рудобельского волостного революционного комитета. 23 ноября 1918 года.

В два часа ночи на 24 декабря отряду Максима Левкова выступить в Карпиловку, обезоружить охрану волостной управы и установить советскую власть. Отряд Максима Уса занимает деревню Лески. Отряд Ничипора Звонковича — Новую Дуброву. Отрядам Драпезы и Соловья занять имение барона Врангеля.

Во всех деревнях установить советскую власть и организовать комитеты бедноты, которые должны поделить панскую и шляхетскую землю».

И сразу все заговорили:

— От ета справедливо.

— Так давно надо было. — Терешка подошел к Ивану Ковалевичу: — Заберешь тестев хутор и царствуй себе.

— Пусть он подавится этим хутором! — зло ответил Иван.

Отряды начинали расходиться. Мужики, стуча лаптем о лапоть, сапогом о сапог, прятались за разлапистые елки от пробиравшего до костей ветра, который гнал по небу седые тучи с белыми гребнями.

Не знал только крикливый матросик Ступень, к кому прислониться, в ком найти опору. Ему хотелось командовать самому. Но что один сделаешь.

— Становись, Алексей. Пойдем на Лески.

Матрос послушался Уса и молча стал в строй.

Отряды исчезли в лесной чащобе. Только шуршала под ногами мерзлая листва, потрескивали да хлестали по спинам еловые ветки. Поляна опустела.

...Ночью ветер разыгрался еще сильнее. Карпиловка спала глубоким сном, только кое-где лаяли собаки да скрипели колодезные журавли. В темноте мерцал единственный огонек. На него осторожно шли с полсотни партизан во главе с Левковым. Остальные окружили деревню, чтобы вдруг из нее не выскочили патрули и не подняли тревогу.

На крыльцо волостной управы поднялся староста и постучал в двери.

— Wer ist hier? [1] — послышалось из-за дверей.

— Открой, это я, староста. Ну, Михаил Звонкович. Разве не знаешь? Комендант послал.

Послышался топот подкованных сапог, заскрипел засов, зло забурчал спросонья солдат. Как только двери открылись, в коридор вскочил Максим Левков с наганом в руке и схватил солдата за ремень. Винтовка его стояла у стола. Немец побелел и начал поднимать вверх руки.

— Не бойся, камрад. Wir sind Kommunisten. Sie fahren nach Hause, nach Deutschland [2], — спокойно заговорил Максим, подбирая немецкие слова, которые он малость помнил со школьных времен. Вслед за ним в управу зашли человек восемь с карабинами и ружьями. Маленький и верткий Тимох Володько сразу же подбежал к столу и схватил карабин. Немца посадили в угол. Он больше всего удивился, увидев среди «бандитов» услужливого и приветливого продавца из магазина. Узнал еще нескольких хлопцев, которых встречал на вечеринке, и немного успокоился.

— Принимай, товарищ Левков, волость. Сдаю в полном порядке, — серьезно сказал Звонкович.

Вскоре партизаны привели еще четырех разоруженных немцев и посадили их рядом с охранником.

---

[1] Кто здесь? (*нем.*)

[2] Мы коммунисты. Уезжайте домой, в Германию (*нем.*).

Иван Ковалевич взахлеб рассказывал о своей первой боевой операции:

— Согнулся он в три погибели под Мартиновым гумном, воротник поднял и дремлет. А мы ти-и-ихонько подкрались, из-за ветра и не слышно было, наставили четыре дула да как гаркнем: «Сдавайся!» Он так и сел.

В зале, коридоре, других помещениях волости отогревались партизаны. Потягивали самокрутки, беседовали. Вокруг волости стояли часовые. По берегу Неретовки и по мостику между имением и деревней вытянулась партизанская цепь. Все ждали рассвета. Утром будет видно, как все обернется и чем кончится.

Максим Ус больше верил своим глазам, чем чужому слову. Поэтому ходил в разведку всегда сам. Отряд его без боя занял Лески. Выставили дозоры на улице и за околицей, а полсотни партизан вместе с командиром лесом вышли на большак, который вел из имения в Ратмировичи. Партизаны знали: пока темно, немцы никуда не ездят и не ходят. А глубокой осенью рассвет наступает поздно. Вот и ждали.

— Лучше встречать, чем догонять, — говорил Максим. Он то и дело выходил на дорогу и прислушивался: не скрипят ли колеса, не ржут ли кони?

— Такой разведчик за версту виден, — шутили хлопцы. — Ты бы хоть чуть пригибался, Максим, а то шапку собьют.

— Батька новую купит, — отшучивался командир.

И вот в синеве холодного рассвета на большаке заколыхались дуги, замычали привязанные к подводам коровы. Длинный обоз осторожно въезжал в лес. Возницами были солдаты с карабинами за плечами. Они ехали, как воры, даже не понукали лошадей, не разговаривали между собой. Большинство из них были пожилыми людьми, видно привычными к работе на лошадях и на земле. В середине обоза сидел на мешках молодой офицерик. Как только обоз поравнялся с партизанской засадой, из-за придорожных елей и кустов можжевельника, словно из-под земли, выросла целая армия вооруженных крестьян: у страха ведь глаза велики. Офицерик спрыгнул с мешков и схватился за кобуру. Максим с размаху ударил ему по шее, и тот носом зарылся в сырой песок. Партизан придавил офицерика, нащупал кобуру и так рванул, что она отлетела вместе с ушками. На каждого солдата нава-

лилось по двое, а то и по трое партизан. Хлопцы Максима Уса провели операцию внезапно и тихо, никто и ойкнуть не успел. Перепуганные кони храпели и вырывались из хомутов, ревели и натягивали постромки привязанные к возам коровы. Максим одной рукой, словно котенка, поднял и поставил на ноги офицерика, помахал ладонью перед дулом нагана: «Стрелять не надо» — и скомандовал:

— Поворачивай!

Солдат посадили на подводы, дали им в руки вожжи, а сами пошли рядом. Винтовки держали наизготовку. У многих за плечами висели еще и карабины.

На подъезде к имению партизаны увидели возле ворот огромную толпу людей. В первых рядах стояли вооруженные хлопцы из отрядов Соловья и Драпезы, а за ними — карпиловские деды, бабы и вездесущие мальчишки: всем хотелось посмотреть, «как партизаны будут выгонять немцев».

Ворота открылись, и обоз въехал на просторный двор. Партизаны отвязали коров, выпрягли лошадей.

Перед крыльцом стояло человек пятнадцать. Здесь были Левков, Левон Одинец, Прокоп Молокович, Ничипор Звонкович. К коменданту жались четыре офицера. Против них стоял Александр Соловей.

Лиза, в черном пальтишке и клетчатом платке, примостилась на средней ступеньке, между Соловьем и комендантом.

— По договору, заключенному Советским правительством, вы должны были очистить всю занятую территорию к началу октября, — говорил Соловей. — Сегодня двадцать четвертое ноября, а вы и не думаете убираться. Забираете у нас хлеб, вывозите коров. Это — грабеж, господин комендант. Мы не хотим проливать ни вашей, ни своей крови. А у нас, поверьте, достаточно оружия и людей, чтобы прогнать вас силой.

Лиза торопливо, чтобы ничего не пропустить, переводила коменданту. Тот стоял прямо, словно жердь, хмурил брови и шевелил вздернутыми кончиками усов.

— Я — солдат и подчиняюсь только своему командованию. Поступит приказ отступить — отступим, а нет, — значит, нет! — отрезал комендант.

— Ваше командование уже — того... — И Соловей сделал выразительный жест. — Так что выполняйте прика-

зы революционной Германии и Советского правительства,— ткнул в самое больное место Соловей.

— Это провокация! Вы своими гнусными листками разложили моих солдат.

— Ваших солдат дома ждут. Делать им здесь нечего, — со спокойной уверенностью продолжал Соловей. Голос его стал тверже: — Революционный комитет требует сегодня же вывести все войска из имения и оставить волость. Крестьянское добро — не трогать! Ни зернышка. Сунетесь — огнем остановим!

Когда Лиза перевела этот далекий от дипломатических тонкостей, но решительный мужицкий ультиматум, лицо коменданта побагровело, он задыхался от бессильной ярости. Солдатам своим он уже не верил: они сдавались партизанам без единого выстрела, берегли свою шкуру. Да и своей он дорожил. И на кой ляд подыхать от мужицкой пули в дикой лесной стороне! Но сразу согласиться с этим уверенным и спокойным «комиссаром» не позволяла офицерская спесь. Комендант бормотал, что ему надо посоветоваться с командованием, что правительство Белорусской народной рады[1] попросило немецкие войска поддерживать порядок на занятой ими территории.

— У нас только одно правительство — Советское. От его имени мы и требуем сегодня же к пяти часам вечера очистить Рудобельскую волость. Партизанские отряды не тронутся с места, пока не уйдет последний немецкий солдат. Идите. Никто вас и пальцем не тронет. Не подчинитесь — силой заставим.

Соловей молчал, пока Лиза переводила его последние слова. Потом, не дожидаясь ответа коменданта, четко, повоенному повернулся и направился к воротам.

У амбара хлопцы разгружали фурманки с зерном. Мешки были тяжелые, мужики незлобиво переругивались:

— Пускай бы эти бугаи и надрывались.

— Понасыпали ж, под самую завязку.

— Подсоби, браток, а то, лихо его возьми, еще грыжа вылезет.

---

[1] Так называли себя белорусские буржуазные националисты, сотрудничавшие с оккупантами.

Здесь же суетился и Терешка, придерживая свою саблю.

— Снял бы ты ее, дед, а то пятки поотбиваешь, — зубоскалили хлопцы.

— Вот уйдут энти ироды, тогда бабе отдам щепки на растопку колоть. А дотоль не имею права.

Старик поддавал на плечи мешки, подсоблял подыматься к дверям, кряхтя таскал длинные трубки ковров.

— Что, дед, ключником пристроиться решил? — спросил Максим Ус.

— А чего ж? Самая по моим годам служба.

Когда Соловей вышел со двора, вдоль кирпичной стены уже выстроились отряды Левкова, Звонковича и Уса. Не расходились и мужики.

— Ну как? Что он там говорил? — наперебой спрашивали у Соловья и у тех, кто вместе с ним был при разговоре с комендантом.

— Никуда не денутся. Будут выметаться, — коротко отрубил председатель ревкома.

К нему протиснулась раскрасневшаяся Параска и горячо зашептала на ухо:

— Стяг у меня спрятан. Пускай хлопцы повесят. А?

— Ну и молодчина же ты, Параска. Скажи Ивану Ковалевичу. Хлопец он шустрый. Давай, любушка, беги, не мерзни.

— Эх, чтоб такое еще разок услышать! — шепнула она и побежала.

Александру стало жаль эту молодую красивую вдову. Тянется она к нему, словно ребенок, угасающий без тепла и ласки. Только теперь не время размышлять о своих делах, и ей нечего голову кружить. Отвоеваться надо сначала, жить начать по-иному, а там — видно будет.

Пацанята вскарабкались на высокую кирпичную ограду, кто мог — втиснулся в щели ворот и наперебой выкрикивают, что там, во дворе, творится:

— Мешки какие-то волокут.

— До кухни бегут с котелками.

— Коней седлают.

Иной посинеет, соскользнет по настылой стене, а уже другой просит подсадить и лезет на это место.

После полудня отворились ворота. На буланом жеребце выехал мрачный комендант, верхом потрусили офи-

церы, следом по мерзлому тугому насту протопали коваными сапогами солдаты.

Звякали привязанные к ремням котелки, скрипели за плечами туго набитые ранцы. Следом тянулся обоз. На передках устроились пожилые солдаты. Кое-кто, озираясь, махал рукой на прощание, слышались непонятные, но по-своему, видно, добрые слова. Толпа стояла молчаливая и неподвижная. Колонна скрывалась за голыми тополями длинной изгибающейся аллеи.

Когда прогрохотали походные кухни, еще попыхивающие паром, Соловей кликнул Уса:

— Берись за охрану усадьбы, пересчитай все, что осталось. Никому ни щепки не давай, пока комбед не поделит.

Толпа и партизаны расходились. Когда поднялись по косогору за панский сад, люди увидели, как над волостью снова полыхает багровое полотнище стяга.

11

Ревкомовцы не спали всю ночь. Тимох Володько принес из лавки литра три керосина, из хат снесли лампы и зажгли во всех комнатах. В зале и в коридорах сидели люди с винтовками и просто так. Никто не хотел расходиться, хотя за день многие намерзлись и утомились. Терешка снял свою саблю с портупеи и засунул ее за тонкую домотканую опояску, чтобы не болталась и не била по пяткам. Дважды прибегала его старуха, хватала за кожух:

— Иди, лайдак, до хаты! Вот помело старое, таскается за молодыми, абы только от работы улизнуть. Палки дров в хате не найдешь, а он гарцует с этой мешалкой.

— Не видишь, балаболка, что я при деле состою? — упирался дед и, проводив старуху на улицу, тотчас же возвращался обратно.

Из комнатки, где собрались ревкомовцы, вышел Александр Соловей. Он выглядел возбужденным и веселым.

— Как вы знаете, друзья, ревком никто не распускал. Он был и действовал в подполье. А нынче у нас работы

прибавилось. Вот мы, значит, расписали, кому за каким делом глядеть. Я пока остаюсь за председателя. Максим Левков будет волостным комиссаром, Микита Падута пусть заведует земельным отделом, Ничипор Звонкович — лесным, Левон Одинец — продуктовым. Молокович Прокоп будет военкомом, за секретаря — Сымон Гашинский, Максим Ус — уполномоченным по учету панских имений и шляхетских хуторов.

— А землю кто будет делить? — спросил Иван Ковалевич.

— Для этого у нас комбед есть: Микодым Гошка, Параска и вот дядьку Терешку дадим им в помощь.

— Весь век беда мной командовала, а теперь, лихо ее матери, я ею покомандую, — поправляя саблю, вскочил Терешка.

— Он кладовщиком сгодится,— посмеивались мужики.

За окном послышался конский топот. Кто-то соскочил с коня. В освещенный двумя лампами зал вошел заляпанный грязью хлопец в залатанном коротком кожушке. Соловей сразу же узнал Сымона Вежавца, того самого, с которым они подпиливали мост у Ратмирович. Сымон был партизанским связным на станции — обо всем, что там происходило, сообщал Соловью или Левкову. Вошел, поздоровался:

— Вечер добрый в хату.

— Какой там вечер? Сейчас петухи баб будить начнут, — отозвался кто-то из темного угла.

Сымон подошел к Соловью:

— Как вы говорили, так мы все и сделали. Два вагона отцепили, а что в них — не знаем, пломбы висят. Только немцы погрузились в эшелон, не успел машинист еще свистнуть, а мы с Амельяном — под вагон. Крюк слабый-слабый был, мы его освободили и стоим. Паровоз запыхтел и тронулся. Слух есть, что в те вагоны сгрузили они все, что в Холопеничах, Хоромцах и других селах награбили.

— А кто же у вагонов остался?

— Амельян с нашими хлопцами сторожит. Меня послали, чтоб узнать, что с этим добром дальше будет.

— Пошлем туда Левона Одинца. Это по его части. Разберется что чье, раздаст людям, а панское — в общий котел. Ты погоди немножко, Сымон. Сейчас афишки тебе дадим. На станции и в селах прилепишь, чтоб знали лю-

ди, что в Рудобелке советская власть и по всей округе Советы.

— Только чтоб с печатью были.

— Будут и печать, и штамп, товарищ Вежавец, — успокоил Сымона Соловей.

За столом сидели Левков, Одинец и Гашинский и на тонких бумажных листках писали воззвания волостного революционного комитета.

— Ставьте, хлопцы, штамп и печати, чтоб все по форме было, — посоветовал им Соловей. — А ты, Левон, прихвати с собой человек пятнадцать рисковых хлопцев и жарьте в Ратмировичи. Там Сымон с Амельяном отцепили от немецкого эшелона два вагона с награбленным добром. Разберитесь что чье. Людское людям раздай, а панское вези в комбедовский склад, пока суд да дело, — в Тимохову лавку.

Утром партизаны с мандатами и листовками волревкома разъехались по селам, очищенным от оккупантов. Они собирали мужиков, рассказывали, что в Рудобельской волости восстановлена советская власть, создавали из местных партийцев-большевиков руководящие тройки, выбирали комитеты бедноты.

Над соломенными стрехами снова затрепетали алые стяги. Кто шуткой, а кто и всерьез называл этот край на полесской земле «Рудобельская Советская федеративная республика».

А в любую сторону, километров за тридцать от Рудобелки, еще стояли немцы. Они были в Бобруйске и Минске, в Гомеле и Калинковичах, в Речице и в Мозыре. Рыскали по селам и панским усадьбам, стреляли свиней, выгребали сусеки, а где и веретено с шерстью у бабы прихватывали.

В имении Врангеля Максим Ус перевешивал рожь и гречку, переписывал коров и телят в толстую прошнурованную книгу, будто панский эконом. Николай Николаевич уничтожил все бумаги и куда-то исчез в ту же ночь, когда отступили немцы. Мужики из Максимова отряда наводили порядок в Поречье, Березовке, Хоромцах и Холопеничах: ставили своих людей, передавали им ключи от добра, что бросили немцы.

Всем хватало забот. К военкому Прокопу Молоковичу пришел из Косарич тот самый Кастусь Пинчук, о котором говорил Соловью Найман. Пинчук служил в Смоленской ЧК и по заданию штаба Западного фронта приехал в свою деревню: Красной Армии нужны были свежие силы, молодые бойцы.

Кастусь Пинчук добирался до Бобруйска через Оршу той же дорогой, что и все подпольщики. Ночевал у Ревина, помогал грузиться «коммерсанту Антонову», а из Бобруйска с бумажкой, выданной Густавом Шульцем, возвратился домой «на поправку после болезни». Первыми он отправил в Смоленск совсем еще молодых ребят Фому Коберника и Миколу Юневича, а за ними из Косарич и Заракуши исчезло еще человек пятнадцать добровольцев. В бобруйской чайной им давали «пропуска» до Орши, а там — только перейти с вокзала на вокзал, прошмыгнуть мимо патруля, и спустя несколько дней хлопцы в обмотках и в неведомо откуда добытых шинелях, с жестяными красными звездочками на фуражках уже отбивали шаг по смоленским улицам и с присвистом горланили «Чубарики-чубчики» и «Вы не вейтеся, черные кудри».

Когда в Рудне, Ковалях, Лавстыках, Смыковичах дознались, что Рудобельская республика шлет фронту подмогу, потянулись к военкому мужики и совсем еще молодые ребята.

— У тебя же еще и усы не растут. Ну какой из тебя вояка? Чеши лучше домой, пока мать с хворостиной не прибежала.

— Так и у вас же, дяденька, нет усов, — оправдывался черноглазый паренек в новых лаптях и сермяжной свитке.

А Молокович и Пинчук втолковывали не нюхавшим пороху добровольцам, что не простое это дело — через немецкие заставы добраться до Орши — и что невелика польза для Красной Армии, если кто сдуру подставит голову под германскую пулю.

До слез расстроенные мальчишки брели домой. Некоторые готовы были на свой страх и риск искать красноармейские части. Но где они и как туда добраться, никто не знал — вокруг еще стояли немецкие гарнизоны. Оккупанты были и в Бобруйске. Но военком и Пинчук каждый день разными путями — кого через Глусск, кого че-

рез Ратмировичи и Паричи — направляли добровольцев в Красную Армию. Когда за вражескими заставами очутилось больше полсотни обстрелянных ребят, исчез и Константин Данилович Пинчук. Он встречал земляков в Смоленске, расспрашивал, как они добрались, тревожился, не «завалился» ли кто. Самых боевых и сообразительных рекомендовал на службу в ЧК.

В окрестных лесах Бобруйска собирались партизаны из Городка, Бортников, Викторовки и Глуши. Потянулись из Родубелки отряды Соловья и Драпезы. Каждый из них насчитывал человек по восемьдесят опытных вооруженных партизан. Отряды окружили город, перехватывали на дорогах немецкие части, задерживали обозы, отнимали лошадей и оружие, захватывали в плен офицеров, совершали набеги на станцию, на Березинский форштадт и поднимали такой переполох, что немцы начинали побаиваться всякого, на ком была домотканая свитка или коротенький кожушок. Когда вокруг города сгруппировалось почти четыре тысячи бойцов, подпольный уездный ревком предупредил немецкое командование, что в распоряжении ревкома находится двадцать пять тысяч вооруженных партизан, и потребовал незамедлительно очистить город, при этом не вывозить не принадлежащего войскам имущества, средств связи и освободить всех политических заключенных.

Спешно грузились немецкие фуры с высокими бортами и железнодорожные вагоны, по дворам и улицам ветер гнал солому, вытрясенную из солдатских матрасов, у крыльца комендатуры горели кипы бумаги. Город пустел на глазах. Немцы уходили мрачные и молчаливые. Колонны солдат были похожи на арестантские этапы. Офицеры брели с опущенными головами, гремели походные кухни, словно погребальные процессии тащились обозы. Для отступления были освобождены все дороги. Каждый солдат чувствовал, что из-за молчаливых, присыпанных снегом сосен и елок в спину им глядят ненавидящие глаза партизан и черные зрачки винтовок. И они прибавляли шаг, чтобы скорее покинуть эту таинственную враждебную страну, где их ждало бесславье или могла встретить партизанская пуля.

Со станции Березина еще не отправился последний немецкий эшелон, на перроне еще суетились офицеры, кричали и угрожали дежурному, чтобы не тянул с отправ-

кой, как на вокзале появились Платон Ревинский, Борис Найман, только что освобожденный из тюрьмы Балашов, уже переодетый в черное пальто и кепку Густав Шульц.

Председатель ревкома вспрыгнул на ящик и поднял руку. Замерли в вагонах губные гармошки, прекратился галдеж на перроне. Солдаты полукругом столпились возле оратора. Офицеры приказывали расходиться по вагонам, но солдаты стояли словно глухие.

— Товарищи немецкие солдаты, рабочие и крестьяне свободной Германии! Бобруйский революционный комитет большевиков поздравляет вас с революцией на вашей родине. Возвращайтесь домой, сбросьте опостылевшие шинели и кайзеровские каски, быстрее завершайте пролетарскую революцию и создавайте свое рабоче-крастьянское государство.

Густав Шульц переводил каждое его слово и закончил от себя:

— Es lebe die deutsche Revolution! Glückliche Reise, Genossen![1]

Толпа солдат сотнями слаженных глоток, словно по команде, рявкнула «ура!». Махали шапками, руками и медленно стали расходиться по вагонам. Ревкомовцы оставались на перроне, пока не тронулся последний эшелон. Из раскрытых дверей и окон теплушек выглядывали улыбающиеся лица солдат, они поднимали над головою руки и сжимали их в рукопожатии и что-то кричали, голоса их становились все глуше, пока совсем ничего не стало слышно из-за нарастающего стука колес и паровозного гудка. И вдруг из последнего вагона появился и затрепетал на ветру маленький красный флажок.

Казалось, что город посветлел и повеселел. Над крылечком беленького одноэтажного домика на Пушкинской улице висел красный флаг, а на куске фанеры на дверях было написано одно слово: «Ревком».

По улицам расхаживали бородатые и просто давно не бритые партизаны с немецкими карабинами и трехлинейками, с дробовиками и двустволками, на ремнях тускло поблескивали гранаты. Одеты были кто во что горазд. Свитки, лапти, кожушки, заячьи шапки и треухи из овчины. За ними стайками увивались мальчишки, забегали

---

[1] Да здравствует немецкая революция! Счастливого пути, товарищи! (*нем.*)

наперед, чтобы разглядеть, что это за богатыри такие, что прогнали немцев.

На перекрестках, у базара и в городском саду собирались толпы горожан, у многих на груди были приколоты красные банты. Люди поздравляли друг друга, пожимали руки партизанам, приглашали их в гости. То здесь, то там начинались стихийные митинги — каждому хотелось выговориться, чтобы все знали, о чем наболело у человека в темные дни оккупации и что он думает о завтрашнем дне.

Несмотря на холодный колючий ветер, гнавший по улицам почерневшую листву и раннюю снежную крупу, люди не расходились. Все чего-то ожидали, с радостью окликали давних знакомых, вышедших из подполья, и говорили, говорили во весь голос, не боясь и не оглядываясь.

По Муравьевской и Скобелевской улицам бежали расхристанные, раскрасневшиеся и замурзанные ребятишки и громко кричали: «Красная Армия идет!», «Красноармейцы близко!». Толпы двинулись на Минскую улицу. Люди строились в колонны, откуда-то появилось несколько красных флагов, изготовленных на скорую руку. Над головами поднялись медные трубы, загудел барабан, звонко гремели литавры. Маленький оркестр пожарников, сбиваясь и путая мелодию, заиграл «Варшавянку». Люди подхватили песню. С толпой горожан смешались партизаны. Перед оркестром шли члены ревкома, вчерашние подпольщики и только что освобожденные из крепости большевики. В голове колонны появился портрет Карла Маркса. Его нес слесарь с завода Виташевского Герасим Одериха.

А навстречу по Минской улице, глухо топая сбитыми сапогами, покачивая в такт шагам тускло поблескивающие штыки, в город вступал 153-й полк Красной Армии. Впереди на лошади ехал невысокий командир в кубанке, синей венгерке, красных галифе с хромовыми леями. Над колонной развевалось полковое знамя. На нем полукругом желтыми нитками было вышито: «Лучше погибнуть в неравной борьбе, чем гибнуть покорно, отдавшись судьбе». А в середине круга — «Да здравствует власть Советов!»

Солдаты были одеты в шинели, в потертые ватники, папахи, кубанки, зеленые фуражки. В передних рядах

шли обутые в сапоги и ботинки с обмотками, а за ними шлепали в лаптях и опорках.

На углу Муравьевской и Минской улиц от имени ревкома красноармейцев приветствовал Петр Михайлович Серебряков. Многие знали его и раньше, только как Павла Балашова.

Солдаты разместились в только что освободившихся казармах Бобруйской крепости. Даже по лицам было видно, что в полку собрались люди разных национальностей. Были красивые черноглазые мадьяры, чубатые казаки и рослые белокурые латыши. До самых ворот крепости рядом с командиром бежали мальчишки — в материнских жакетках и безрукавках, в больших, сношенных шапках, налезавших на глаза и курносые носы, в опорках с осиновыми подошвами, в разбитых отцовских сапогах. Десятки верст прошли мальчишки гражданской войны, встречая из походов и провожая в бои красные полки.

Вечером в пустых комнатах уездного ревкома собрались вчерашние подпольщики, пришли партийцы-железнодорожники и заводские большевики, были здесь и командиры партизанских отрядов. Председателем ревкома избрали Платона Ревинского, заместителем — Петра Серебрякова, председателем ЧК — Бориса Наймана, военным комиссаром — Прокопа Молоковича. Здесь же было решено оставить в Бобруйске Александра Соловья. Ему поручили организовать и возглавить караульный батальон.

— А как же наша волость? — спросил он.

— Там есть Максим Левков, Никифор Звонкович, Левон Одинец. Да в вашей «республике» любой может быть председателем ревкома, военным комиссаром, там и беспартийные — настоящие большевики, — убеждал его Ревинский. — Рудобелка — самая надежная опора нашего уезда.

Так и остался Александр Соловей командиром 2-го Бобруйского караульного батальона. Ему отвели так называемые красные казармы. Зашел в них командир, зажал пальцами нос, посмотрел на загаженный пол, разбитые окна, горы мусора и соломы и только покачал головой.

Назавтра по разнарядке ревкома солдаты 2-го караульного батальона привели к казармам человек восемьдесят купцов, лавочников, бывших городовых и чиновни-

ков. На некоторых еще были запыленные черные котелки, шубы с облезлыми бобровыми воротниками, зеленые шинели с кантами и обшитыми сукном пуговицами. Дня два назад они еще называли друг друга господами, а теперь притихли, каждому хотелось укрыться за чью-то спину, стать незаметным, прикинуться несчастным. Зачем их сюда собрали — никто не знал. Каждый ожидал самого худшего, вспоминал свои прегрешения и дрожал: «Только бы большевики не узнали».

К ним подошел чисто выбритый, невысокий, подтянутый командир в старой шинели.

— Граждане, солдаты Довбор-Мусницкого и бывшего кайзера Вильгельма оставили вам наследство — вот полюбуйтесь на него. Всех оккупантов вы встречали хлебом-солью, плакали в тряпочку, когда они отсюда драпали. Кому же, как не вам, почтенные, убирать после своих желанных гостей? Берите-ка веники, тряпки и ведра и начинайте привыкать к полезному труду. За старшего будете вот вы, — Соловей показал на толстого мужчину в золотых очках на посиневшем носу. — Как только закончите, командир отделения отпустит вас домой. — Он повернулся и быстро зашагал к воротам.

Нехотя, словно стыдясь друг друга, неумело брались чиновники, купцы первой гильдии, бывшие урядники за лопаты и голики, закатывали рукава и штанины и начинали подметать и скрести почерневший и загаженный пол.

А у Соловья, как говорится, хлопот полон рот: человек двадцать его солдат были совсем разутыми — от сапог остались одни халявы, некоторые ходили в перевязанных веревками калошах, а кто и в разбитых лаптях. С ордером уездного комитета он послал группу красноармейцев на рынок и в сапожные мастерские города. Они растолковывали сапожникам и хозяевам лавочек, что многие бойцы совсем разуты, и просили помочь батальону. Одни упирались, другие отдавали без слов кто пару, а кто и две сапог, сшитых для продажи. Под вечер хлопцы принесли полсотни пар новеньких юфтевых и хромовых сапог. Они пахли свежей кожей и блестели, словно лакированные.

— А это для вас, товарищ командир, — сказал молодой мадьяр с побитым пороховинками лицом и протянул Соловью ладные хромовые сапоги со «скрипом».

— Мои еще месячишко продержатся. А эти лучше отдай вон тому парню, что ходит в опорках. Ему и пофорсить можно — молодой.

Приобутые, выбритые солдаты нового батальона расселись в чистой, хотя и холодной казарме. В дальнем углу поставил свою койку и Соловей.

— Мы для вас, товарищ командир, эту боковушку побелим и столик раздобудем.

— А зачем это мне одному жить? С народом и теплей и веселей. Вместе жить и вместе воевать.

Соловей не расставался со своими солдатами, хлебал с ними из одного котла, писал письма за тех, кто еще сам не мог, рассказывал об Октябре в Петрограде, о Ленине, о большевиках. А то, бывало, подсядет вечером в кружок бойцов и затянет:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.

И тянутся к песне, как к огоньку, бойцы со всей казармы. И подхватывают звонкими и простуженными голосами:

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

И кажется ребятам, что это про них песня, про батальон, про отшумевшие и будущие бои.

Когда смолкнет песня, притихшие красноармейцы глядят на своего командира. А он сидит призадумавшись, до родного свой. Потом приподымет бровь, вздохнет:

— Эх, хлопцы, как хотелось бы мне встретиться с вами годков этак через пять или десять. Взглянуть, какими вы станете.

— А почему бы и нет? И встретимся. Я здесь рядышком живу. Сколько нас здесь? Человек двадцать из Подречья. Вот и приезжайте, со всеми и повстречаетесь, — начал приглашать Соловья доброволец из Подречья Степан Герасимович. Хотя и молодой, а империалистическую уже оттрубил, грамоте выучился, честный и добрый хлопец. Не ошибся командир, назначая его казначеем батальона. Он еще и припевки складывать горазд. Как придумает, за животы все хватаются.

— Отвоюемся, к нам на Волгу припожалуйте. Сядем на зорьке в камышах, а там уток — туча темная. При-

волье, степи. Рыбу только ленивый не берет, — заговорил осипшим голосом отделенный Полосухин.

На Соловья глядели десятки синих, серых и черных, как уголь, глаз. Кого только не было в его батальоне! Саратовцы и москвичи, мадьяры и латыши, поляки, сотни две добровольцев из бобруйских мастерских и соседних деревень. Надо было научить их простым и строгим премудростям солдатской службы: ходить строем, стрелять, ползти по-пластунски под вражеским огнем, стоять в карауле, днем и ночью охранять город, склады, мосты и оба вокзала. Вот и мотался командир целыми днями то на плацу перед казармой, то проверял часовых, а в свободную минуту любил вслух порассуждать о будущем, чтобы каждый знал, за что он воюет.

— Побить мы их побьем. Хоть и голодные и разутые, но побьем. Нас мильоны, — считай, вся Россия с большевиками, в Германии революция, оттуда она, гляди, покатится и на другие земли. Отвоюемся, и такая у нас жизнь начнется, что никому и не снилось. Земля — наша, заводы — наши. Соху и лукошко забросим. Машины будут пахать и сеять. Учиться все пойдут. Приеду в твой Саратов и спрошу, а где здесь профессор товарищ Полосухин? Тогда и я, может, на агронома выбьюсь. С детства землю любил. Хочется, чтобы никто о куске хлеба не думал.

Улыбались хлопцы, начинали мечтать, как обернется жизнь у каждого, когда покончат с войной.

Порой командира навещал его отец. Невысокий, коренастый старик в потертом рыжем кожушке. Приносил в котомке домашние гостинцы — ржаные лепешки, засушенный сыр, мешочек жареных семечек, рукавицы с двумя пальцами, чтобы можно было стрелять, и рудобельских новостей на всю ночь.

Ходил он и на учения с батальоном сына. А однажды, собираясь до дому, попросил:

— Дал бы ты мне, сынок, хоть какое-никакое ружьишко.

— А зачем оно вам, батя?

— Э-з-э, зачем? Шляхтюки, как взбесившаяся свора, по футорам и лесу гарцуют. В Сереброне их целая шайка толчется. На Лучицкую волость напали, в Лясковичах опять стрельбу начали. И к нам, в Хоромное, залетают. На конях, с саблями и винтовками разъезжают. Не

хотят ли они и в Рудобелку сунуться? Так и мне, старику, чем-то ж надо борониться. Дай, сынок, лишним не будет. И в дороге оно поспокойней.

С разрешения военкома Соловей выдал отцу немецкий карабин, сотню патронов и документ с печатью уездного ревкома «на право ношения огнестрельного оружия».

12

«Всем, всем, всем. 2-я Тульская бригада в Гомеле подняла контрреволюционный мятеж. Силы ревкома крайне ограничены. Немедленно высылайте вооруженные части на подавление мятежа.

Председатель ревкома — Комиссаров.
Председатель ЧК — Ланге».

Читали и перечитывали тревожную телеграмму Ревинский, Серебряков и Молокович. Каждый надеялся найти между строк хоть какие-нибудь подробности: кто и когда поднял мятеж, что за силы у мятежников? Пытались связаться с Гомелем, но каждый раз телеграфистка отвечала: «Связи нет».

Наконец позвонили из Могилева. Говорил председатель губисполкома Сурта. Его голос заглушали гул и свист, голос его пропадал, то пробивался вновь и взволнованно требовал: «Немедленно отправляйте самые надежные части в Гомель! Самые надежные, слышите?! Из Могилева выехала школа курсантов. Действовать необходимо быстро и энергично». Затрещало и загудело, словно в трубку ворвался ветер, что раскачивал за окном черные ветви старого тополя, шаркал по окнам крупными каплями дождя и мокрым снегом.

Город спал, укутанный сырым мраком промозглой мартовской ночи. По улице время от времени проходили патрули, чавкая сапогами по разбитой снежной каше.

В мокрой шинели и заляпанных до колен сапогах в ревком стремительно вошел командир 2-го караульного батальона Александр Соловей. Его озябшее на ветру лицо было мокрым от дождя, а на бровях дрожали мелкие капли.

Ревинский нервно вертел ручку настенного телефона и требовал начальника железнодорожной ЧК.

— Алло! Алло! — кричал он. — Сейчас же от имени ревкома прикажите начальнику станции снарядить эшелон в Гомель. Да, в Гомель! Вагонов десять — двенадцать. Меньше нельзя! И подберите добровольцев среди своих людей для борьбы с бандитами. Уже знаете? Получили телеграмму? А больше ничего не известно? С рассветом эшелон должен отправиться. — Он заметил Соловья, кивнул ему и протянул руку. — До Жлобина путь должен быть свободен. Ревком поручает это вам.

В комнате уже были начальник городской ЧК Найман, начальник милиции Сенкевич и члены ревкома.

— Вот и командир отряда есть, — заметив Соловья, сказал Серебряков и протянул ему телеграмму из Гомеля. Тот пробежал ее глазами и хотел что-то спросить.— Больше ничего не знаем. Какие силы у мятежников, кто их возглавил, что происходит в городе — пока установить не удалось. Связи нет. Отберите человек двести пятьдесят самых надежных бойцов. К вам присоединятся добровольцы из городской и железнодорожной ЧК, милиции и первого батальона. Товарищ Молокович отбывает вместе с вами и возглавит Жлобинский боевой участок. Туда уже направились курсанты Могилевской школы красных командиров.

— Берите самых сознательных и надежных красноармейцев, потому что контрреволюционные златоусты и краснобаи не скупятся на обещания, выдвигают самые привлекательные лозунги, только бы перетащить на свою сторону неустойчивые элементы, — объяснял Ревинский. — От Овруча на Мозырь пробуют прорваться петлюровцы. Их должны были задержать бойцы Тульской бригады, но они почему-то очутились в Гомеле и подняли мятеж. Ни в коем случае нельзя открыть дорогу петлюровским бандам на Гомель. Здесь каждый час решает. Готовьте бойцов и оружие. Чем скорее, тем лучше.

Соловей внимательно слушал председателя уездного ревкома и мысленно прикидывал, кого взять из своего батальона. Люди у него были разные: и латыши, и венгры, несколько немцев, были и поляки, а больше свои, местные, и рудобельских немало — Анупрей Драпеза, Демьян Пархимович, Тит Толстик, Фома Коберник. На них как на самого себя можно положиться.

К Соловью подошел Молокович:

— Поднимай, Александр, своих. Захватите побольше патронов, гранаты, пулемет и на первое время харчи. А я на станцию приведу тебе подкрепление. Доберемся на место, там ясно будет, что делать.

— Ну, я пошел.

Соловей повернулся через левое плечо и еле удержался, чтобы не козырнуть, стукнул стоптанными каблуками разбитых сапог и исчез за дверью.

В вагоны грузились на рассвете. Под утро мокрый снег прихватило, он посерел от сажи. На откосах чернели проталины, из-под ноздреватого снега виднелись прошлогодние будяки, небо было темно-лиловое и холодное. На путях стояли разбитые товарные вагоны с облезшими немецкими надписями. В голове эшелона сипел и попыхивал присадистый паровозик с длинной, как голенище, трубой. Из нее валил густой белесый дым, — дрова, наверное, были сырые, и это беспокоило Соловья.

— Сколько мы будем, брат Прокоп, на такой кляче тащиться до Гомеля? — спросил он у Молоковича.

— В Жлобине сменим паровоз. Ты дай кочегару в помощь пару хлопцев. Пусть шуруют и смотрят, чтобы машинист живей поворачивался.

Командиры погрузились последними. Паровоз сипло загудел, зачихал, поднатужился, заскрипели старые, разболтанные телятники и медленно покатились по рельсам мимо Телуши, Красного Берега и Малевичей.

Эшелоны с могилевскими курсантами и добровольцами из Рогачева уже стояли в Жлобине и ожидали отправки на Гомель. Командиры собрались у коменданта боевого участка Прокопа Молоковича.

Вместе с начальником школы вошел человек в кожаной куртке, подпоясанный патронташем. Ему удалось прорваться из Гомеля, чтобы доложить губкому партии, что произошло в их городе. Он торопливо рассказывал командирам:

— Восемнадцатого марта шестьдесят седьмой и шестьдесят восьмой полки Второй Тульской бригады выступили под Овруч на петлюровский фронт. В полках затаилось немало офицерья. Солдатский паек и так невелик, а они еще его каждый день урезали. Нашептывали солдатам, что в Красной Армии их ожидает голодная смерть, что Колчак, Деникин и Петлюра не сегодня-завтра задушат

советскую власть и перевешают всех коммунистов. Призывали оставлять фронт и возвращаться по домам. Начальником хозчасти полка был царский офицер Стрекопытов. Он и посадил красноармейцев на голодную норму. А командир полка Мочигин подстрекал самых отсталых солдат арестовать командира бригады Ильинского и комиссара Сундукова и выдать их Петлюре, а самим бросить фронт и отправляться в Тулу. Пятнадцатый батальон взбунтовался, захватил эшелон и начал митинговать в других полках. Нашлись и там бывшие золотопогонники. Эшелоны мятежников направлялись на станцию Гомель-Полесский; там к ним присоединилась Четвертая бригада отдельного артиллерийского дивизиона. На фронте с комбригом осталось человек двести верных революции бойцов и бронепоезд. Они и сдерживают натиск петлюровцев. А мятежники захватили вокзал, начали арестовывать коммунистов, снимать наши посты и требовать, чтобы их отправили в Тулу.

Председатель уездного комитета товарищ Хатаевич как раз перед этим выехал в Москву на VIII съезд партии, а члены ревкома, укома партии и работники ЧК решили уговорить мятежников возвратиться на фронт. Пускать взбунтовавшуюся толпу на Тулу никак было нельзя, потому что в Брянске только что прокатились контрреволюционные мятежи, а эти головорезы могли зажечь их снова.

Товарищ Комиссаров, редактор газеты Билецкий, продкомиссар Селиванов и вожак железнодорожников Володько отправились на Полесский вокзал, чтобы поговорить с мятежниками. Их встретили штыками и пулеметами. Уездный комитет решил принять бой, чтобы не дать мятежникам соединиться с петлюровцами.

— А какие силы у ревкома? Сколько они могут еще продержаться? — спросил Соловей.

— Силы самые незначительные: интернациональный отряд ЧК да человек триста кое-как вооруженных коммунистов. Есть и такие, что впервые держат винтовку. Вот, считай, и все силы. На караульный батальон надежда слабая, мятежники и туда пробрались... Держатся ли наши еще — неизвестно. Мятежники сразу же выпустили из тюрьмы человек четыреста уголовников. Начались разбои и грабежи, бандитский разгул.

Ревкомовцы и коммунисты города заняли гостиницу

«Савой» и, как могут, держатся. Но у них только один пулемет и очень мало патронов.

Бандитские руководители объявили себя «Повстанческим комитетом Полесья» и в листовках пишут, что советская власть в Гомеле свергнута. Вот полюбуйтесь. — Он вытащил из кармана кожанки измятый листок серой бумаги и протянул Молоковичу. На листовке крупными буквами было напечатано:

«Сего 24 марта я, по избрании повстанческим комитетом, принял на себя обязанности командующего войсками гомельской группы, восставшими против правительства большевиков и Ленина.

Командующий 1-й армией Народной республики —

Стрекопытов».

— Ну, гады! — скрипнул зубами Соловей. — Мы ему копыта по самый хвост выдернем. Теперь все ясно! Даешь Гомель!

Состав с двумя паровозами прогрохотал по мосту за Днепр.

На полях снега почти не было, только в бороздах да канавах лежала мокрая снежная каша, похожая на овсяный кисель. И небо прояснилось: густой порывистый ветер гнал низкие седые тучи.

На площадке перед паровозами стояли три красноармейца с винтовками и вглядывались в набегающее железнодорожное полотно. Поезд проскакивал разъезды и станции, нигде не останавливаясь. Соловьевы бойцы подбрасывали в топку дрова и подбадривали машиниста: «Крути, Гаврила!», «Дуй на всю железку!». И тот крутил. Поезд мчался сквозь густую серую мглу.

Под вечер остановились на небольшой станции Уза. Было холодно и сыро. В затишье, за заборами и пакгаузами, загудели, запылали костры. Мокрые шинели красноармейцев задымились паром, а небритые лица в отблесках пламени казались медно-красными.

Соловей направил группу разведчиков в направлении Костюковки, а сам переходил от костра к костру, разговаривал с красноармейцами и командирами, проверял оружие, подбадривал молодых бойцов и с нетерпением ожидал возвращения разведчиков. Что там происходит в Гомеле? Как помочь товарищам?

А в Гомеле ширился и бушевал мятеж. Выпущенные из тюрьмы уголовники грабили магазины, склады, обворовывали квартиры, по темным улицам шатались ватаги пьяных налетчиков, слышались блатные припевки и беспорядочная стрельба.

Гостиница «Савой» превратилась в цитадель ревкома. Здесь держали свой последний рубеж работники милиции, чекисты, красноармейцы караульного батальона.

Мятежники рвались к центру. Уже был занят Либавский вокзал, по Замковой, Могилевской, Кузнечной улицам их отряды приближались к «Савою». Они обезоружили и расстреляли немногочисленные красноармейские патрули, прижали к Сожу реденькую цепочку милиционеров и чекистов, захватили здание ЧК и телеграф.

Стрекопытов тотчас же отправил телеграмму за № 1078:

«Всем железнодорожникам по всей сети российских железных дорог. Военная власть большевиков в Гомеле низложена. Движением руководит повстанческий комитет. Арестовывайте членов Чрезвычайных комиссий, комиссаров и всех врагов народа. Не пропускайте большевистских эшелонов. Если нужно, разрушайте пути, осведомляйте население и действуйте смело и энергично.

Осведомляйте на станции Гомель-Полесский повстанческий комитет».

А комитет этот возглавляли белые офицеры — командир полка Мочигин, полковник Степин, Стрекопытов и группа эсеров, связанная с эсеровским ЦК и давно готовившая контрреволюционный мятеж. Они намеревались объединить свое выступление с ударами Деникина, Петлюры и Колчака и задушить Советскую республику.

Отсюда же, с городского телеграфа, Мочигин позвонил в «Савой». К телефону подошел председатель ревкома Комиссаров. В трубке послышался низкий осипший голос:

— Повстанческий комитет предлагает немедленно сдаться на милость победителей. Сопротивление не имеет никакого смысла. Сколько вас там, фанатиков и обманутых? Сотни полторы? Вы ведь и винтовки держать как следует не умеете. Если через десять минут не прибудут ваши парламентеры с белым флагом, начинаем обстрел гостиницы всеми огневыми средствами. Слышите? Ждем десять минут.

— Не белого флага вы дождетесь, а бесславной гибели за свою предательскую авантюру, — спокойно ответил Комиссаров. — Опомнитесь и прекратите бандитский шабаш. Пощадите солдат, которых вы обманули. Революционная Россия вам этого не простит.

Мочигин грубо выругался и бросил трубку. Через десять минут по «Савою» ударил первый залп. Посыпались разбитые пулями стекла, полетела отколотая штукатурка, брызнула рыжая кирпичная пыль. С третьего этажа ответил пулемет. На пересечении Могилевской и Кузнечной улиц начали падать скошенные меткой очередью мятежники, из окон гостиницы загремели ружейные выстрелы. «Савой» не сдавался. Коммунисты решили держаться до последнего патрона. Они с минуты на минуту ждали подмоги из Брянска, Могилева, Бобруйска и Смоленска. Время шло, таяли патроны, у пулеметчиков осталось только четыре ленты.

Билецкий заметил, что несколько мятежников втаскивают пулемет на крышу соседнего дома. Короткая очередь из «Савоя» смела их оттуда как ветром. Стрекопытовцы отходили и укрывались за домами. Офицеры ругались и, размахивая наганами, гнали солдат вперед, к гостинице.

В номерах стонали раненые, умирал простреленный насквозь бандитской пулей начальник Центропечати Фишбейн, падали сраженные огнем мятежников коммунисты, но «Савой» держался всю ночь.

Утром Стрекопытов приказал ударить по гостинице из орудий. Со свистом и грохотом снаряды крошили толстые гостиничные стены. Падали бойцы, бредили и стонали раненые. С Троицкой улицы начал бить миномет. Не переставая заливались пулеметы мятежников. Они вновь рванулись к зданию, но из проломов окон их встретили огнем защитники «Савоя». Они перешли на второй этаж. Раненые Ланге, Комиссаров и Билецкий не оставляли бойцов.

Опустели ленты, и пулемет умолк. С пробитого потолка отлетали целые плиты штукатурки, в окнах свистел ветер и пули стрекопытовцев. Раненых снесли на первый этаж и перевязывали гостиничными простынями и полотенцами. А Краузе, опершись о подоконник, посылал в мятежников пулю за пулей. Он переползал от одного проема к другому и, словно разговаривая сам с собой, коман-

довал: «По бандитам, огонь!» — и матерился по-немецки и по-русски.

По гостинице снова ударили пушки, пулеметы били шквальным огнем. Сопротивление угасало, кончались патроны, люди были обессилены бессонной ночью.

Фридриху Краузе прострелили ухо. На щеке и шее запеклась кровь. Рядом с ним вели огонь Ланге, Комиссаров, Билецкий, Ауэрбах и Бочкин. Раненым было приказано незаметно через дворы и переулки пробираться к Сожу, а там укрыться в рабочих кварталах города.

В «Савое» наступила тишина. Из подъезда вышел высокий, русый мужчина в куртке железнодорожника. Он остановился и поднял левую руку.

— Хочу говорить с командиром.

— А ты кто такой? — спросил офицер, уже успевший нацепить погоны и портупею.

— Член уездного комитета от железнодорожников Володько.

— Говорить говори, только не агитируй, а пикнешь, заткну глотку! — И он выразительно помахал увесистым маузером.

— Вы окружены Красной Армией. Не умножайте своих преступлений, за них вам придется отвечать. Мы прекратим сопротивление, если вы дадите слово отпустить раненых и всех, кто остался в гостинице.

— А ты не очень стращай, комиссарик! — разъярился офицер. — Что ты скажешь, когда твоя армия станет под наши знамена и — «даешь Москву!»? А вы? А на кой ляд вы нам нужны? Безоружных бить бог не велит, а в плен вас брать — лишняя морока. Вылезайте, не тронем. Так, что ли, ребята?

— Пусть выходят! — рявкнуло несколько пьяных глоток.

Володько, стараясь не пошатнуться, вернулся в «Савой». Стрельба прекратилась. Через несколько минут, поддерживая друг друга, прихрамывая, показались почерневшие, покалеченные, с перебинтованными головами защитники «Савоя» — ревкомовцы, чекисты, железнодорожники и фабричные коммунисты. Всего человек шестьдесят. Остальные по одному, по два успели просочиться через узкий переулок в соседние сады и дворы.

Озверевшие бандиты и выпущенные стрекопытовцами из тюрьмы уголовники стояли по обе стороны Румян-

цевской улицы, за их спинами, с состраданием поглядывая на окровавленных и обессилевших людей, выходивших из подъезда «Савоя», стояли обманутые солдаты. Когда пленные попытались повернуть на Могилевскую улицу, тот самый офицер, что обещал Володько не трогать оставшихся в живых коммунистов, скомандовал: «Оцепить!»

Бандиты окружили защитников «Савоя», залязгали затворами и начали бить прикладами и ножнами шашек по забинтованным головам и плечам.

Председатель ЧК Ланге хромал и еле держался на ногах, а конвоиры кололи его штыками, били и матерились.

— Опомнитесь, если вы еще люди! Вы изменили народу, революции и своему слову. Что вы делаете? — пытался остановить озверевших мятежников Комиссаров.

К нему подбежал офицер, двинул в лицо дулом нагана. По щеке побежала струйка крови, глаз наплыл пухлой синевой.

Под градом побоев их повели по Румянцевской улице в тюрьму. Из дворов и окон боязливо выглядывали горожане, многие украдкой вытирали слезы.

А к Гомелю подходили красноармейские части — из Смоленска прибыл отряд во главе с губвоенкомом Иосифом Адамовичем; возле Ново-Белицы по мятежникам ударила Брянская дивизия. Соловей со своими бойцами занял имение Прудок, верстах в четырех от города. Отсюда уже были видны городские крыши, дымки над трубами, слышалась стрельба. К Бобруйскому батальону присоединились рогачевский и жлобинский отряды, молодые, пестро одетые ребята: кто в лаптях и длинной артиллерийской шинели, кто в сапогах и венгерках, кто в флотских бушлатах и папахах.

Разведчики доложили, что окраина города занята цепями мятежников и утыкана пулеметными гнездами. Прихватили они и двух насмерть перепуганных стрекопытовских вояк. Маленький с русой бородкой и безбровыми глазами мужичок шмыгал носом, стучал себя в грудь и ныл:

— Ей-же-богу, нечистый попутал. Мы ведь что? Как те овцы. Куда баран, туда и мы следом. Да разве ж мы против советской власти? Командиры талдычат: «Предатели не пускают домой, бейте их...» Ну так мы и того...

Соловей, может быть, впервые в жизни выругался:

— Бар-р-ран! Все вы бараны безмозглые! На своих поднялись! Против революции, против свободы пошли.

Пленных обыскали и подали Соловью две бумажки — два удостоверения. В них было сказано, что предъявители являются бойцами 1-й повстанческой армии. Рядом с подписью Стрекопытова стояла большая синяя печать с двуглавым орлом посредине.

— Ого, уже и царский герб пришлепнули, только орел пока что без короны. Вот за что воюете! — И он потряс перед мокрым носом перепуганного солдата стрекопытовскими мандатами, сложил их и спрятал в верхний кармашек френча, затем кивнул Драпезе: — Ты их, Анупрей, привел, ты и разбирайся. Одумаются, выложат все, как на исповеди, — можешь помиловать, а нет — пусть трибунал решает по закону революционной совести. Увести!

Повалил густой мокрый снег, слепил глаза, холодными струйками сползал за воротник. «Вот теперь в этой замети и рвануть на бандитские позиции», — подумал Соловей и окликнул командира приданной в дороге роты.

— Ваша рота занимает левый фланг вдоль железной дороги. Неожиданным ударом взломаем оборону противника и прорвемся в город... — Соловей осекся: командир роты смотрел куда-то в сторону, словно и не слышал его. — Вам ясно? — спросил Соловей.

— Ясно-то ясно, но ваш приказ выполнить не могу.

— Как это так «не могу»?

— А так. Отойдем, Александр Романович, поговорим.

— Вы что, рехнулись? О чем я с вами рассусоливать буду? Какие у нас могут быть разговорчики? Выполняйте приказ!

— Не могу. Солдаты отказываются стрелять в таких же мужиков, как и они. Да и вы, по-моему, крестьянский сын.

— Это что, измена? — гаркнул Соловей.

К ротному подошли и стали вокруг шестеро верзил с пудовыми кулаками.

— Если меня, командир, не хочешь слушать, то они растолкуют, — кивнул на солдат осмелевший ротный, переходя на презрительное «ты».

— Угрожаешь, значит? — спокойно спросил Соловей и, ни на кого не глядя, направился к амбару. Там группками стояли солдаты. Курили и негромко разговаривали,

жевали клейкий хлеб, кто-то пришивал пуговицу к мокрой шинели. Комбат заметил, что в роте были в большинстве своем молодые сельские ребята. Таких, известное дело, нетрудно повернуть куда захочешь. Он весело, посвойски поздоровался с ними, поднялся на пустой ящик и заговорил: — Тут ваш командир сказал, что рота не хочет воевать за советскую власть. Это правда, товарищи?— Все поднялись со своих мест и окружили Соловья, но никто не ответил на его вопрос. — Белые офицеры обманули солдат и подняли мятеж. Они убивают наших братьев — гомельских рабочих и коммунистов, а вы собираетесь помогать убийцам. Чего они хотят? Отнять землю, которую нам дала советская власть, и вновь посадить на нее панов. Вот взгляните! — Соловей вынул из кармашка два листка и поднял над толпой. — Опять царский орел! Это стрекопытовские мандаты. Гляньте! А вы говорите — свои. Кому свои, а кому враги смертные.

— Это ротный так толковал! — послышались голоса из толпы.

— А оно во-о-он как обернулось!

— Брехал нам: Стрекопытов, мол, за мужиков, за крестьянскую власть!

— Продался, гад, буржуям и нас хотел под монастырь подвести!

Над толпой треснул выстрел. Соловей спрыгнул с ящика, левая пола шинели была пробита. Здоровяк солдат сунул кулаком в челюсть ротному, тот грохнулся на землю, вскочил и бросился за амбар. Его схватили.

— Постой, ваше благородие, — пробасил тот самый здоровяк, что свалил его с ног, — что ты теперь запоешь?

Офицера втащили в центр круга. С разбитой физиономией, дрожащий стоял он перед Соловьем.

— Братцы, — заверещал он, — и вы, Александр Романович, пощадите. Нечистый попутал.

— Эти песни мы уже слыхали от стрекопытовских бандюг. А как с ним поступить, решайте сами, товарищи. Командиром у вас будет наш рудобельский хлебороб Анупрей Драпеза. Этого, да и вас, больше «нечистый не попутает». Сейчас же построиться. Предлагаю выбрать трибунал и судить изменника по законам революционного времени.

Бывшему ротному связали руки ремнем. Суд был короткий и справедливый.

Опять повалил густой мокрый снег. Он присыпал тропинку, по которой увели офицера. А через полчаса рота под командой Драпезы залегла у железнодорожной насыпи: Молокович и Соловей решили прорвать вражескую оборону и занять восточную окраину города.

Бобруйский батальон, могилевские курсанты, рогачевские и жлобинские добровольцы поднялись в атаку. Только они вбежали на железнодорожное полотно, как по цепи секанул густой шквал пулеметного огня. Несколько красноармейцев сразу же упали. Задерживаться под таким плотным огнем было равносильно самоубийству, и Соловей приказал отползти за насыпь. Атака захлебнулась, и повторять ее было бессмысленно. Но ждать тоже было нельзя, ведь в городе погибали товарищи.

Соловей решил через небольшой кустарник обойти мятежников с фланга и забросать гранатами. Но пулеметный огонь снова прижал их к земле и вынудил отступить. Тогда Александр Романович решил собрать самых надежных командиров, чекистов и партийцев.

— Лоб у Стрекопытова твердый, и его сразу не прошибешь, — сказал он на этом коротком военном совете, — а губить людей зазря жалко, да и глупо.

— Ты что же предлагаешь? Пятки смазывать? — резко спросил Молокович.

— Бегут только трусы и шкурники, но где силы нехватка, там, братцы, хитрым надо быть и смекалистым. Кто со мной пойдет в город?

Многие смотрели на Соловья и ничего не понимали. Он заметил смятение бойцов и стал растолковывать:

— Надо незамеченными проскользнуть в город, поднять в этом осином гнезде хороший тарарам. Создадим панику, закрутятся бандюги от страха, как вьюны на сковородке, тогда и части наши ударят с фронта. А пока что играйте с ними в кошки-мышки — постреливайте время от времени. — Он помолчал и обвел всех усталыми подобревшими глазами. — Ну так кто?

Поднялись Гурский, Шолом Агал, Кроль, Тараевич, Демьян Пархимович — всего двадцать семь человек .

На улице сгущался мрак. Между низкими мохнатыми тучами сиротливо мерцали две-три далеких звезды, в голых ветвях завывал ветер.

Через полчаса все двадцать семь человек собрались возле своего командира и не узнали друг друга: в свит-

ках, подпоясанных веревками, в замызганных кожушках, в драных зипунах, дырявых, облезших треухах, на ногах — лозовые лапти и морщаки.

У кого сума свисала через плечо, как у нищего, у кого за спиной болталась тощая котомка.

— Теперь и родная мать не узнает, — радовался Соловей, глядя на своих хлопцев, и они похохатывали, осматривая друг друга. Командир объяснял каждому, как ему пробираться, что говорить, если кто остановит, и что делать в городе.

Одна группа двинулась к реке. Сподручней всего было пройти по крутому берегу Сожа, сквозь заросли ракитника. Шли по два, по три, по одному. Вторая группа растворилась в густом ельнике возле железнодорожного полотна.

Электростанция в Гомеле не работала. Только кое-где мигали желтые квадраты окон. Дома тревожно примолкли, словно вымерли и опустели. На темных улицах горланили пьяные бандиты, барабанили в закрытые ворота, лупили прикладами в гулкие жалюзи лавочек. Раздавались нестройные голоса, горланившие похабные припевки, кто-то смачно и бесстыдно матерился. Отчаянный женский крик, казалось, разрывал густой влажный воздух.

Соловей пробрался на Либавский вокзал. На перроне горел закопченный фонарь. Солдаты волокли в вагоны какие-то узлы, кули муки, ящики, женские шубы. Похожий на вахмистра усатый солдат напялил на островерхую шапку черный котелок, а через плечо перебросил длинное платье с кружевными оборками.

Пьяные солдаты орали, матюкались, толкались, вырывали друг у друга какое-то барахло, хватались за грудки. Тарарам стоял на вокзале и в вагонах. Никто ни на кого не обращал внимания, и Соловей пожалел, что не привел сюда целый взвод. Он вместе с Шоломом Агалом отошел за пустой вагон, вытащил из-под свитки гранату бутылку и швырнул ее в единственный на перроне фонарь. Прогрохотал взрыв, за ним второй, третий.

На вокзале начался невообразимый переполох: вопили раненые, ничего не понимающие солдаты бросились к вагонам, оттуда стали стрелять и выпрыгивать навстречу обезумевшие от паники мятежники. Кто-то тонким бабьим голосом закричал: «В ружье!» Часть бандитов сиганула через ограду на привокзальную площадь, но и там

загремели взрывы. Похоже было, что в город ворвались красные и они сейчас были на каждой улице, за каждым углом и домом. Паника ширилась. В темноте метались бандиты, бросали награбленное барахло, стаскивая один другого, забивались в вагоны, палили, не глядя куда, лишь бы отогнать помутивший разум страх. Когда поезд тронулся, вслед ему полетели гранаты. Сверкнуло пламя, со свистом брызнули осколки.

Никто не мог понять, как очутились в Гомеле большевики. Пальбу и взрывы в городе услыхали заслоны и начали отходить к железнодорожной ветке на Речицу. Стреляя на ходу, на гомельские улицы хлынули смоленские, бобруйские и брянские отряды. Многие и не догадывались, кто им расчистил дорогу в город, а если бы и знали, сразу не поверили бы, что двадцать семь отважных хлопцев, одетых в свитки и лапти, решили судьбу всей операции.

Мятежники бежали на Речицу и Калинковичи. Не успевшие выскочить из города искали спасения на глухих улицах и в переулках.

Тараевич со своими хлопцами увидел возле казармы четыре орудия в упряжках. Красноармейцы с гранатами на боевом взводе и наганами в руках вскочили во двор. Там было пусто. Они оседлали коней и с грохотом помчали батарею навстречу своим, что наступали на город из Прудка.

Горела башня во дворце князя Паскевича, подожженная снарядами стрекопытовцев. Высоко вздымались клубы дыма, полыхало зловещее багровое пламя. В его зареве люди и лошади казались огненно-красными густыми тенями.

Группа Логвиновича прорвалась в парк. Ноги скользили по перепревшей прошлогодней листве, по лицам хлестали упругие мокрые ветки. Красноармейцы бежали к дворцу, чтобы преградить огню дорогу дальше.

Хлопцы из группы Логвиновича стали гасить пожар на башне дворца. Из соседних домов прибежали люди с ведрами и топорами, откуда-то притащили длиннющий багор, лестницу и пожарную кирку. Пламя понемногу темнело и оседало под дымом, а внизу по булыжнику грохотали двуколки: на берег Сожа пробивались группы мятежников. Над городом стоял гул, продолжалась беспорядочная стрельба, слышались крики.

К группе бойцов подбежал седоусый железнодорожник:

— Браточки, моментом — в тюрьму, там убивают товарищей!

Логвинович со взводом красноармейцев темными улицами бросились к тюрьме. Она гудела сотнями голосов. Светились зарешеченные окна. Бойцы прикладами сбили замки и тяжелые засовы. Еле держась на ногах, из камер выходили изувеченные и окровавленные люди.

— Членов ревкома куда-то увезли.

— Наверное, на Полесский вокзал.

— Спасайте их! — обращались к бойцам только что освобожденные заключенные.

Но спасать уже было некого. На Полесском вокзале после нечеловеческих истязаний стрекопытовцы расстреляли Билецкого, Комиссарова, Ланге, Сундукова, Ауэрбаха, Бочкина, Песина и еще нескольких защитников «Савоя». Казненных узнавали только по одежде. Красноармейцы перенесли их в холодный и гулкий вокзал. Поставили почетный караул.

Брянские, бобруйские и могилевские части перехватывали и догоняли рассеянные бандитские группы. Александр Соловей со своими людьми захватил бронепоезд, поставил на паровозе красноармейцев и двинул вслед за мятежниками на Речицу.

При свете туманного, сырого утра бойцы увидели на откосах окровавленные трупы нагих и изувеченных людей — на спинах вырезаны пятиконечные звезды, повыколоты глаза, навылет пробиты штыками груди. Мятежники на ходу сбрасывали несчастных с поезда. Это был жуткий кровавый шлях. Многие молодые красноармейцы, не стыдясь командиров, утирали слезы, до крови закусывали губы.

— Что они натворили! Смерть этим выродкам! Живьем шкуру с них драть надо!

Соловей молчал, только перекатывались под кожей тугие желваки, и казнил себя, что в гибели этих несчастных безвестных бойцов есть и их вина — где-то проволынили. Если бы не возились с тем ротным, а прорвались в город сразу, живы были бы и ревкомовцы и эти мученики. Не терпелось скорее нагнать мятежников и воздать им сполна, найти зачинщиков и спросить за все. Но кто они, зачинщики? Стрекопытов? Вряд ли у него хватило

бы смелости на такой бунт. Нет, их кто-то направляет, какая-то сила толкает на скользкую дорожку измены и преступлений. Все мятежи и восстания, все петлюры и колчаки, кулацкие бунты и банды уголовников — работа одних рук.

А что там, дома? Как батька, Марылька, хлопцы? Не докатилось ли и туда эхо гомельского мятежа? Не может того быть, чтобы Казик Ермолицкий с перегудами и плышевскими уступили комбедовцам землю, чтобы их банды так и отирались на Загальских хуторах.

Соловей через смотровую щель глядел на придорожные леса, на села, выбегавшие серыми хатками на пригорки, и вспоминал дом, родных и близких. Думал: «Как только отвоюемся, подамся на какие-нибудь курсы, выучусь на агронома, вернусь домой, и будем на панской и шляхетской земле коммуной хозяйствовать». Припомнилась и Параска. Как она смотрела на него в последний раз! Кончится эта заваруха, будет и у нее счастье.

Александр пересилил себя, отогнал эти мысли: не ко времени все это. Рядом кровь, смерть, люди гибнут.

Поезд приближался к Речице. Соловей считал, что мятежники еще здесь, и приказал солдатам приготовиться к бою. За ними следовал эшелон с брянскими и смоленскими отрядами. Дорогу расчищал бронепоезд.

Но ни на станции, ни в городе стрекопытовцев не было. Железнодорожники рассказали, что полчаса назад на Василевичи ушло девять эшелонов с мятежниками. Теперь у них, конечно, один выход: попробовать пробиться на юг, к Петлюре. А кому не удастся, разбредутся по лесам, начнут грабить деревни, громить волости, охотиться за активистами. И надо спешить, чтобы перехватить бандитов, не дать им спрятаться в лесах. Но нестись во весь дух небезопасно: можно наскочить на разобранные рельсы или завалы на дороге.

Показался мост через небольшую речку Ведрич. А там и до Василевич рукой подать. Но возле моста стоит человек и машет шапкой. Бронепоезд остановился. Соловей вместе с машинистом побежал навстречу бородатому железнодорожнику.

— Мост подожгли, бандюги, чтоб им пусто было. Мы пламя сбили. Но смотрите сами, выдержит ли.

Соловей с машинистом ступили на обгорелый настил.

Еще дымились концы присыпанных мокрым песком шпал, но почерневшие сверху сваи стояли крепко.

— Потихоньку поедем, — сказал машинист и быстро побежал к паровозу.

Когда через мост прополз последний эшелон, красноармейцы с пулеметами и винтовками начали выскакивать из вагонов. Перед ними была задача — обойти Василевичи с тыла. А бронепоезд тут же рванулся к станции, забитой мятежниками. По вражеским вагонам хлестали пулеметные очереди, загрохотала небольшая пушка. Стрекопытовцы попытались отстреливаться. Но большинство из них пятились, ползли к лесу, прятались в низкорослом ольшанике. Как только они оторвались от прицельного огня бронепоезда и попытались прорваться в густой сосняк, их встретили винтовочные залпы, резкой прерывистой строчкой зачастил пулемет. Мятежники падали, скошенные пулями, оставшиеся в живых прижимались к земле, отползали назад в кусты. Кое-кто пытался отстреливаться, пальба была нестройной, и огонь затих. Наконец из ольшаника показался разорванный рукав, привязанный к длинной палке, — белый флаг. Стрекопытовцы бросали оружие и выходили из кустов с поднятыми руками. Многие падали на колени и просили о пощаде.

— Простите, христа ради, землячки! Офицеры нас погубили.

— Мы и не помышляли против своих.

— Как овец шелудивых, погнали нас золотопогонники.

— Спиртом глаза залили и объегорили.

Соловей с Адамовичем разыскивали Стрекопытова и его коменданта, полковника Степина. Но их и след простыл. Едва выскочили из вагона, пообрубали гужи на двух повозках и, не сбрасывая хомутов с лошадей, сыпанули верхом в ближний лес. За ними подались десятка три офицеров и уголовников, что зверствовали у «Савоя» и на гомельских улицах.

Пленные складывали оружие, награбленное в городе добро и, понурив головы, выстраивались в колонну, оцепленную конвоем. Некоторые затравленно озирались и тоскливо поглядывали на небо, кое-кто, не выдержав, начинал всхлипывать: после того, что произошло, не приходилось рассчитывать на снисхождение.

Соловей с отвращением и какой-то скрытой жалостью глядел на них, темных и неграмотных людей, обманутых врагами революции.

— Винтовки мы чистим, а людям прочистить мозги времени не хватает, — словно рассуждая сам с собой, говорил Соловей Молоковичу. — А темного человека куда хочешь можно повернуть. Винтовка винтовкой, только и словом надо воевать, товарищ комиссар.

К вечеру красные отряды возвращались в Гомель. На первом эшелоне трепетал закопченный, с мазутным пятном, небольшой красный флаг. Возле него, за поручнями паровоза, стояли два красноармейца, подпоясанные пулеметными лентами, с винтовками наперевес. Они всматривались в узкую колею железнодорожного полотна, в набрякшие весенними соками перелески, в высокое лиловатое небо. Бойцы в теплушках галдели и распевали. За первым эшелоном двигался молчаливый состав с пленными. На тормозных площадках стоял конвой.

Последним прогрохотал по рельсам бронепоезд. Командовал им Александр Соловей. Он прислонился к холодной шероховатой стене. Тело все ныло, как после тяжелой работы; сами закрывались глаза, и казалось, его окутывает огненно-оранжевый туман. Выплывают знакомые лица, беззвучно взрываются гранаты, а стук колес напоминает бесконечную пулеметную очередь.

Он то просыпался, вступал в разговор и зубоскалил вместе с командирами и бойцами, то снова проваливался в туманное мельтешение воспоминаний и снов.

Утром прибыли в Гомель. На Полесском вокзале, где недавно был штаб мятежников, красноармейцев встречал председатель уездного комитета товарищ Хатаевич. Он только что возвратился с VIII съезда партии. Мятеж вспыхнул и был ликвидирован, когда он находился в Москве. Вместе с Хатаевичем пришли перевязанные, чудом оставшиеся в живых защитники «Савоя».

Они приветствовали красноармейцев и благодарили за освобождение города.

Командиры обступили Хатаевича:

— Ну как там, в Москве?

— Что товарищ Ленин на съезде сказал?

Хатаевич скупо отвечал на вопросы. Потом жарко и взволнованно заговорил:

— Стрекопытовский мятеж — не случайный бунт быв-

шего офицерья. Это только одно звено в цепи широкого вражеского заговора. Мятежи и погромы по приказу контрреволюционного центра начались одновременно в разных районах страны. По соседству с нами, в Борзнянском уезде Черниговской губернии, бушует кулацкое восстание. Его подняли эсеры, а бандами командует царский полковник Секира. Наш революционный долг помочь черниговским товарищам ликвидировать кулацко-эсеровский мятеж. Вы измучены боями со стрекопытовскими бандами. Но время не ждет. Жизнь борзнянских коммунистов, рабочих и крестьян в смертельной опасности. Озверевшее кулачье и эсеровская сволочь жгут села, мордуют и расстреливают большевиков и крестьян.

Соловей не дослушал Хатаевича, поднял руку и зычно скомандовал:

— Бобруйский батальон и приданные к нему отряды, по вагонам!

Через час поезд с красным флагом на паровозе двинулся на Бахмач.

13

Леса отбегали дальше и дальше. Они казались голубовато-сизыми полосками между отсыревшей землей и серым небом. Где-то далеко, вдоль полевых дорог, торчали одинокие тополя, мелькали хуторки и вытянувшиеся села с белыми церквушками.

Все чаще и чаще за окнами, в паутине голых садов, проплывали мазанки под камышовыми крышами, поблескивали по ярам озерца весенней воды. Начинались затянутые синеватым маревом степи. То здесь, то там, словно снежные островки, белели стаи гусей; возле самого полотна стреноженные лошади хрумкали высохшими будяками. Степь дышала горьковато-пьяным чадом весны и влагой набрякшего чернозема. Медленно, словно за кругом неестественно огромной карусели, плыли просторы полей, менялись краски и картины. Временами пробивалось солнце, и в окна вагона врывались широкие снопы пыльного света, подсиненного облачками махорочного дыма.

Красноармейцы дремали. А Соловей не отрывался от окна. Его тревожили и манили запахи весны, необъятные

просторы чуть-чуть пробудившейся земли — все, что он так любил с детства. Но не только очарование милыми сердцу картинами притягивало его к окну — он ни на минуту не забывал, что отвечает за каждого бойца батальона, что где-то их ждет бандитская засада и нужно быть готовым в любую минуту ринуться в бой.

Поезд остановился возле маленькой станции Макашино. «Неужели не хватило дров или воды?» — подумал Соловей и выпрыгнул из вагона. Возле паровоза стоял дежурный и что-то говорил машинисту. Александр подбежал к ним.

— Приехали, товарищ командир, — спокойно сказал седоусый машинист.

— Куда приехали? Нам ведь нужно на станцию Дочь, — горячился Соловей.

— Эту Дочь уже сукин сын Антонов оседлал.

Учтивый дежурный стоял навытяжку.

— Мы придержали ваш эшелон, чтобы предупредить, что прошлой ночью Дочь заняли бандиты. А они на все способны.

— Много их там?

— Точно не знаю. Но с утра по телефону матерятся и угрожают. Недавно из Бахмача пришел состав. Машинист рассказывал, что в здании вокзала не осталось ни одного целого стекла, на перроне разложили костер, потрошат гусей, дерутся и пляшут казачки Антонова. Пассажиров грабят. Словом, сами решайте. Наше дело предупредить.

Соловей прикусил нижнюю губу, насупил брови. Молчали дежурный и машинист.

— Что вы в ближайшее время отправляете в ту сторону?

— Платформы с балластом. — Дежурный вытащил большие карманные часы на цепочке. — Отправятся через час пятнадцать минут.

— Ясно,— ответил Соловей и приказал машинисту поставить эшелон на запасный путь, а сам с дежурным пошел в здание вокзала. Он отстучал телеграмму в Гомель, чтобы Молокович выслал в Макашино отряд могилевских и смоленских курсантов.

Через час Соловей с Тараевичем, одетые в промасленные куртки, штаны и фуражки тормозных кондукторов,

ожидали состав с балластом. Как только он подошел к станции, оба вскочили на тормозную площадку последней платформы.

В самые рискованные разведки Соловей всегда ходил сам. Он верил в свое счастье, потому что умел выскользнуть из любой западни: прикинется то мужичком-недотепой, то горлохватом-мешочником.

За придорожными елочками тянулись бескрайние поля с еще прозрачными перелесками и одинокими дичками. Здесь и трава была позеленее, и ветерок потеплее, а спину пригревало солнце, затканное реденькой паутинкой пушистых белых облаков. Небо прорезали стремительные ласточки, на откосах ковырялись толстые блестящие скворцы, однако за лязгом колес не слышно было, о чем они там пересвистывались друг с другом. А Соловей так любил тишину полей и птичье щебетанье, запах пашни и подсохшего навоза. Ранняя украинская весна разбередила душу хлебороба.

Последнюю платформу мотало и швыряло из стороны в сторону. Паровоз сипло загудел, платформы сбились «с ноги» и, замедляя ход, беспорядочно залязгали.

— Подъезжаем! — крикнул Соловей Тараевичу, провел по густо заросшим паровозной сажей поручням, затем потер руки и приложил их к лицу. Теперь он стал похожим на замурзанного железнодорожника. Ту же операцию проделал и Тараевич. Они посмотрели друг на друга и весело рассмеялись.

Состав замедлял ход. Показалась станция. В приземистом здании вокзала куролесил ветер, на перроне валялись головешки и обгоревшая солома, но ни песен, ни криков не слышно. По всему видно, бандиты натешились, нагулялись и где-то в затишье спят, как пшеницу продавши. Показались трое парней с обрезами в руках. На двоих смушковые гетманки, на третьем шапка с гайдамацким шлыком. Похоже — часовые. А где же остальные и сколько их?

Паровоз остановился возле водокачки и начал сосать воду из длинной кишки. Соловей с Тараевичем спрыгнули на мокрый песок, для близиру открыли заслонки на буксах, постучали по рессорам и колесам и подошли к дебелой стрелочнице с необъятной грудью. Поздоровались.

— Это откуда же у вас «запорожцы»?

— Цэ ж скаженни бандюки з Шаповаловки. Пилы,

пилы, жинок, як цых курчат ловылы, а тэпэр сплять, що б воны нэ повставалы. А цьи тры дурни стэрэжуть.

— А тебя, часом, не поймали? — съязвил Тараевич.

— А трясцу им. У мэнэ свий козак е.

— А богато их здесь? — спросил Соловей.

— Та ни. Можа, яких с триддать и будэ. Куркули вси. У Борзни там богацько, та в Шаповаловци шайка стоить, а тут ни.

— А Борзна далеко отсюда? — продолжал Соловей.

— А вы что же, не тутошние?

— Из Конотопа, — ответил Тараевич, — беженцы мы.

— Можэ в шайку хочэтэ? Там всих бэруть. Погуляетэ, доки головы нэ поскручують. А до Борзни верстыв с дэсять будэ, нэ бильш. Идить як хочэтэ.

Хлопцы поблагодарили за совет, распрощались с бабою и двинулись назад вдоль состава. На них никто не обращал внимания. Обошли загаженный, заблеванный вокзал. На скамьях храпело несколько казаков. В углу примостился чубатый детина со шрамом во всю щеку. Прижавшись к нему, спала какая-то помятая бабенка.

Соловей пожалел, что оставил эшелон в Макашине. «Куркулей» можно было повязать, как сонных цыплят. А пока доберешься назад и возвратишься с красноармейцами, очухаются и попробуют огрызаться. Лишняя забота. Телеграфировать отсюда нельзя. Неизвестно, под чью дудку начальник станции пляшет. Да его и не видно нигде. Видать, забился под печь с перепугу. Значит, надо скорее возвращаться. Но как и на чем? Они еще побродили по станции, поговорили со сторожем водокачки, наслушались от него разных страхов о том, что происходит в Борзне и Шаповаловке.

Под вечер на тормозной площадке товарно-пассажирского поезда разведчики возвращались назад.

В Макашине к батальону Соловья присоединились отряды могилевских и смоленских курсантов. В теплушках стало теснее и веселее. Земляки и давние знакомые говорили о боях в Гомеле и возле Василевич, вспоминали друзей, погибших возле «Савоя».

Дежурный сообщил на станцию Дочь, что отправлен товарный поезд на Бахмач. От Макашина до захваченной бандитами станции даже на сырых чурках ехать не больше полутора часов. Солдаты вместе с кочегарами шуровали в топке и все чаще вглядывались в вечерний мрак.

Казалось, вокруг безлюдная пустыня и только, как привидения, проплывают черные придорожные елочки.

Впереди мелькнул огонек светофора, поутих грохот, дернулись вагоны, залязгали буфера. В теплушках не зажигали огня, чтобы казалось, что идет именно товарный состав.

В мерцании закопченного фонаря показалась фигура дежурного, поодаль стояли несколько бандитов с обрезами.

Когда состав остановился, красноармейцы начали соскакивать не на перрон, а на другую сторону поезда. Кто-то из бандитов выстрелил, чтобы предупредить своих. Дежурный погасил фонарь и пополз под вагон. Он не сразу сообразил, что происходит, и, только когда услышал топот сотен ног и короткие приказы командиров, выбрался из-под вагона.

— Товарищи, их там человек тридцать, — вздрагивая, бормотал он, — не бойтесь, их человек тридцать. Только с обрезами.

Из вагона сыпанул смертельной трелью пулемет, грянуло «ура», и красноармейцы начали окружать здание с выбитыми окнами. Бандиты прыгали через заборы, хоронились за овинами, мчались кто куда, чтобы хоть как-нибудь вырваться в темное поле. Слышалась беспорядочная стрельба и крики — пьяные сразу же протрезвели, лихие гайдамаки улепетывали как зайцы...

Соловей приказал дежурному зажечь в здании вокзала лампы. Все увидели разломанные скамьи, лужи на полу. Хотя окна были выбиты, в зале стоял тяжелый рвотный дух.

Бойцы привели растрепанную молодуху. От нее густо несло перегаром, выцветшие глаза глядели испуганно и дико. Соловей сразу узнал ту, что днем дремала на плече верзилы со шрамом на щеке.

— Думали, бандит за колодцем спрятался, глядим, а это баба, — рассказывали красноармейцы командиру.

— А может, казак в юбке. Давай проверим! — ржали хлопцы.

— Сказылыся, чы шчо? Одарка я. Ишла вид сусидки, аж чую, стрыляють и бэжуть онтоновци, я за колодежь и сховалась.

— А куда ж твой миленок с рассеченной мордой драпанул? — спокойно спросил Соловей.

Одарка захлопала глазами, зашмыгала курносым носом, намереваясь зареветь.

— Вин же мэнэ пид ляворвертам сюда привив. Ссильничав при всих, а тэпэр втик. У яр воны побиглы. Ловыть их, скажених. На Борзну хочуть пробыться.

Возиться с пьяной бабой было некогда. Соловей оставил человек десять бойцов, сдал им Одарку, а сам с отрядом выскочил на перрон. Далеко и поблизости слышна была стрельба, заливались лаем собаки, хлюпала под сапогами грязь.

Красноармейцы окружили станцию и село, два взвода побежали вслед за бандитами в яр.

Небо порозовело на востоке, в поредевших сумерках показались деревья, кусты и силуэты бойцов. У яра лежало несколько убитых бандитов. Остальные, прижатые к высотке, побросали обрезы. Среди них был и казак со шрамом во всю щеку.

К Соловью подбежал командир взвода Пачулис:

— Что будем делать, товарищ командир?

— Ведите их на станцию и сдайте конвою. Там этого «гайдамака» Одарка ждет.

— Бисова баба! — со злобой процедил тот и сплюнул сквозь зубы.

Красноармейцы связали бандитам руки.

— Чего крутыш? И так нэ втэчу, — огрызнулся тот же детина со шрамом на лице.

Бандитов повели на станцию, а Соловей с батальоном выступил на Шаповаловку.

Уже по-настоящему было светло. Батальон цепью растянулся по раскисшему полю. Бойцы катили пулеметы, держали заряженные винтовки наизготовку. На пригорке показалось большое село: сотни полторы приземистых мазанок стояло среди садочков и тополиных присад. Шаповаловка, казалось по всему, спала — ни дымка, ни живой души не видно. Красноармейцы залегли вокруг села. К ближней хате подошли Соловей и Тараевич. Они были в шинелях и в замасленных железнодорожных фуражках. Что за люди, никто сразу и не догадается. Осторожно постучали в маленькое оконце. За занавеской показалась чья-то голова. Выглянул заспанный старик с помятой бородкой.

— Видчини, диду, — по-украински сказал Соловей.

Лязнула щеколда, в дверном проеме появился взлох-

маченный старик в полотняных исподниках и в безрукавке из овчины.

— Чого тоби? — буркнул он.

— Чэрвоных тут не було? — спросил Соловей.

— А вы хто ж будэтэ?

— Вийско батьки Пэтлюры, — ответил Александр.

— Гэ, булы та сплылы. Всих пэрэдушылы на станцыи и в Борзни. И я штук с дэсять порэшыв.

Тараевич выхватил наган. Соловей сжал его руку:

— Отставить, товарищ Тараевич.

Дедок сообразил, что дал маху, упал на колени и заскулил:

— Брэшу, брэшу, товарищи, никого я нэ бачив. Догодыть хотив. Пэрэмишались тэпэр и билы и чэрвоны, и жовты, и сини. Сын мий, Грицько, у Щорса служить. Пошкадуйтэ старого. Набрэхав сам на сэбэ, чого и нэ снилося.

— Вставай, старик, — поднял его за худое плечо Соловей, — и покажи нам хату атамана.

— По ливу руку, биля колодэжа, зэлэною бляхою крытая. Вин сам з куркулями в Борзни. Там их вэлыка сила, и полковник Секира з ими. А тут тильки жинки да диты. Прямо идыть, — не унимался старик. Его узловатые руки дрожали, и сам он еще больше осунулся и согнулся.

Соловью даже жалко его стало. Видно было, что никакой он не «куркуль» и не бандит.

— Иди, дед, в хату и скажи бабе, что ты старый брехун. Так и скажи!

— Ей-же-богу, нэ брэшу. По ливу руку хата.

Соловей оставил засаду в хате атамана Антонова, и красноармейцы двинулись на Борзну.

Городок стоял на берегу небольшой речки. На той стороне белел молодой березняк, наполовину затопленный весенним половодьем. Под ногами шелестело прошлогоднее примятое ржище. Уже видна была церковь с голубыми куполами и сверкающими крестами. Вдруг ударили колокола, тревожно, как на пожар.

— Какой сегодня день? — поинтересовался Соловей.

— Пятница, — ответил молоденький боец.

— К бою... товсь! — покатилась по полю команда.

Красноармейцы развернулись плотной цепью, выкатили вперед пулеметы.

Версты за три от города их встретил густой винтовочный залп. Бойцы залегли. Шесть пулеметов накрыли бандитскую цепь в неглубоком яру. Пули свистели над головами антоновцев, не давая им возможности не только подняться, но даже пошевелиться. Некоторые попробовали отползти назад, но их прошили пулеметные очереди. Цепь красноармейцев передвигалась за плотной стеной огня.

А колокола гудели и гудели, созывая с соседних хуторов бандитские шайки. На окраине городка суетились живописно одетые фигуры, но соваться под пулеметный шквал не отваживались. Бандиты начали отползать по балке, искали спасения в канавах и залитых водой ямах; некоторые пытались отползти к высокому кургану, стоявшему у дороги, но так и оставались лежать в поле. В балке отстреливались из обрезов и винтовок. Выстрелы раздавались все реже и реже. Одним удалось перебраться к реке, другие притаились на дне яра.

Красный батальон достиг городка. Навстречу плеснуло дружными залпами свинца, с церковной колокольни заговорил пулемет. Бандиты держались. Они били из-за домов и оград, с чердаков и окон. Раненые красноармейцы не покидали строй. Рота могилевских и смоленских курсантов, которой командовал Тараевич, обошла Борзну с тыла и отрезала бандитам путь к отступлению. По колокольне ударили пулеметы красных. Антоновцы бросились врассыпную, организованное сопротивление прекратилось. Задолго до конца боя Антонов и полковник Секира в утлой лодчонке переплыли на другой берег реки и исчезли в березняке.

После полудня стрельба совсем утихла. Обезоруженных бандитов собирали на площади возле церкви. Их проклинали здешние мужики и бабы, порывались к тем, кто грабил и издевался над ними в дни пьяного разгула банд.

Из тюрьмы вышли сорок три коммуниста. Их не кормили, не давали воды, избивали до крови, выворачивали руки, ломали ребра. Поддерживая друг друга, они пришли на площадь, где собралась чуть ли не вся Борзна.

Красноармейцы небольшими группками отводили бандитов в тюрьму.

На средину площади вышел измученный, с большим синяком под глазом седоусый мужчина. Он снял с полы-

севшей головы шапку и низко поклонился красноармейцам:

— Спасибо вам сердечное за освобождение. Кулаки и эсеры замучили наших лучших товарищей: председателя ревкома Ивана Филипповича Гриценко, военкома Палийчука и многих преданных революции большевиков. Их мы не забудем, а бандитам не простим!

Кто-то протянул оратору красное знамя. Он высоко поднял его над головой:

— Родяньска влада жила и будэ жити на Вкраини!

К оратору подошли его товарищи, освобожденные из тюрьмы коммунисты, взялись за руки и, прихрамывая, поддерживая друг друга, двинулись по улице к зданию ревкома. Рядом с ними шел Соловей, за ними — большая толпа горожан.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ





1

Кто-то тихо постучал в окно. Переждал и постучал еще.

— Кого там нелегкая носит по ночам, — проворчала старуха. — Архип, выйди, глянь.

Расслышав в хате разговор, за окном отозвался знакомый голос:

— Отворите, это я, Роман.

— Я сам, батька, — вскочил с кровати Максим Левков и босой, в полотняных исподниках выскочил в сени. Лязгнул засов.

В сени вошел Роман Соловей.

— Не проспи советскую власть, сынок, — не здороваясь, начал он с порога. — Поднимай людей, хлопче.

Максим в потемках начал быстро одеваться. Поднялся и уже натягивал сапоги его отец.

— Еще дотемна в Хоромное пожаловали верхом Казик Ермолицкий, Плышевский и Перегуды. Все с винтовками и саблями, а у речки сотни полторы шляхтюков с оружием, торбы хлебом и салом напаковали. Сюда направляются. Большевиков, грозят, вешать и коммунию разгонять. Марылька моя сама слышала, как они друг перед другом выхвалялись и зубы скалили. Прибежала, передала мне. Я — за резвины да огородами, будто сено

под старыми стогами подобрать. Отирался по кустам, пока стемнело, а потом перебрался в лес, тут они меня, думаю, черта с два найдут. Пока сюда добрался, так и ночь настала. Так что живей подымайте людей, мужчины. К утру эти шершни здесь будут.

Максим оседлал маленькую мышастую кобылку и поскакал в Карпиловку, а Роман с Архипом будили мужчин в Ковалях и Лавстыках. Через час человек полсотни с винтовками, берданками и двустволками хлюпали по раскисшей весенней дороге в Рудобелку. А там уже собрались карпиловские и руднянские мужики. Корней и Тимох Володько привели человек пятнадцать вооруженных хлопцев. Они еще вечером примчались в Дуброву из Лучицкой волости просить у рудобельцев подмоги. Шляхетская банда разгромила их ревком, расстреляла председателя и секретаря и заняла волость. Хлопцы, сколько могли, отстреливались, но разве устоишь перед вооруженной до зубов оравой. Вот и ускользнули в Рудобельскую республику, дошли до Дубровы и остановились. А как только прослышали, что и тут дело до драки дошло, тотчас — в ружье и в волость.

— Разгулялись шершни, — рассказывали лучицкие хлопцы. — И не только по селам. Вот и в Гомеле бунт подняли. Там три дня пальба шла, из орудий по ревкому били николаевские офицеры. Так и шершнюки застенковые обнаглели. Зальют самогонкой зенки и, как волчья стая, лютуют. Ни малого ни старого, ни ока ни бока не щадят.

Лучицких парней принял в свой отряд Максим Ус. Высокий, широкоплечий, руки ни в одни рукавицы не влезают, а на лице виноватая детская улыбка, короткие усики, будто приклеенные, шинель еле прикрывает колени. Он шествует впереди своего отряда, пробирающегося задворками.

— Вот здесь и заляжем. Без команды не высовываться и не стрелять. Подпустим шершней поближе и тогда вдарим в лоб.

Хлопцы устраиваются за гумнами, за овинами и буртами. Левей от них залегли карпиловцы и руднянцы. Ими командует невысокий и юркий Тимох Володько, тот самый «кооперативщик», который еще при немцах понатаскал сюда гранат и патронов. Он всматривается в весенний предрассветный туман. За пригуменниками —

песчаный пригорок, кое-где торчат тоненькие сосенки, а за ними — на гребне — деревенский погост. Молчаливо стоят темные сосны; березки, словно обрызганные зеленоватой росой, вот-вот расправят клейкие листочки. Тихо-тихо вокруг. Догорают в небе последние звезды, яснеет над лесом восход.

Пригнувшись, задами семенит Максим Левков. Френч подпоясан широким ремнем с двумя подсумками, из-за ремня торчит наган, в руках немецкий карабин, полинявшая солдатская шапка надвинута на лоб.

— Держись, хлопцы. Из Бобруйска и Глусска идет подмога: послали телеграмму в ЧК. Найман выехал,— зашептал он Максиму Усу. Тот передал соседу.

В кустах на кладбище сверкнул и погас огонек. Наверное, кто-то чиркнул спичкой. Потом кусты зашевелились. На песчаном пригорке показалась бандитская цепь. Она то появлялась, то исчезала за приземистыми сосенками. Шляхтюки, видимо, надеялись внезапно ворваться в Рудобелку, захватить волость и перебить коммунистов. Им здесь известна была каждая хата, любого они могли узнать в лицо. Не знали только, что их уже ожидают.

Как только бандиты миновали сосняк, Левков крикнул «пли» и нажал на спусковой крючок карабина. Грянул залп из винтовок, наганов и берданок. Шляхтюки попадали, отползли за сосняк и начали отвечать дружными залпами. Свистели пули, впивались в толстые амбарные стены, откалывали щепки от заборов. С земли нельзя было подняться. Иван Ковалевич попытался подползти к воротам, но пуля прожгла плечо, он ойкнул и свалился в мокрый песок. Максим Ус одной рукой оттащил его за амбар, перевязал рану холщовым лоскутом от рубашки. Бледный Иван крепко сжал зубы, дышал с клекотом, на губах пузырилась розовая пена.

— Вот и отомстили шершни тебе за Гэлю, — прошептал Максим. Он приказал хлопцам отнести Ивана в безопасное место и скорее мчать к фельдшеру, а сам вернулся в отряд.

Стрельба не утихала. Было видно, как бандиты за сосенками переползают на другую сторону, чтобы зайти с тыла. Их обстреливали хлопцы из отряда Володько.

— Отойдем назад, поближе к амбарам, чтобы выманить в чистое поле, — передавал Левков по цепи.

На краю села густо лепились хаты. За ними легче было укрыться, чтобы сберечь людей. Партизаны отошли ближе к деревне. Бандиты обрадовались, что красные отступают, и начали занимать их прежние позиции. Боем командовал Порфирий Плышевский. Когда-то он был учителем, дослужился до штабс-капитана, и ему, старшему по чину и возрасту, Казик Ермолицкий передал свою банду, а сам вертелся возле него как угодливый щенок. Плышевский, укрывшись за гумном, передавал все команды через вестовых. Атаман не мог рисковать жизнью и не спешил под пули. Он знал, что в Гомеле бушует мятеж, на Мозырь наступает Петлюра, а если они захватят Рудобельскую волость и соединятся с основными силами повстанческого комитета Полесья, хозяином здесь будет он и уж тогда покажет «свободу» Левковым, Соловьям и всем этим голоштанным тварям.

Плышевский надеялся, что вот-вот наступит перелом. Он намеревался приказать Казику, чтобы тот вел своих людей через погост ближе к волости. Но рядом никого не было. И вдруг из-за хлева выскочил невысокий мужичок в расстегнутом френчике, с двустволкой в руках. Плышевскому показалось, что он его раньше не видел.

— Ты откуда?

— Из Гатка, — сбрехал тот, потому что знал, что вся шляхта с этого застенка подалась в Казикову банду.

— Мчись пулей до Казика и скажи...

А тот перехватил ружье и, не целясь, выстрелил Плышевскому в грудь. Его отбросило назад, подогнулись колени, и он шмякнулся на землю, тяжестью тела сминая прошлогодние сухие будяки. Офицерская фуражка покатилась в борозду, большой карман на френче набряк темными пятнами. А глаза еще моргали, раскрытым ртом он хватал воздух.

Мануйла Ковалевич, пригибаясь, задами бежал к своим, выстрелы гремели у кладбища, а на него никто не обратил внимания.

Шляхтюки отползали к глиняному карьеру. Ус запустил в них гранатой. Кто-то заорал: «Порфирия убили!» Охваченные паникой, бандиты перепрыгивали через трупы и скрывались в карьере, в густом ельнике, разбегались кто куда. Со стороны Рудни их обошел отряд Тимоха Володько и ударил с тыла. Очутившись в западне,

шляхтюки поднимали руки вверх, бросали оружие и голосили:

— Братцы, пощадите, пожалейте детей!

— Не берите греха на душу.

— От ето «братцы» отыскались! В волчьей стае ваши «братцы». А ну, вылазь!

— Хлопцы, пока суд да дело, не трогать! — удерживал своих бойцов Максим Левков.

Стрельба в селе прекратилась. Загнанных в глиняный карьер бандитов окружил отряд Максима Уса. Застенковцы стояли, прячась друг за друга. Тимох со своим отрядом бросился в сосняк догонять Казика и его дружков. Бандиты мчались как угорелые, не успевая отстреливаться. На валежнике и на сухом прошлогоднем вереске лежали подстреленные шляхтюки. Однако Казика среди них не было.

За сосняком начинался старый панский лес. В нем не то что человек, стог затеряется.

— Эх, щенка этого проворонили, раз-з-зявы, — ругался Тимох. — А мне так хотелось поговорить с Ермольчуком.

— Мы его, гада, из-под земли достанем, — утешали хлопцы своего удалого командира.

Возвратившись в село, увидели, что в кирпичный амбар на панском дворе ведут человек тридцать захваченных бандитов. Руки связаны ремнями и веревками. Многие тащатся без шапок, перемазанные глиной и кровью. Следом валит толпа женщин и стариков, бегут дети. Мужчины молчат, с ненавистью поглядывая на бандитов; женщины ругают и проклинают их:

— Что б вы околели, змеи подколодные!

— Не удавили вас матери маленькими, душегубов!

— Дайте нам этих кровопийцев, мы с них шкуру поспускаем!

Женщин успокаивал Максим Левков:

— Тише, товарищи! Придет ЧК и разберется по всем законам. Мы же не бандиты, чтобы самосудом карать.

— А бандитам можно наших? А-а-а? — не унимаются бабы.

Пленных ведут в пустой амбар. Скрежещет длинный железный засов.

У амбара устанавливается караул. Толпа начинает расходиться. Только мальчишки до позднего вечера тол-

кутся во дворе. Они играют в «красных» и «зеленых». Старшие ловят младших, вяжут им лозиною руки и сажают на старые розвальни. Те с плачем вырываются. Мальчонка с грязным носом, в длинном солдатском ватнике кричит:

— Я так не играю. Давайте меняться. Теперь мы будем красными.

Над селом, над кустами сирени и черноталом плывет зеленоватое марево. Снуют комары. Все притихло. За околицей, на всех дорогах ходят дозоры. Возле волости с винтовкой стоит Левон Одинец. Слышно, как теплый ветер хлопает полотнищем флага над крышей ревкома.

Ночью из Глусска на фурманках приехали десять милиционеров и три ревкомовца. Они остановились в волости. Слегка перекусили и отправились сменить на постах рудобельцев: предполагалось, что Казик с остатками банды попробует выручить арестованных. А поутру прибыл конный взвод красноармейцев и с ними председатель Бобруйской ЧК товарищ Найман. На нем кожаная куртка, перетянутая ремнем и портупеей, на боку маузер в колодке, на штанах потертые хромовые леи. Он ловко выпрыгнул из седла и с командиром взвода пошел в ревком. В зале сидело человек десять мужчин. Терешка рассказывал, как он догонял Ермольчука:

— Уложил бы его, ей-же-богу, уложил бы, если бы ельник, зараза, не такой густой. Как на то лихо, зацепился я за корневище, чудом лоб не раскроил. А он, как заяц, сиганул в сторону — и след простыл, вот пускай Тимох скажет, коли не верите.

Разговор оборвался, когда вошел незнакомый комиссар. Он поздоровался с каждым за руку, а заметив старого Романа, долго не отпускал его ладонь.

— Сын просил кланяться вам, товарищ Соловей.

— К слову, как он там?

— Герой, настоящий герой. Два бандитских восстания подряд разгромил.

— Бедовый ж очень, — не то с похвалой, не то с укором сказал Роман. — Ой, не сносить ему головы.

— Умная голова, батька, нигде не пропадет, — успокоил Найман и обнял старика за плечи.

К ним подошли Левков и Левон Одинец. Они поздоровались с Борисом как давние приятели.

— На улице не узнал бы тебя, — смерив взглядом стройную, подтянутую фигуру председателя ЧК, сказал Левков. — Ну, что будем делать с этими бандюгами?

— Сколько вы их перехватили?

— В Глинище двадцать пять человек да ночью еще на хуторе шестерых из клевера выволокли. И старый Ермолицкий с ними. Два нагана держал наготове, только выстрелить не успел. Жалко вот, сынок его, Казик, собака бешеная, как в воду канул. А по нему давно осина плачет. Он у них самый верховод.

— Если верховод, то непременно связан с контрреволюционным центром.

— Выходит так. Только, как они ни лезут из кожи, ни черта у них не выйдет. Не хотят землю отдать, так пускай кости в ней парят.

После полудня возле волости на пригорке поставили стол и длинную скамью. Слух о том, что будут судить бандитов, облетел Карпиловку, Рудню, Ковали, Лавстыки. Люди оставляли работу и спешили к ревкому. Они выстраивались плотным полукругом, рассказывали о вчерашнем, о том, как старые и малые хоронились по гумнам и картофельным ямам, чтобы не попасть под дурную пулю. А старая Тэкля забилась в печь и закрылась заслонкой, а выбралась — дочь как заголосит: «Черт! Черт!» — и ходу из хаты. Уж таков человек: минула беда, а он уже и зубоскалить горазд. Вспоминали, как Мануйла Ковалевич из двустволки ухлопал бандитского атамана.

Под ногами вертелись дети. Старшие позабирались на изгородь. Залезли на деревья, чтобы все слышать и видеть.

— Ведут, ведут! — как галчата, заверещали они.

Все повернулись и притихли. По песчаной улице красноармейцы с винтовками наперевес вели связанных бандитов. Большинство без шапок, в порванных рубашках и френчах, с пятнами засохшей глины на штанах и сапогах, ступали нехотя и понуро. Побледневшие лица казались серыми, шли они не подымая глаз. Брели молодые шляхтюки и пожилые мужчины с заросшими лицами. Были знакомые, из недалеких застенков, и нездешние, рыжие и рябые, с оплывшими физиономиями, и чернявые,

как цыгане. Они затравленно поглядывали вокруг. Впереди с маузером в руке шел бобруйский комиссар в расстегнутой кожанке и запыленных сапогах. Рыжие волосы выбились из-под шапки и прилипли к взмокшему лбу.

Как только бандитов вывели на пригорок, толпа подалась назад. Найман подошел к столу и как-то по-свойски, тихо заговорил:

— Товарищи, перед нами тридцать один бандит. Это не просто грабители, что тащат муку из клети и сало из кадушки. Они хотели отнять у нас свободу, завоеванную революцией, отнять землю, осиротить детей, жен сделать вдовами. Если б им хоть на день удалось захватить волость, они б совершили то, что в Лучицах и Копаткевичах, — стреляли бы и вешали коммунистов, жгли хаты. Все кулацкие банды действуют по приказу контрреволюционного центра. Так был поднят мятеж в Гомеле, кулацкий бунт в Черниговской губернии, разложен полк, направленный против отрядов Петлюры. Красная Армия разгромила мятежников и бандитов. С ними геройски сражался ваш земляк Александр Романович Соловей. А ваши партизаны разгромили и шляхетскую банду. От руки товарища Мануйла Ковалевича Плышевский получил свое сполна, а Казимира Ермолицкого из-под земли достанем и отдадим на ваш суд. Ну, а теперь, что с этими будем делать?

— Судить гадов! — отозвались голоса.

— Какой там суд? По ним давно осина плачет! — закричал Терешка.

Найман поднял руку:

— Тише, товарищи! С нашим отрядом прибыл член уездного суда товарищ Чубарев. Он знает законы, уполномочен вести дознание на месте и совместно с народными заседателями выносить приговоры врагам революции. Товарищ Чубарев, предъявите председателю ревкома свои полномочия.

К Левкову подошел мужчина с пышными каштановыми усами. На пропотевшей запыленной гимнастерке виднелась светлая полоска от портупеи. Он протянул председателю ревкома мандат. Максим Архипович его внимательно прочел.

— Все правильно. Член уездного суда товарищ Чубарев уполномочен вести судебное дознание и вынести при-

говор. А теперь нужно избрать двух народных заседателей и секретаря суда. Кого, товарищи?

— Параску!

— Якова Гошку!

— А Левон Одинец нехай пишет, поскольку грамотей! — раздались голоса и поднялось множество жилистых загорелых рук.

Судьи заняли места за столом. Левону принесли конторскую книгу и чернильницу-невыливашку.

Председатель у каждого спрашивал фамилию, имя, откуда родом и сколько лет.

Первым медленно к столу подошел Андрей Ермолицкий. Из-под нависших бровей сверкнули белесые, как у вареной щуки, глаза.

— Людцы добрые, разве ж вы меня не знаете? Сколь живу на свете, мухи не обидел. Помогал, чем мог. Родную дочь не пожалел: за батрака выдал. Ну, чем не пролетар? — Он рванул на волосатой груди линялую сатиновую рубаху. В толпе послышались рыдания. Он узнал голос Гэли. Громко откашлялся и продолжал:

— А наши комиссарчики от зависти надумались по миру с сумой пустить. Землю описали, три коровы в свою коммунию увели. Так вот самостоятельные хозяева и собрались в волость — управу какую-нибудь найти. А по нас стрелять начали. А ежели стреляют, отбиваться надо. Так я говорю?! Ну, и того... этого такая канитель вышла. Какие мы бандиты? Поговорить с Максимом Архиповичем шли...

— Ти-и-хо, ми-ирно! — не удержалась Параска. — А винтовки, обрезы да полные цинки патронов куда волокли? Может, ревкому сдавать удумали?

— Ей-же-богу, твоя правда, Параска, хотели сдать эти ломаки.

— Молиться пора, а он, как сучка шелудивая, отбрехивается да байки бает! — взъярился Терешка.

Председатель призвал к порядку.

— Расскажите, Ермолицкий, как лучицких и копаткевичских коммунистов убивали, хаты их жгли, детей в колодец бросали, — настойчиво спрашивал Чубарев.

Андрей оглянулся, как затравленный волк, сразу обмяк и сник.

— Я... я тут не при чем, гражданы-товарищи. Может,

это который из этих козырей нашкодил, а я... я ни сном ни духом...

Последние слова Ермолицкого заглушил гул возмущенной толпы.

К столу подошел молодой Гатальский и заговорил тихо как на исповеди:

— Что виноваты, то виноваты. Чего уж там. Каемся. Только вина не у всех одна. Плышевский, чтоб ему земля камнем, да сыночек этого «праведника», Казичек, сбили нас с панталыку. А мы что? Больше прятались, чем стреляли. Так что смилуйтесь надо мною и детками малыми, — и упал на колени.

— Виноват, так отвечай, а других не топи! Перед кем, болван, ползаешь? Опомнись! — прошипел похожий на ворона высокий шляхтюк.

Каждый изворачивался, притворялся, врал и сваливал вину на соседа.

Из-за спин протиснулся невысокий, заросший густой бородой мужчина; вышел на середину, вздохнул, посмотрел на бандитов и остановил взгляд на Ермолицком.

— Как убивали, вы могли и забыть, а меня, надеюсь, помните. Вот и головки моей работы на ваших чеботах еще не сносились. Неужели не помните, как ваш сынок ночью со своими головорезами хвастались, что в Лясковичах Аникея Ходку убили, хату его сожгли. Вы тогда еще собирались идти на Рудобелку...

— Иуда, христопродавец! Нажрался моего хлеба, чтоб тебя черви жрали. А за сына я не ответчик, — оскалился Ермолицкий.

— Товарищи судьи, хутор Ермолицкого был пристанищем всей бандитской шайки. Я там был и все видел своими глазами.

— Чтоб они тебе повылезали. Поклянись, ирод, на евангеле! — простонал Ермолицкий.

— Клянусь революционной совестью! — сказал Иван Мозалевский и отошел на прежнее место.

Судьи выслушали еще десяток свидетелей, дали последнее слово подсудимым. Каждый пытался оправдаться, просил сжалиться над его старостью или молодостью. Левон Одинец подробно записывал показания и просьбы подсудимых.

Судьи ушли в ревком совещаться.

Бандиты, свесив головы, молча сидели на длинных

скамьях, отчужденные, одичавшие в своем одиночестве. Некоторые лениво жевали сухие краюшки хлеба, не решаясь поднять глаз.

Все встрепенулись, когда за столом снова появился суд.

— «Именем Белорусской Советской Республики,— звучал твердый голос Чубарева, — руководствуясь революционной совестью, народный суд Рудобельской волости главарей кулацкой банды, пытавшейся на территории волости свергнуть советскую власть, приговорил...»

Перечень нескольких фамилий заключало короткое грозное слово. Дальше шли фамилии и сроки наказания.

Толпа молча расступилась, давая дорогу конвою.

В чистом весеннем небе порхали ласточки, на высоком, сломанном бурей тополе, клекотал аист, в желтовато-зеленой дымке стояли задумчивые вербы.

2

Под вечер, когда немного спала жара, на большой мощеный двор казармы 2-го Бобруйского батальона вошел невысокий старик с берестяным коробом за плечами.

— Вам кого, папаша? — по-особенному картавя, спросил часовой. Обличьем он был похож на здешних парней: чернявый, с круглыми цыганскими глазами, щеки, хотя и выбриты, отливают густой синевой.

— Мне ваш командир нужен, товарищ Соловей Лександра. Скажи, сынок, из Рудобелки к нему пришли.

Часовой пропустил старика и показал ему, куда идти. Старик попал в длинный гулкий коридор. Пахло кислятиной ротной каптерки, портянками и воблой. На низкой рыжей двери мелом было написано: «Командир». Старик потянул за ручку, вошел в темную комнату и поздоровался.

— Здорово, батя! — выскочил из-за стола Александр, пожал его тугую, шершавую ладонь и стал помогать снять поклажу с плеча. — Садитесь, батя, отдыхайте, а я мигом.

Перед командиром стоял высокий худощавый парень.

— Так сколько у тебя денег, товарищ казначей?

— Боле чем полпуда набралось. А иначе их не посчитать. Только на эти гроши спекулянты и глядеть не хотят. На соль или жито, может, что выменял бы.

— Красноармейцев обуть надо. Босой боец как конь стреноженный. Бери отделение, пройдитесь по магазинам, по сапожным мастерским. Расскажите, что белополяки наседают. Если не хотят снова подставлять зады под «двадзесце пенць», пусть помогают Красной Армии. Плати, сколько запросят. Ботинки, сапоги — все сгодится. Тебе ясно, Степан?

— Ясно, товарищ батальонный.

— Иди. Чтобы послезавтра все были обуты.

Казначей Степан Герасимо́вич вышел из комнаты.

— Круто, сынок, с людьми разговариваешь.

— Время такое, батька. Крутое время! Белополяки идут на нас. Вильно уже у них, Барановичи заняли, на Минск прут.

— Неужели сюда их пустите?

— Сила у них большая: аэропланы, танки, пушек без счету...

— Что это еще за «таньки» такие? — перебил его батька.

— Это... как вам сказать? Целая железная хата на колесах. Ползет куда захочет: лес — по лесу идет, канава — через канаву прет и лупит из пушек и пулеметов. А ее штыком не пропорешь и пуля не берет.

— И откуда это все на бедный люд берется?

— Откуда? Антанта, батя, ясновельможным панам все это «богатство» для смертоубийства мужика и рабочего подарила. Вот пано́чки и осмелели. Добро свое вернуть надеются.

— А нехай выкусят. Мы и «таньки» ихние, и «маньки» в трясине перетопим. И вы, хлопчики, держитесь.

— Ну, как там дома? — спросил Александр.

— Шершней помолотили трошки.

— Рассказывал мне Найман. Здорово вы их прижали. Жалко, что меня там не было.

— Сами, как видишь, управились. Дружок твой, Максим, головастый мужик, прямо генерал красный! За ружья и старые и малые взялись. Терешка прижмурится на правый глаз — и лупит, и лупит. Про Мануйлу ж слыхал? От его врезал. Ивана только Ковалевича жалко и молодицу его. Не натешились, не намиловались, а уже, бедолага,

вдова. Как похоронили Ивана, так через девять ден хлопчика родила. Сказывают, Иваном нарекли.

Александр внимательно слушал новости, словно сам видел старого Терешку, Мануйлу с пистоновкой и всех сельчан. Вспомнилась сиротская свадьба Гзльки с Иваном. Тогда верилось в их вечное счастье. А теперь одна осталась с мальчонкой на руках. И возвратиться некуда. Да такая и не вернется. Он прикусил нижнюю губу, зажмурился, как от боли.

— Вы уж, батя, скажите там, чтобы помогли бедняге. Пускай комбед постарается.

— А то как же. Две коровы и вола с хутора пригнали. Всю ее одежку и целый воз добра всякого Параска притарабанила. Только для нее все это пустое. Плачет. Молчит, а слезы сами льются. — Старик поднял крышку короба, вытащил аппетитный брусок сала, завернутый в холщовую тряпочку, достал комок масла в капустном листе, мешочек семечек. — Старуха с Марылькою тут тебе гостинцев напаковали, так возьми, оскоромься трошки, а то почернел весь на пустой своей похлебке, аж шкура к костям присохла.

— Ничего, на живых костях мясо парастет.

Александр встал, попросил отца обождать немного, взял гостинцы и вышел за дверь. А когда, через полчаса, шли они по двору казармы, над походной кухней стоял аппетитный запах жареного сала. Старый Роман повел носом.

— Выходит, что и вам какую-то заправку к приварку дают. Смачно пахнет.

— А то как же, дают немножко.

Роман прищурился, хитро глянул па сына:

— Шилом море, сынок, не нагреешь. Съел бы сам, так хоть толк был бы, а каждому и понюхать не достанется.

— Когда-то же сами учили: «Съешь хоть вола — одна хвала, дай понемножку всем на дорожку». Пусть хоть понюхают. — И они направились в сынову боковушку в длинной казарме с отсыревшей и облезлой штукатуркой на сводчатом потолке.

Роман жил у сына почти неделю. Ходил на учения, смотрел, как маршируют «один лапоть, другой бот», шле-

пают опорки, заслушивался, когда голосистый запевала выводил:

> Вы не вейтеся, черные кудри,
> Над моею больной головой...

Ему хотелось увидеть певца, но сотни глоток подхватывали песню, вытягивались небритые худые кадыки, веселее топали сбитые каблуки и костлявые ступни, обутые в опорки и морщаки. Он любовался подтянутым, ладным сыном, глядел на крепкие смуглые скулы, на глубоко запавшие глаза.

— Вольно! Разойдись! — командовал Александр.

Красноармейцы закуривали, прикручивали проводом подметки, собирались вокруг командира. Видно было, что он знает каждого: расспрашивал, что пишут из дому, шутил с ними, как равный. Подошел к бойцам и Роман. Красноармейцам понравился старик, они весело хохотали, вспоминая перловую кашу с рудобельским салом.

— Дома, батя, долго не задерживайтесь.

— И скатерть-самобранку свою не забудьте...

— Эх, и поужинал тогда, словно у мамки побывал, — вспоминал румяный хлопец с белыми бровями.

— От твоей будки и так прикуривать можно.

Все смеются, сконфуженно улыбается и розовощекий хлопец.

Роман Соловей долго прощался с сыном. Пытался проглотить тугой комок и молчал, чтобы не показать слезы. Одно только и сказал:

— Береги себя, сынок, ты же один у меня, да Марылька еще. Только девка что? Выскочит замуж, и хвамилия переведется. Ты уж гляди, не очень лезь на рожон.

— Не беспокойтесь, батя, — весело утешал Александр. — Я заговоренный. Ни одна пуля не взяла. А Максиму и всем нашим передайте, чтобы людей и оружие держали наготове.

Он дал отцу небольшую пачку желтых, шершавых листовок. На них крупными буквами было напечатано:

«Граждане! Темные силы в лице польских панов и легионеров угрожают завоеваниям революции. Все, кому дорого дело революции, записывайтесь добровольцами в Красную Армию для защиты советской власти от белопольских легионеров!

Бобруйский уездный Комитет Коммунистической партии (большевиков).

Военный комиссариат».

— Значит, опять война.

— Защищаться надо. Лезут как мухи на мед. Как-нибудь отобьемся, а там и по загривку дадим.

— Гляди, сынок, сила солому ломит.

— Что же, убегать от них?

— От волка побежишь, на медведя наскочишь. А береженого и пуля бережет.

Они неуклюже обнялись.

...Роман вез домой невеселые новости и заботы: снова надо за винтовки браться. А как же земля? Ждет она рук и ласки, тоскует по звонким и острым лемехам, по семени, по дожинковой песне. Жито как лес возле имения. Коммунары сеяли, бывшие панские батраки. Неужели потопчут его сапоги легионеров и те страшные «таньки»?

И снова думал о сыне. Один ведь у него остался. Костик с Петриком давно чужую землю парят, а он который год все воюет. Кабы не лезла эта погань, жил бы себе дома, хату бы свою как-то сложили, землю получили. Невестка уже была бы, а там, глядишь, и внуки посыпались бы. Такой девки нет, чтобы на Александра не заглядывалась. Вон Параска как сохнет. Да и не диво. Кто на такого хлопца не позарится?

Хоть бы вернулся живым. Старик нащупал за пазухой твердые, шершавые «афишки», подложил под голову короб, хотел задремать, но думы роились словно слепни: «Вот так порадую Левкова новостью! Тот с ревкомовцами и комбедовцами старается в коммуне — столовку устроили, детей кормят даром, людей подбадривают, а тут на́ тебе — снова война, беги и догоняй, стреляй и помирай».

Перед самыми Ратмировичами в вагонной духоте и гаме Роман все-таки уснул.

А в Бобруйске становилось все тревожнее. Военком Прокоп Молокович еле успевал принимать добровольцев из волостей. Приходили в лаптях, с полотняными мешочками молоденькие комсомольцы и вчерашние солдаты в полинявших гимнастерках, в обмотках и шинелях с николаевскими орлами на пуговицах. Надо было разбить всех по ротам, хотя бы кое-как обуть и одеть, необстрелянных — научить держать винтовку, слушаться команд и приказов.

Командиры от темна до темна маршировали с новыми красноармейцами по Березинскому форштадту, учили колоть штыком мешок с опилками и отбиваться прикладом.

В батальон Соловья дали роту добровольцев. Он сам ходил на учения с ними. Отощал и высох на солнце, даже глаза посветлели и запали глубже. На закате возвращались в казарму возле белой церкви, что в конце Минской улицы. Колыхались штыки, клубилась под ногами пыль, и звенела песня, которую всегда запевал командир:

Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать...

Пели с присвистом, с гиканьем, четко печатая по мостовой шаг.

Июньским утром в Бобруйск прибыл агитпоезд «Октябрьская революция». Приехал Михаил Иванович Калинин. В уездном ревкоме он говорил с коммунистами и командирами Красной Армии о том, что всем советским республикам надо объединиться для борьбы с мировым империализмом, призывал остановить наступление белопольских легионов.

А под вечер красные батальоны двинулись на Шоссейную улицу. У зеленого ресторанчика с затейливой деревянной резьбой над балконом собирались бобруйские литейщики, кожевники и портные. Более подходящего места, пожалуй, в городе и не было: широкая улица могла вместить огромную толпу, а бывший ресторанчик Зельдовича стоял на пригорке и отовсюду был виден.

На балкон вышли молодой чернявый Ревинский, крест-накрест перетянутый ремнями, высокий и широкоплечий Прокоп Молокович и Борис Найман в неизменной кожанке. За ними — невысокий мужчина лет сорока, в клинышке бородки местами пробивалась седина, поблескивали стекла очков. И фигурой и обликом он напоминал сельского учителя или землемера. Толпа сразу же замолчала. К перилам подошел председатель уездного ревкома.

— Товарищи, — начал Ревинский. — Советская страна в опасности! Белые банды Колчака и Деникина пытаются задушить революцию, а мировой капитал вооружил белополяков. Они идут на нас, чтобы отнять землю, фабрики и заводы, чтобы снова превратить нас в подневольных рабов помещиков и фабрикантов. Допустим ли мы это?

— Не позволим! — загудела толпа.

— Стоять насмерть!

Затем вперед вышел Михаил Иванович Калинин. Он заговорил спокойно и тихо. Было слышно каждое его слово. Его спокойствие и уверенность передавались всем. Калинин говорил о разрухе и голоде в республике, о сложном положении на фронтах, но его слова были полны веры в победу.

— Я не сомневаюсь, — говорил он, — что при создавшемся тяжелом положении на Западном фронте Россия будет защищать вас. Мы вступаем в полосу подлинного объединения. Этот союз даст нам возможность одолеть наших врагов и укрепить власть советских социалистических республик. — И закончил: — Всё для фронта, товарищи! Все на фронт, и мы победим!

Вверх полетели шапки; как весенний гром прокатилось над толпой дружное «ура». Бойцы 2-го батальона плашмя сложили винтовки в треугольник и крепко зажали их в руках. На импровизированную трибуну вскочил Александр Соловей.

— Товарищи красноармейцы, наш долг перед революцией, перед народом сейчас же идти на фронт и сражаться, не жалея сил и самой жизни. Второй интернациональный караульный батальон к бою готов! На Западный фронт, товарищи! Мы победим!

За ним поднялся командир 1-го батальона Степан Жинко и доложил о готовности защищать завоевания революции.

Прокоп Молокович не сдержался, пожал локоть Ревинского:

— Наши, рудобельские.

После митинга председатель ВЦИКа вместе с Ревинским и Молоковичем направился в Горбацевичскую волость. Михаил Иванович хотел посмотреть, как работают ревкомы и комбеды.

Утром батальон построился на плацу. На каждом — скатка, к ремням приторочены гранаты и котелки, из-за голенищ и обмоток торчат луженые и деревянные ложки, за плечами болтаются замызганные солдатские мешки, а у кого и посконная торба на веревочках. Солдатский скарб известный: обмылок, иголка с ниткой, запасные портянки да жменя рубленого самосада.

Строятся взводы и роты. Грузят на повозки тощие солдатские одеяла и набитые сеном подушки, снаряжают походную кухню.

Соловей, чисто выбритый, загоревший, подтянутый, переходит от роты к роте, торопит бойцов, но не суетится. Вылинявшая армейская фуражка немного тесновата ему и поэтому сползает на затылок, открывая светлую полоску на лбу, френч с большими карманами слегка великоват и коробится под ремнями.

— Батальон, на-пра-во! — командует Соловей.

Все повернулись, только один как стоял, так и стоит. Бойцы толкают его, шепчут: «Направо, тетеря». А он ни с места — стоит столбом и только моргает белыми, как у поросенка, ресницами.

Соловей медленно подошел к нему:

— Товарищ Парчук, видать, команду не расслышал.

Подбежали ротный и взводный. Ротный закричал:

— Красноармеец Парчук, направо!

— Не кричите, — остановил его комбат.

Наконец Парчук отозвался:

— Не могу направо, товарищ комбат, так как есть разутый.

Он поднял ногу в разбитом вдрызг ботинке. Из-под запыленной, оторванной головки выглянули грязные голые пальцы.

— Вот, небо говорит — обутый, а земля — босый.

Стоявшие рядом бойцы засмеялись, улыбнулся и Соловей.

— С голыми пятками только драпают, а мы ведь наступать едем.

— Именно наступать. Снимай опорки!

Парчук стал на колени и начал распутывать веревочные шнурки.

Нагнулся и комбат. Он ловко стащил сапоги и подал Парчуку:

— Обувай и не задерживай батальон. Портянки хорошо завертывай, чтобы мозоли не набил. И шагом марш!

Красноармейцы сначала искоса поглядывали, а потом без команды повернулись и загалдели:

— Живодер, средь бела дня командира разул!

— Товарищ командир, я ведь не того. Мне ваши не надо. Нехай каптенармус расстарается.

— Обувай, обувай и топай.

Соловей стоял босой на теплом булыжнике. Парчук не знал, что делать. Он хлопал белесыми ресницами и молчал.

— Быстрее, быстрее! — поторапливал командир.

— Такой и отца родного разует, — возмущались красноармейцы. — Душу черту заложит, гад печеный.

Парчук еще пробовал отнекиваться и оправдываться, но сапоги все же обул, а свои опорки привязал к скатке. Батальон тронулся со двора на станцию.

— Запевалы, на середину! — скомандовал Соловей.

Заколыхались штыки, сотни голосов подхватили:

Смело, товарищи, в ногу...

Песня звучала как присяга. Выпрямлялись спины бойцов, далеко-далеко глядели глаза.

А спереди и с боков, вплоть до самого вокзала, бежали те самые замурзанные хлопчики, что всегда встречали и провожали красноармейские части.

3

Над житом, над придорожным ракитником клубилась густая пыль. Солнце затянуло тонкое белесое марево. Привяли травы, склонились ромашки и колокольчики, шелестело былье под ногами. В пыльном облаке мерцали штыки, раздавался глухой и мерный шаг солдатской колонны.

Только что бойцы оставили тревожно притихший Минск. Казалось, люди поблекли, сжались в ожидании неотвратимого страшного нашествия. Они молча укладывали узлы на балагольские длинные дроги, спешили, куда-то ехали, а сами толком не знали куда.

Красноармейцы шли навстречу белопольской армии, чтобы преградить ей дорогу, задержать, не пустить дальше. К бобруйским батальонам присоединился борисовский, два новогрудских и минский стрелковый полк. Пополненные, шли они на Прилуки. Приближаясь к селу, пропотевшие, запыленные бойцы подтягивались и запевали песню. Выходили к воротам пожилые крестьянки; выбегали с выгоревшими, как солома, головками хлопчики; уцепив-

шись за мамкины подолы, украдкой поглядывали на шагающее войско девочки.

Привалы устраивали у колодцев. Скрипел колодезный журавль, бренчали котелки и булькали фляжки. К бойцам подходили молодухи, расспрашивали: «Часом, не встречали где моего?» Называли имена и фамилии. Ротные острословы начинали зубоскалить:

— А мы разве чужие? Выбирай любого!

— Только моргни, целый взвод прибежит.

Молодухи стыдливо отворачивались и отмахивались от охальников. Те, что побойчее, огрызались:

— Чего доброго, а кобелей хватает, а этим голопузым батька нужен.

Старые женщины прижимали к груди большие натруженные руки, качали головами:

— Когда же это люди навоюются?

— Колотят, колотят друг друга.

— А, боже милостивый, неужто снова панов пустите? — И выносили кто жбан холодного молока, кто кварту березового сока, кто теплых блинцов.

С середины улицы неслась команда: «Стройся!» Над заборами подымалась пыль, вырастал частокол штыков и колыхался то влево, то вправо.

Сзади гремели двуколки со снаряжением, гулко погромыхивали пароконные фуры и закопченные походные кухни.

Батальоны занимали фронт от Прилук до Острошицкого городка. Рыли окопы, на высотках устраивали пулеметные гнезда, а в ярах — блиндажи.

Соловей целыми днями был со своими бойцами. Когда замечал, что иной уже выдохся, безразличным топом говорил:

— Дай чуточку размяться, чтобы кровь не застаивалась, — брал коротенькую лопатку и так ловко нарезал кирпичики дерна, так заглаживал бруствер, словно всю жизнь только этим и занимался.

— Ловко у вас получается, товарищ комбат, — подзадоривал боец.

— Я, брат, за николаевскую войну землицы перекопал больше, чем ее было у князя Радзивилла... Люблю запах свежей пашни, а приходится окопы рыть.

Часто он помогал и белобровому Парчуку. Тот, моргая ресницами, жаловался:

— Прохода не дают, товарищ командир. За версту кричат: «Не жмут?» Я же не хотел, товарищ... Александр Романович.

— Да пусть смеются, — весело отвечал Соловей, — лишь бы мы с тобой были обуты. — И он хлопал по высоким голенищам своих сапог.

Вымотавшись за день, красноармейцы прямо в одежде спали по амбарам, на чердаках, на сеновалах. Командир каждую ночь отправлялся с бойцами в разведку, проверял дозоры, а на рассвете был уже на ногах. Вместе со всеми хлебал из котелка жиденький пшенный супчик, собирал в ладонь крошки клейкого овсяного хлеба и сыпал в рот.

Батальон укреплял подступы к городу. Соловей подбадривал бойцов, а сам тосковал и каждый вечер ходил к командиру полка, обрюзгшему и очень уж спокойному «военспецу».

— Мы же не инвалидная команда, чтобы только землю колупать. За двадцать верст отсюда идут бои, а мы отлеживаемся по сеновалам. Не отдадите приказ, снимемся сами! — настаивал Александр Романович.

Наконец снялся весь полк и занял позиции между Раковом и Койданавом. В первую же ночь у Старого Села вместе с разведчиками Соловей залег в ольшанике. Из озерца выбегала узенькая извилистая криничка. По карте он определил, что это Птичь. И откуда только берется? Кажется, пригоршней вычерпаешь, а она себе бежит, пробивает дорогу среди цепких корневищ и глины, протачивает камни, ширится и набирается сил. Вон какая она широкая в Глусске и возле Рудобелки! Вот так и они, начинались с ручейка, а ныне уж никто не остановит. «Лучше не становись поперек дороги — смоем, чтоб и следа не осталось!»

Росистая листва щекотала шею, пахло скошенной травой, мокрым лугом, где-то кигикал коростель — ночь жила своими запахами и звуками. А командир прислушивался к другим звукам, вглядывался в темноту, слышал, как стучит сердце, как дышат его разведчики. Только он хотел подняться на высотку, как показалось, что над ней зашелестело жито, глухо застучали копыта, звякнули стремена. Соловей напрягся, припал к земле и увидел, как над житом выросли три темных силуэта, выплыли лошадиные головы. Зашевелились и его бойцы.

— Ни с места, — шепнул командир.

Всадники осторожно съезжали в низину, топча росное жито. «Нет, это не ночлежники, — окончательно уверился Александр, — за спинами — карабины, на головах — угластые конфедератки. Их трое, нас пятеро».

Окружив белопольских разведчиков, красноармейцы рассыпались цепочкой. Баюкающие звуки ночи оборвал залп. Один жолнер исчез в жите, а лошадь как ошалелая рванулась в долину. Двое пригнулись и завертелись на месте. Они хватились за карабины, пришпоривали коней, а те, оглушенные неожиданными выстрелами, взвивались на дыбы.

— Стрелять ниже! — крикнул Соловей.

Лошадь осела вместе с седоком. Второй солдат вывалился из седла и пополз по житу. Бойцы, раздвигая потяжелевшие мокрые колосья, бежали к польским разведчикам. Подняв руки вверх, молоденький капрал повторял:

— Пан, стшелять не тшеба.

— А чего тебя нечистая пригнала сюда? — И Парчук замахнулся прикладом.

— Отставить! — крикнул Соловей. — Лошадей лучше перейми.

Убитого приторочили к седлу, пленным связали руки и повели лугом в село.

...Через два дня приблизились бои. Сначала глухо гудели орудия, где-то заливались пулеметы, а под вечер из березовой рощицы вылетела конница. Как молнии сверкали сабли, гудела под копытами земля. Батальон Соловья занял только что вырытые окопы и напряженно ждал, когда приблизится кавалерийская лава. Когда уже можно было различить в пене морды лошадей и ремешки от фуражек под уланскими подбородками, залпом выплеснулся свинец, длинной очередью зашелся пулемет, сытые рысаки поднялись на дыбы, один за другим через головы лошадей летели на землю всадники. А из леса мчались и мчались новые эскадроны. Из окопов швыряли гранаты, и те рвались, вздымая фонтаны земли и дыма. Команда «Огонь» уже не требовалась, батальон палил отчаянно и дружно.

С бруствера сполз пробитый навылет Парчук, в узкой траншее стонали раненые. Над окопами прошелестел один, затем другой снаряд. Они падали и рвались за се-

лом. Загорелся сарай. Его никто не тушил. Сельчане бежали в лес.

День и ночь гремел бой. Редели красные батальоны. Раненых отправляли в Минск, убитых ночью хоронили у дорог, на сельском погосте и просто в поле. Села переходили из рук в руки по нескольку раз в неделю.

Жгло солнце, трескались от жажды губы, глаза опухали от бессонницы. Поле боя оставлял только тот, кого выносили.

Бойцы видели своего командира то за пулеметом, то он вскакивал с гранатой на бруствер, то первый подымался в штыковую атаку.

— Отчаянный, — говорили про него. — На той войне два Егория имел. За эту и четырех мало.

Легионеры наседали и наседали. Откуда только брались они, сытые, одетые как на парад, с пушками, пулеметами, с новенькими карабинами и длинными сверкающими палашами.

— Откуда? Полсвета их кормит и одевает. Придушить нас Антанта хочет. Только мы живучие, — растолковывал красноармейцам Соловей. Он проявлял немало находчивости и хитрости в боях, чтобы сберечь людей, но с каждым днем их становилось все меньше. А тут еще заболел тифом командир полка. Его отвезли в госпиталь. Собрались ротные и батальонные и, долго не рассуждая, избрали командиром Александра Романовича.

Весь июль красноармейцы то наступали, то отходили. Уже рыли окопы и могилы на окраинах города. Почернели, пообтрепались бойцы и командиры — если не знаком, то и не узнаешь, кто из них кто, — изголодались, обовшивели. Залубенелые черные бинты сдвинулись на глаза, и не было времени, чтобы их перевязать.

Из Минска уже выехал штаб Западного фронта, за ним выезжали в Смоленск различные учреждения и канцелярии, по дорогам на Игумен и на Пуховичи спешили беженцы. Ветер гнал по опустевшим улицам города обгоревшую бумагу, мусор и солому. Все чаще и чаще била по Минску артиллерия.

На окраинах горели деревянные домишки. Поднимались столбы черного дыма. Над городом стоял гул, похожий на погребальный плач.

10-й Минский полк, которым командовал Соловей, сдерживал пилсудчиков на Лагойском тракте, дрался воз-

ле татарских огородов и постепенно отходил на Козырево. Командир высох и почернел и с каждым днем становился все более решительным и злым.

— Запоминайте дорогу, — говорил он, — по ней нам наступать.

А пока что силы были неравными. Нужно было беречь каждого бойца, каждый патрон, чтобы не пустить пилсудчиков дальше, чтобы вернулись к матерям сыновья, мужья — к женам, отцы — к детям.

Соловей знал, как тяжело терять близких, жалел каждого бойца, как родного брата. Он понимал, что Минск им не удержать, но нельзя больше пятиться. Эх, если бы сюда сотни две рудобельцев, пушек и снарядов хоть немного, они показали бы белопольской шляхте, откуда ноги растут.

Бои шли уже на улицах. Легионеры заняли вокзал и вышли на окраину. Соловей отвел остатки полка в тихую рощицу возле Лапич. Полк передал своему земляку и другу Степану Жинко, а сам втиснулся на какую-то платформу с рельсами и поехал в Осиповичи. Он надеялся пополнить батальон комсомольцами.

Но городок был почти пустой: временами на улице попадались то прихрамывающая бабка, то ковыляющий куда-то дед с седой бородой, из-за ворот выглядывали притихшие дети. В военкомате человек с деревяшкой вместо ноги заталкивал бумаги в большой мешок из-под соли.

— Ничем помочь не могу. Кого мог, отправил, — ответил он. — Приказано все вывозить в Бобруйск.

На дверях волостного комитета комсомола висел кусок фанеры с размытой чернильной надписью: «Все ушли на фронт».

В полк Соловей возвращался один. Моросил теплый дождик, шелестели поспевшие овсы, а где-то на западе рокотал гром. Прислушался. Нет, не гром. Била артиллерия.

4

Жито созрело рано: только налилось и сразу пожелтело, заколыхалось переливчатыми волнами. В низинах потяжелело, согнулось, а на солнцепеке да на песке ко-

лосья торчали одиноко, словно маковки. Коммунары от зари до зари пропадали в поле. Вытащили панские жнейки, приладили грабельки к косам и с первой росой укладывали в валки миром посеянное жито. В коммуну вступили извечные панские батраки. Завести свое хозяйство никак не выпадало, не было к чему руки приложить: ни кола ни двора, ни ступы ни толкача. А тут все на месте: и лошади, и плуги, и жнейки остались. Коси да свози в амбар — все общее, все наше.

Если была какая нужда, шли в ревком к Максиму Усу, и он выдавал из панских покоев под расписку буфеты, кресла, столы, тарелки и ложки для коммунарской столовой. Обедали все вместе, с детьми и женами. Казалось, собралась одна большая семья, веселая и работящая. В панских тарелках с позолоченными бережками болталась сизая затирка, комками лежала пшенная каша с тыквой, в голубые чашечки повар разливал густое холодное молоко.

— Что это за мерка у тебя? — бурчал Терешка. — Поп на причастии и то больше дает.

— Может, пан Терешка прикажут подать жареного рябчика, цвибельклопс и шампанское? — в шутку склонялся перед ним бывший панский поваренок.

— Жри тех клопов сам, а человека накорми, чтобы в брюхе крупина за крупиной не гонялась с дубиной.

— Вот кабы дед так на работу налегал, как возле миски старается, — вставила Параска.

— А кто под суслоном будет лапти сушить?

Все весело смеялись, а дед топал на свое место, продолжая ворчать.

Затем коммунары вставали из-за стола и шумной гурьбой направлялись в поле. Дети сворачивали перевясла, женщины вязали снопы, Терешка ловко складывал их на воз. Скрипели колеса на полевых дорогах, росли скирды в длинном амбаре, на току гудела конная молотилка и спорым дождем сыпалось теплое зерно. Женщины, повязавшись до самых глаз платками, убирами солому и отгребали зерно.

В амбар пришел Максим Ус. Он заведовал продовольственным отделом ревкома и целыми днями мотался по бывшим имениям, застенкам, хуторам, реквизируя муку, крупу и сало для Красной Армии. Сам отвозил в Рат-

мировичи и в Бобруйск, сдавал каптенармусам частей, а в ревком приносил кое-как нацарапанные расписки.

— Заскучал без работы Максим, — подтрунивала Параска. — Может, хочешь в привод впрячься, а то Буланый пристал.

— А не по тебе ли это, вдова, он сохнет, что сюда примчался? — силился перекричать молотилку Никита Падута.

Максим только оскалился и подмигнул Параске, сдвинул на затылок армейскую фуражку с темными пятнами пота, насупил густые брови так, что глаза сделались узенькими как щелочки.

— Мигом надо провеять и везти в Бобруйск. Красная Армия бьется с легионерами, а хлеба нет.

— Неужто до Бобруйска доперло это лихо панское? — испуганно спросила Параска.

— Бобруйск пока что наш, вот он и просит хлеба. — И Максим протянул Параске бумажку. — Давай, товарищ комбед, сполняй приказ ревкома. А вернется председатель, отдашь ему эту цидульку.

Параска отошла в сторону, кликнула своего Василька, чтобы прочитал. Он медленно читал приказ ревкома на синей бумаге:

«Коммунистическая партия (большевиков). Рудобельский волостной Комитет. 8 августа 1919 года. Председателю коммуны в имении Рудобелка. Волостной ревком предлагает вам отпустить и доставить в город Бобруйск не позже 10 августа 50 пудов жита, 20 пудов муки, 3 пуда соли для воинских частей Красной Армии.

Основание: отношение Бобруйского отдела обеспечения от 3 августа 1919 года.

Председатель ревкома М. Левков.

Зав. прод. отделом М. Ус».

Параска постояла с минуту, сняла платок, выбила из него пыль, повязала «бабочкою» и помчалась по дворам.

— Бабоньки, подсобите трошки повертеть арфу [1], живо вот так нужно, — просила она каждую встречную.

— Что это оно тебе так приспичило? — спрашивали бабы и, дождавшись Параскиного ответа, семенили к амбару и до полуночи веяли зерно для «бедных солдатиков».

[1] Веялка (*бел.*)

Параска крутила ручку, засыпала зерно в бункер, оттаскивала полные мешки, а из головы не выходил Александр: «Как он та́м? Жив ли? Поглядеть бы только, и то легче было бы. Может, и ему перепадет ломоть нашего хлеба. Нехай бы хоть вспомнил, подумал. Слово б сказал — на край света за ним пошла бы. Но где там! Такой разве скажет?» Она задумывалась и уже не видела ни мешков, ни гору жита, не слышала, как тарахтит веялка и гудит молотилка.

Ночью мужчины на четырех фурманках повезли «солдатский паек» в Бобруйск.

Под самым городом шли бои. Грохотали орудия, за Березиной горели села, по улицам везли раненых красноармейцев. Соловья в городе рудобельцы уже не нашли. Говорили, что он вместе с военкомом выехал куда-то под Смоленск формировать новые части. Возвращаясь домой, ездовые еще долго слышали гул боя, видели зловеще багровое зарево на небосклоне. Отчаянно гнали лошадей, чтобы оторваться от войны, чтобы не слышать ее грохота, не видеть пламени пожаров. Только разве убежишь, когда она катится следом? Неужто докатится и до их лесного края? Опять придется браться за винтовки, защищать отвоеванную землю, и так уж густо политую кровью.

Возвратившись домой, возчики рассказали обо всем Максиму Левкову. Тот молча слушал невеселые новости и в тот же вечер собрал коммунистов и членов ревкома, комбедовцев и бывших партизан. Речь его была короткой и простой. Он говорил, что вооруженные Антантой банды Пилсудского заняли Минск и подошли к Березине. В бою под Бобруйском сразило снарядом нашего земляка, командира батальона Степана Жинко. Услышав это, старый Терешка, не снимая шапки, перекрестился: «Царство ему небесное».

— В небесное царство, дед, ворота широкие, а за земное еще драться надо, — сказал Максим Ус.

— Все ты меня подсекаешь, как того пескаря. Воевать так воевать, чтоб они в горячке выли. Чего только этим злыдням надо?

— Чтоб ты опять батраком панским был, — уже по-свойски ответил Максим.

— А энтого они не видали? — И дед сделал выразительный жест. — Кто сладкого попробовал, тому горького

и под палкой не вольешь. Нонче и дурак знает, за что ему стоять.

— Так какая ж ваша думка, мужики? — спросил Левков.

— Защищать свои хаты, свою волю и землю! — загудели голоса.

— Станем стеной на Птичи — и ни с места!

Левков прижмурил глаза, сказал:

— Кабы так на деле, как на словах получается. Красная Армия не устояла под Минском, может, и Бобруйск уже сдала. Пусть и ненадолго, но сдала. А как с дедовыми пистонками защищаться?

Вскочил невысокий юркий Тимох Володько:

— У меня от «кооперации» три ведра патронов осталось, ящик пироксилина и полмешка гранат. Винтовки и карабины, считай, у каждого под стрехою торчат. На первое время отобьемся, а там и у панков можно будет разжиться.

— Правду Тимох говорит, — поднялся широкоплечий Левон Одинец. Про его силу вся волость знала: медведя кулаком уложит, за телегу ухватится — конь ни с места. Взвалит Левон бревно на сани — вези смело, не осилит — лучше и коня не запрягай. Как все сильные люди, он был всегда покладистый и спокойный. А тут разошелся: — Да лучше помереть, чем отдавать то, что столько годов отвоевывали. А то, может, опять к Врангелю в батраки наниматься? Он теперь у белых за атамана, а, сохрани бог, приедет — шкуру до костей спустит. Я думаю, товарищи, надо сегодня же поделить всех на отряды, выбрать командиров, а как только сунутся сюда легионеры, биться до последнего, ни себя, ни их не жалеть. Мы погибнем, так нехай наши дети по-людски живут. Кто за командира будет, спрашиваете? Игнат Жинко и Андрей Путято чем не командиры? А взводными Максима Уса и Тимоха Володько назначить. По селам разведчиков отправить. Кого? Хоть бы Марыльку Соловьеву. Эту девку черт и в мешке не поймает. Пацанят к родне отправить, нехай принюхиваются. Ежели что такое, сюда передадут. Ну, а Максим Левков всем верховодить будет.

— Ты, браток Левон, как тот Соломон рассудил. Лучше и не придумаешь, — не удержался Терешка.

— Оно и вправду, Левон все ладно придумал, — посветлел лицом и улыбнулся Левков. — Собирайте муж-

чин, командиры. Расходитесь по селам, потолкуйте с людьми, чтобы каждый свое место знал.

— А бабы что? Калеки? — вскочила Параска. — Разве ж я своим голопузым лиходей? Пиши и меня, Андрей Степанович, — повернулась она к Путято. — Пока стрелять научусь, кашеварить буду, исподники и рубахи ваши стирать. Может, и в лес податься придется, так и там дармоедом не буду.

Через неделю в каждом отряде было уже человек по двести. Партизаны заняли Старую Дуброву: слева — дорога за Птичь, справа за две версты от села начинался лес, глухая панская пуща — зеленая крепость, перевитая невидимыми стежками. В ее глубину, на глухой остров, заросший осинами, дубняком и лещинником, каждый день пробирались мужчины из взвода Максима Уса. Они валили осинник и ельник, кололи его на длинные плахи. В одной вырубали «ухо», в другой вырезали шип и ставили большие шалаши. Накрывали их дерном, еловыми лапками, а то и мхом.

— Вот и фатеры на зиму есть, — любовался работой Максим Ус. — Коли выкурят из Дубровы, отселева будем лупить по ягомостям.

На остров привезли запас муки, соли, даже котел, вывороченный из панской кухни. О том, что происходит на острове, знали только ревкомовцы и хлопцы из Усова взвода.

Исчезла из Хоромного и Соловьева Марылька. Сказала, что идет за реку, тетку проведать. Тайком переговорил Левков и с пастушками, гонявшими скотину на прибрежные покосы у Птичи.

— Ежели что такое заметишь, посылай подпаска. Нехай шпарит в ольшаник до наших постов, а мы уж тут сообразим, что делать, — толковал хлопчикам председатель ревкома.

Раза три из Перекалья добиралась маленькая хромоножка Лина, двоюродная сестра Марыльки. Обвешается котомками, положит в них краюх да корочек, посошок в руку и шкандыбает где дорогой, где полем — ни дать ни взять побирушка убогая. Завернет к Параске, лохмотья сбросит, не девка — лялька: глаза синими искорками горят, волосы льняной волной на плечи спадают. Подвернет искалеченную ножку на лавочке и слово в слово пересказывает, что велела передать Марылька.

— В Косаричах, Хоромцах и в Поречье легионеры стоят. Немного, человек по двадцать. Офицер у пореченского попа в доме живет, с поповнами под ручку гуляет, а ночью караулы обходят. Объявился ж и Казик Ермолицкий: говорили, в Хоромцах возле вахмистра отирается. Все по болоту шныряет да ищет броду на реке, чтобы какнибудь через Затишье сюда поляков привести. Надеются из лесу как снег на голову свалиться на вас.

Когда приходила Лина, Параска посылала своего старшенького, Василька, за дядькой Максимом или Левоном. Чаще приходил Одинец и так дотошно все выпытывал, будто допрос снимал: и где у них посты стоят, и сколько пулеметов в каждом селе, и как к народу относятся?

Утром Лина снова натягивала свое тряпье, крест-накрест обвешивалась сумами. Тревожилась Параска, чтобы не схватили ее поляки.

— На ту сторону возле хутора на челне старый Кашпар перевезет, а там не тронут — нищенка, латышка, а нас они почему-то за своих считают. — И Лина, прихрамывая, покидала село.

Партизаны верили девушке и готовились встретить поляков у Затишья. Расставили посты, подстерегали на каждой лесной стежке. Тишина была тревожная. Из-за реки доходили слухи, что в имения и села прибывают новые части, по полям гарцуют уланы, рубят на ученьях лозу и хвастаются, что вот так же поснимают головы всем «рудобельским бандитам» и освободят усадьбу барона Врангеля. Однако уплывало лето, а они почему-то не торопились выступать на Рудобелку.

Когда отшумел листопад и заморозки прихватили поля и дороги, эскадрон улан ночью занял Затишье, надеясь внезапно ворваться в волость, схватить ревкомовцев и открыть дорогу пехоте.

Только в каждом селе за рекой были партизанские глаза и уши. Отряд Игната Жинко собрался в кустарнике, возле гнилой топкой канавы. Она заросла аиром и лопухами, а сверху подернулась тонким ледком. Над канавою провис шаткий мостик из жердей. Только через него и можно было переправиться на Рудобелку. Взвод Тимоха Володько перешел на другой берег, откуда должны были ехать уланы, и залег в ракитнике. Максим Ус со своими хлопцами остался по эту сторону канавы. В са-

мом начале мостика они оставили несколько жердей и на середине раздвинули их так, чтобы ноги лошадей как раз провалились между ними, а в конце мостика сбросили настил совсем. Сами цепочкой рассыпались вдоль канавы, укрылись за пожелтевшим камышом и кустами. Это они называли Соловьевской засадой.

Нудно шелестела сухая осока, будто серп о серп скрежетала камышовая листва, по небу ветер гнал взлохмаченные тучи. За ними то прятался, то выглядывал тоненький, холодный молодой месяц и заливал болото синеватым светом. Вытягивались длинные тени от кустов, поблескивали тонким темным ледком лужи и канава.

По скованной первым морозцем дороге гулко зацокали копыта. Из лесу выползла длинная колонна всадников. Месяц освещал тускло поблескивающие вороненые стволы карабинов, отполированные стремена, начищенные шпоры. Уланы ехали медленно и осторожно. Как только первые лошади ступили на жердяной настил, из ракитника сверкнуло пламя, тишина разорвалась, будто кто-то большой и сильный резко рванул настывшую огромную простыню. Кони бросились вперед, задние отскочили в сторону, поднялись на дыбы, чтобы перепрыгнуть канаву, и, проламывая тонкий ледок, со всего маху летели в густую холодную жижу. Передние проваливались между жердинами на мостике, бились мордами, силясь подняться. Жолнеры хватались за карабины, но залп с тыла, словно ужасный смерч, погнал лошадей к канаве, и они с разгона влетели в ледяное болото. Неожиданно с фронта ударил взвод Максима Уса.

Жуткий нечеловеческий рев, стоны и крики, казалось, долетают до неба. А молодой месяц выплывал из-за косматых туч и удивленно смотрел, как бьются и умирают на земле люди.

В гнилой канаве захлебывались и храпели лошади. Кто-то пытался выползти из трясины, обламывая сухие стебли камыша. Беспорядочно палили уланы и рудобельцы.

Когда все утихло, партизаны перебросили через канаву снятые с моста длинные жерди; балансируя на них, наклонялись, срезали ремни и вытаскивали из болота скользкие карабины. От мороза они сверкали, как покрытые тонким стеклом.

У самого берега, по грудь в трясине, лежал Казик Ермолицкий. Руки примерзли к рыжей осоке, воротник новенького мундира был залит кровью.

После боя у канавы партизаны воспряли духом. А тут еще из-под Копаткевич пробивался к своим эскадрон красных конников и завернул в Рудобелку.

— Наши пришли! Наши пришли! — мчась по улице, кричали дети.

— Шапки с пиками, и на седлах все! Ей-же-бог, во-о-от с такими пиками. — И пацаны поднимали над головами пальцы.

Бабы, старые и малые высыпали на улицу. Молодухи на загнетках жарили яичницы с большими шкварками и радовались, что снова пришли свои и не пустят теперь сюда панский сброд.

Командир эскадрона, невысокий, с рябоватым лицом хлопец, сидел в ревкоме, рассказывал, как они пробивались по вражьим тылам, и диву давался, что здесь нет белополяков.

— Как только сунутся сюда, мы их сразу в православную веру обратим, — похохатывал Максим Ус. — Крещение в болоте им уже устроили.

— А теперь самый раз по Поречью ударить, — предложил Андрей Путято. — Мне там каждая стежка знакома. Наши отряды зайдут с тыла, а красная конница — с фронта.

— Подмогнем, — согласился командир эскадрона.

За ночь старый Кашпар через реку с ледяными закраинами у берегов перевез отряд Андрея Путято на правый берег. Партизаны исчезали в прибрежных зарослях, ельниками и рощами пробирались в лес, подступавший к самому Поречью. Обошли деревню и залегли. Было пасмурно и тихо вокруг. Ветер гнал колючий промерзший песок, свинцом бил в лицо, засыпал глаза. Притихшая деревня стояла на пригорке, над соломенными крышами торчала беленькая аккуратная церковная колокольня. Сквозь оголившиеся присады виднелась жестяная кровля поповского дома. Партизаны знали, что там квартируют офицеры, а солдаты заняли школу и живут по хатам. Надобно их выкурить из села, да так, чтобы своих людей не задеть.

Андрей Путято рассчитал, что на рассвете красная

конница проскочит мост и подойдет к Поречью. Он прислушался.

— Дядька Терешка, послушай и ты, не иначе — они.

Старик сдвинул на одно ухо заячий треух и прильнул к борозде.

— Эге ж, Андрейка, слыхать.

— Отряд, пли! — скомандовал Путято.

Грохнул и прокатился залп. То в одном, то в другом конце села отвечали выстрелами. Наверное, очухались часовые. До партизан долетали крики, слова команды, вопли раненых. И вдруг на дальнем конце села послышалось протяжное многоголосое «ура!». На пригорке появилась конница, засверкали шашки, захрапели кони. Развевались на ветру крылья островерхих шлемов. Жолнеры выскакивали в расстегнутых мундирах, без шапок, в одних носках; ошалевшие, перепрыгивали через заборы, прятались в хлевах и за амбарами. Некоторые на неоседланных лошадях рванулись по узкой улице на кладбище в молодой сосняк. У церкви заговорил пулемет и свинцовым шлагбаумом перекрыл дорогу на улицу села.

Красноармейцы осадили лошадей, спустились в низину и начали окружать Поречье. Партизаны ползли к огородам, крались сквозь кусты, растущие на кочковатой пойме, чтобы с тыла прорваться на улицу и заткнуть огненную пасть пулемета, прикрывавшего отход легионеров. Белополяки, как из дырявого мешка, сыпались с другого конца деревни и пропадали в сосняке. Наконец дорогу им перерезала красная конница, ливнули свинцом кавалерийские карабины, засверкали клинки.

Дед Терешка не поспевал за молодыми. Сдвинув набекрень треух, он выскочил из-за куста крыжовника и заметил за стогом желтый мундир.

— Стой, пся крев! — крикнул старик, вскинув винтовку, но из-за угла прогремел выстрел. Терешка вздрогнул, пошатнулся, схватился руками за лицо и медленно стал оседать на грядку с мерзлыми кочерыжками срубленной капусты.

Его нашли после поля. На жиденькой бородке запеклась кровь, раскрытые глаза глядели в холодное серое небо.

Разгром партизанами и красной конницей пореченского гарнизона нагнал страху на белополяков. По селам поползли слухи, что из Гомеля прорвался полк Красной

Армии и вместе с рудобельскими партизанами освобождает целые волости и города, а с часу на час будет и здесь. Люди ждали освободителей, из деревень по одному, по два исчезали мужчины.

Белопольское командование встревожилось: откуда появилась красная конница? Может, из этой опасной полесской зоны начнется планомерное наступление красных? По тому, что рассказывали бежавшие из Поречья легионеры, трудно было что-либо понять: у страха глаза велики — и ложка лопатой кажется.

Полетели тревожные телеграммы в Бобруйск и в Минск. Ответом на них были новые части уланов и пехоты, полевая жандармерия и артиллеристы. Они останавливались в Глусске. Заходили в хаты по три, по пять человек, выгоняли хозяев из горницы, занимали хозяйские постели, наваливали в углах целые горы амуниции и седел. Все местечко пропахло лошадиным потом и дымом походных кухонь.

Снятые с фронта части отъедались и отсыпались перед походом на Рудобелку. В местечко приезжали на расписных возках дебелые шляхтянки в длинных шубах с рыжими лисьими воротниками, в высоких ботинках на пуговицах и до утра плясали с офицерами мазурки и полонезы, играли в фанты с поцелуями, старались разговаривать «по-польскéму», хотя их болтовню варшавяне и познанцы понимали только с пятого на десятое.

А Иван Мозалевский с сапожным инструментом снова пошел по селам. Теперь он ломал голову, как проскочить в Рудобелку, чтобы передать своим, какие силы стянули на подступах к партизанскому краю белополяки. На одном из хуторов он встретил Марыльку, Соловьеву сестру.

5

Целый месяц с остатками батальона Александр Соловей маршировал по улицам маленькой Сычевки. Днем красноармейцы кололи штыками мешки с соломой, стреляли по мишеням, а вечером штопали гимнастерки и шинели, густо подбивали подошвы гвоздями и пели пес-

ни — латышские, венгерские, белорусские и польские. С латышами Соловей разговаривал на языке матери, с белорусами — на отцовском, польский малость помнил с детства от шляхтюков. Труднее было с венграми. Они хорошо понимали команду, знали, что делать, когда им что-нибудь поручают, а вот побеседовать, что называется по душам, командир с ними не мог. А как же командовать, когда не знаешь, чем жив боец, что у него на сердце, от чего грустит или радуется. Соловей часто ездил в Смоленск в штаб Западного фронта и в Упрформ, настаивал, чтобы батальон скорее направляли в бой, доказывал, что нельзя в такое время отсиживаться в Сычевке.

— Не торопитесь, товарищ Соловей, — останавливали его в Управлении формирования, — на ваш век еще войны хватит, вы себя еще покажете.

— Я ж не клоун, чтоб себя показывать. Я большевик, и совесть мне не позволяет палить по мишеням и сенники штыками потрошить, когда наши люди гибнут.

— Скажу по секрету, — говорил начальник Управления, лысоватый мужчина с выправкой и манерами бывшего офицера, — мы формируем полк красных коммунаров. Он отправится на борьбу с белолатышами. Именно ваши стрелки и будут освобождать родную землю. Командиром полка назначен ваш земляк, Иван Варфоломеевич Царюк. Вот так, Александр Романович. — Начальник приветливо улыбнулся и встал. — Зайдите в штаб фронта и получите приказ о переводе в Смоленск.

Через два дня интернациональный батальон влился в полк красных коммунаров. Всегда подтянутый, Соловей сейчас был настроен особенно по-деловому, работал энергично и увлеченно. Подолгу занимался с ротными командирами, часто заходил в латышскую роту, расспрашивал, кто откуда родом, подробно беседовал с латгальцами, определял по карте маршрут на Двинск, Люцин и Режицу, записывал латышские названия деревень и хуторов. Встречаясь с бойцами, Соловей присматривался, кто как одет и обут.

По темным улицам Смоленска завывала вьюга, сдувала с пригорков сыпучий снег, грохотала жестью крыш, гудела в зубцах кремлевской стены. В такую стужу разутый солдат много не навоюет. Это беспокоило Соловья. Он пришел к командиру полка и доложил, что его батальону необходимо восемьдесят шесть пар сапог.

— Кабы только восемьдесят шесть! — грустно кивнул Царюк. — На полк требуется самое малое пар четыреста. А где их взять? Присядь, сейчас завхоз придет. Послушаем, что Мулявка скажет.

Вошел высокий мужчина в короткой шинели, в обмотках и вытертой папахе. Все лицо Мулявки было побито оспой, на месте бровей торчало несколько реденьких волосиков. Он выслушал командира полка, помолчал и спокойно ответил:

— В Москву ехать надо.

— Там для нас запасли и только тебя и ждут...

— Может, и не запасли, а дать дадут.

— Кто это тебе даст? — начал закипать Царюк.

— Товарищ Ленин даст, — ответил Мулявка.

— Ты что, с утра заложил?

— Я с Владимиром Ильичем два года в ссылке был. Знает он меня. Доложат — примет и выслушает, а если выслушает, поможет.

— Хм, а ты не сочиняешь? — смягчился Царюк.

— Что здесь сочинять, Иван Варфоломеевич. Кабы знал, где достать, разве ж посмел бы беспокоить Владимира Ильича в такое время?

— Чего же это ты раньше не говорил, что вместе в ссылке были?

— А чего хвастаться? Так что выписывайте документы, давайте пару человек в помощь. Коли повезет, так разживемся обувкой.

— Кого же тебе дать?

— Есть у меня пробивные хлопцы, — оживился Соловей. — Казначей Степан Герасимович и командир взвода Лукашевич.

— Пришли их сюда, — сказал Царюк. — И сам приходи.

Отправляя ходоков в Москву, командир полка предупреждал:

— Вы же хлопцы, на глаза там особенно не лезьте. Забот у Владимира Ильича по самую колокольню Ивана Великого, и не до сапог ему нынче. Даст — хорошо, а нет — захватите деньжат, может чем на Сухаревке разживетесь.

— Денег у меня целый мешок, — похвалился Герасимович.

— Гляди, чтобы не отобрали, — предупредил Царюк.

— А я их никогда не стерегу, товарищ командир. Захожу в вагон и бросаю под лавку. Кто-нибудь спросит: «Чего это ты, солдатик, напаковал?» «Бланки, — говорю, — плечи оттянули. Война тянется, а тыловые крысы канцелярию разводят».

— Ой, хлопче, гляди, чтобы не отыскался кто хитрее тебя. Держитесь товарища Мулявки. Он человек тертый. Что скажет, выполняйте.

Посланцы в Москву повернулись и вышли из комнаты. За окнами завывал ветер и гнул сухой сыпучий снег. В казарме было холодно и темно, густой иней искристой мохнатой пеленой покрыл стены. Командир полка сидел за столом в белом козьем полушубке и в кубанке. За каждым словом изо рта вылетала струйка пара.

— Белая латышская армия подошла к Освее, наступает на Дриссу, наша задача не только остановить наступление, но и отбросить белолатышей назад, закрепиться в районе Режицы. Вашему батальону поручено обойти неприятеля с тыла и нанести первый внезапный удар. Будете пробиваться по тылам на Невель, Идрицу и Себеж. Если там не проскочите, держите на Изборск. Полк завяжет бои с фронта, порвет кольцо беляков — и соединимся где-то вот здесь, — Царюк ткнул в голубой кружок на карте. Соловей нашел его на своей трехверстке и пометил кружком небольшое озеро Резна. — Ваша латышская рота будет вести разведку куда успешнее, чем кто-нибудь другой. Да и в штабе привыкли, что Соловей не умеет отступать. Пофартит — подобуемся и — в бой. Вы верите, что Мулявка что-нибудь достанет?

— Ежели в Москве хоть сотня сапог есть, то раздобудет. Этот человек слов на ветер не бросает. Старый большевик. Царские тюрьмы и ссылки прошел. Наверняка и с Лениным знаком.

— Он-то Ленина помнит, а вот помнит ли Ленин его? — засомневался Царюк.

— Да если и не помнит, все равно поможет. Не для себя же человек старается, для фронта! — убеждал командира Соловей.

Назавтра во дворе казармы Александр увидел отца и глазам не поверил.

— Откуда вы, батя? — бросился он к старику.

— Э, брате, долгая песня. Гляжу я это и себе думаю: чего здесь столько лоботрясов собралось — морда в мор-

ду, а у нас старики и бабы воюют, да от вас помощи дожидаются.

— Все-таки ж, скажите, как вам удалось столько пройти и через фронт проскользнуть?

Старый Роман хитровато улыбнулся и подмигнул сыну:

— Шапкой-невидимкой разжился. Где скоком, где боком, а где и дурачком прикинулся, где в щелочку прошмыгнул, вот и пробился тебя проведать. Дай, думаю, схожу, погляжу, как тут сынок сражается. А ты ничего. Все в аккурат. Был бы у нас хорошим командиром.

— А разве ж у вас нету?

— Почему ж нету? Максим Левков в волости и надо всеми отрядами голова; Андрей Путято, Игнат Жинко за командиров. Даем трошки панам перцу. Однако и ты не лишним был бы.

Роман рассказывал сыну о первых боях с белополяками, о разгроме пореченского гарнизона, о смерти Терешки, о том, как Марылька и Лина помогают партизанам. Только так и не рассказал, как сам дважды переходил линию фронта и как думает добираться домой.

— А я и не думаю, — ответил Роман. — Может, и мне найдется место в вашем полку. Хоть за кашевара буду.

Три дня уговаривал Александр отца возвратиться в село. Убеждал, что бои будут затяжные и тяжелые, что не в его годы становиться под ружье. Он дал старику мандат с подписью и печатью штаба, чтобы коменданты и командиры частей оказывали Роману Александровичу Соловью всяческое содействие при переходе линии фронта для ведения революционной работы в тылу врага.

Прощаясь у теплушки, набитой бойцами, направлявшимися под Оршу, отец и сын крепко обнялись. От отцовского кожуха отдавало запахами родной хаты, колючая борода напомнила, как в детстве она щекотала лицо, когда Александр залезал к отцу под одеяло погреться. Припомнились друзья, защищающие сейчас советскую власть в Рудобелке. Всплыли в памяти темные Параскины глаза, явственно послышался голос деда Терешки, и так стало жаль старика, что перехватило горло и тупой болью сжалось сердце.

Александр посадил батьку в галдящую, еле освещенную огарком теплушку, попросил красноармейцев порадеть старику.

Шагая по перрону, Соловей услышал знакомые голоса и глухой стук. У хвостового вагона красноармеец с винтовкою в руке покрикивал на прохожих:

— Проваливай, проваливай, не задерживайся!

— Неужто Степка?! — обрадовался Соловей.

Навстречу выдвинулась винтовка.

— Проходи направо! — крикнул часовой.

— Чего доброго, еще сдуру и выстрелишь, — спокойно ответил командир.

— Хлопцы, Александр Романович здесь! — обрадовался Герасимович.

— Вот это молодцы! — забираясь в вагон, воскликнул Соловей, стал швырять на платформу связанные по нескольку пар ботинки и сапоги. Они пахли дегтем и кожей, поскрипывали и с грохотом падали на настил.

Мулявка вытащил из угла три больших свертка, обшарил пол, не осталось ли чего.

— Ну, все. Хорошо, что успели.

Только они выскочили из вагона, паровоз пронзительно свистнул, окутался клубами пара, и поезд медленно покатился по припорошенным снегом рельсам.

— Я побегу за подводой, — сказал Мулявка, — а вы здесь караульте. — И, перепрыгивая через пути, исчез в замети.

Караулить на платформе остались втроем.

— Рассказывай, как это вам удалось? — не терпелось Соловью узнать обо всем.

— Приехали мы в Москву утром. Город засыпан снегом. Глядь, как на наше счастье, извозчик стоит; подошли, думаем, враз доскачем. А он ни в какую: конь, говорит, отощал, и троих не потянет. Отправились пешком.

— Да я разве у тебя про клячу извозчичью спрашивал? Ты мне скажи, Ленина видели? — не выдержал Соловей.

— Видели, видели, товарищ командир, — успокоил Лукашевич. — А Степка другим манером и рассказывать не умеет.

— Ежели такой умник, сам рассказывай, — насупился Герасимович.

— Пришли это мы, значит, до Кремля, — начал Лукашевич, — часовой стоит, документы проверяет. Показываем свои мандаты. Глядел, глядел, потом дернул за какую-то проволоку. Ждем. Приходит разводящий. То-

варищ Мулявка так ему просто и начинает: «Доложите, это самое, Владимиру Ильичу, донесения с фронта привез Иван Мулявка и просит принять». Помялся это разводящий, помялся. Может, говорит, кто другой примет? «Нет, браток, только до товарища Ленина».

— Похвалялся, а и сам извозчичью кобылу оседлал, — перебил Лукашевича Степан и уже больше не дал ему рта раскрыть. — Одним словом, товарищ командир, привел нас курсант в огромный дворец, приказал сдать оружие и шинели и повел. Заходим в большую дверь. В комнате тихо-тихо. Женщина нас встретила, на столик газет и журналов положила. Читайте, говорит, а сама — в кабинет. Вышла и попросила обождать немного. Сидим, ждем. А погодя из двери — шасть и просто к нам идет и улыбается невысокий быстрый человек. Ага, сам товарищ Ленин. Я его сразу узнал. Ну, вылитый как в газете. Руку всем подает, а Мулявку нашего за плечи взял «Узнаю, узнаю, — говорит, — Иван... не подсказывайте... Алексеевич. Прошу», — и показывает на кабинет. А мы и не знаем, идти или сидеть. Вот он, — Степан кивнул на Лукашевича, — потянул меня за рукав, мы, дураки, и остались. Долго не было Мулявки. О чем они там говорили, брехать не буду, не слышали. А как вышел, так аж конопатинки светились от радости. Бумажкой трясет. Потом в дороге рассказывал, как Владимир Ильич узнал о нашем полку, так правда али нет, будто бы говорит товарищу Мулявке: «Раз вы красные коммунары, даем вам еще три штуки красного сукна командирам на галифе». Вот оно, — Герасимович носком ткнул в обшитые рогожей тюки.

По снегу, перемешанному с песком, заскрипели сани — Мулявка остановился неподалеку от вокзала.

— Сколько всего здесь? — поинтересовался Соловей.

— В самый раз. Четыреста пар получили.

В метельном декабре 1919 года через Невель и Себеж батальон Соловья пробирался по вражеским тылам. Белолатыши занимали Двинск, Краславу и Освею. Они стремились расширить фронт на северо-восток до речки Синей.

Остановить их, отбросить назад и соединиться с основными силами полка должен был интернациональный батальон Александра Соловья.

Красноармейцы шагали против ветра. Вьюга завывала и секла колючим снегом, слепила глаза, толкала в грудь. А бойцы, похожие на снежные столбы, двигались навстречу ветру и врагу. В снежной круговерти ничего не было видно: куда ни глянешь — кружится белый смерч, ломает хрупкие камышины. Батальон вышел к озеру. Зима заковала его толстым слоем льда и завалила глубоким снегом.

Остановились в небольшой приозерной деревеньке. На изгороди зимовали старые дырявые невода, возле сараев и амбаров лежали перевернутые челны и лодки. По всему было ясно, что здесь живут рыбаки. Сельчане сдержанно и настороженно глядели на солдат.

— Лихо его разберет, где свои, где чужие, — заговорил дед с позеленевшей от самосада бородой. — Тут латыши и там латыши. Колотят друг друга. А за что, кабы спросить, и сами не ведают.

— Не, дед, — возражал комиссар Ясюнас. — Знаем, за что. Мы за латышский народ воюем, за его свободу, а те — за панскую власть, за то, чтобы нас снова запрячь в ярмо да и погонять еще.

Вечером комиссар натянул на себя домотканую свитку, обул лапти с суконками, подпоясался веревкой, заткнул за пояс топорик для виду, будто отдушины прорубать на озере, и подался на ту сторону. Он вырос в Латгалии, знал эти места, умел хорошо разговаривать по-латышски и по-белорусски, потому и попросился в разведку.

Соловей до рассвета ждал своего комиссара. Боязно было за Ясюнаса и тревожно от немой неизвестности. А заваруха мела уже вторые сутки. Страшно даже высунуться из теплой хаты. И все же комадир поднял батальон и повел на ту сторону озера.

Не достигли и середины, как ветер донес шорохи, гул и обрывки выкриков, похожих не то на ругань, не то на команду. Батальон Соловья длинной цепью залег в мягком снегу, забивавшемся за воротник, в рукава, в ботинки. Снег таял под одеждой и холодными струйками полз по телу. И все-таки за сугробами лежать было уютней, чем на открытом месте.

В замети уже отчетливо можно было расслышать голоса и ощутить какую-то неуловимую суетню. Что-то приближалось, хоть в снежном шквале нельзя было уви-

деть ни зги. Надо было притаиться, замереть, чтобы не услышал враг.

Как только в поредевшей пелене метели появились еле различимые фигуры белолатышских солдат, прямо в лоб им сверкнула молния плотного ружейного огня. Убитые падали в снег, будто проваливались в бездну, живые рванулись назад, увязая в высоких сугробах и суметах.

Батальон с криком «ура» бросился следом. Эхо стрельбы с озера докатилось до Освеи. Остатки белого гарнизона, бросая все, отступали на Краславку.

Измученные красноармейцы остановились в небольшом имении. Надо было отдохнуть и осмотреться, чтобы не очутиться в западне. Неприятель откатился за перелески и кустарниковые рощи. Взводные расставляли боевое охранение, разводили посты.

К бойцам подошел высокий худой мужчина в лохмотьях, разбитых лаптях. Он глядел чистыми, по-детски наивными глазами. Стащил с лысой головы шапку, начал что-то мычать, показывать рукой, по-католически креститься всей ладонью и куда-то звать. Немой был настойчивым. Он ухватил взводного за рукав и потащил к костелу. За ними пошли несколько красноармейцев. Легкий беленький костел стоял на пригорке, вокруг него росли старые липы. У костельной стены бойцы наткнулись на ужасную картину. На снегу стоял голый, будто стеклянный, человек. На спине глубокой раной запеклась и заледенела пятиконечная звезда. Один глаз был выбит и вытек, на месте его запекся кровавый комок, второй мутно глядел с глубокой тоской и упреком.

— Это же наш комиссар Ясюнас! — в немой тишине ахнул взводный. Бойцы обнажили головы и стояли словно окаменевшие. Такого они еще никогда не видали: исполосованного штыками, комиссара нагишом выволокли на мороз и обливали водой, пока он не застыл. Вот и стоит, как монумент мужеству, как обвинение озверевшим палачам...

Когда на пригорке у костела хоронили Ясюнаса, органист рассказал Соловью, как покойного, одетого в свитку и лапти, задержали за околицей белые солдаты, допросили и хотели отпустить, но наскочил офицер и потащил человека в лаптях в управу. Там кто-то узнал его. Говорили, тот иуда знаком был с ним еще до войны, чуть ли не учились вместе. Начался допрос.

— И так вот он кончился, — тоскливо выдохнул органист.

На сыпучие комья мерзлой земли взобрался командир батальона и заговорил по-латышски:

— Война идет давно, но такое зверство мы видим впервые. Темные люди скажут: латыши латыша замордовали. Ложь! Это звери замучили доброго, чуткого человека, который желал свободы и счастья своей земле, родному латышскому народу. Мы должны не только отомстить за смерть товарища Ясюнаса. Освободить города и села Латвии от наймитов капитала, от бандитов и насильников — наш революционный долг. Поклянемся же исполнить его, — закончил Соловей свое слово.

И в ответ грянули голоса латышей, белорусов, венгров, поляков:

— Клянемся!

— Клянемся! — подхватило эхо.

...На рассвете батальон выступил, рассчитывая прорвать оборону противника, соединиться с основными силами полка и освободить от белой армии Режицу.

За ночь метель улеглась. Потянуло густым теплым ветром. Снег набряк сыростью, раскисали ботинки, стыли ноги: дрожь пробирала до мозга костей.

Теперь Соловей высылал разведку небольшими группами, они прикрывали и поддерживали друг друга.

Версты за две от леса проходила линия вражеской обороны. Она замыкала кольцо, в котором очутился полк красных коммунаров. Это выяснил Соловей, когда вернулась разведка. Обстоятельства и задачи менялись. Выход был в одном: внезапно и стремительно атаковать белых. Поднять панику, разорвать кольцо и вместе с полком уже не пробиваться из окружения, а наступать, громить белолатышей по всему фронту.

Занятая врагом деревня стояла за невысоким пригорком в укрытой от ветров долине. Отсюда и намеревался командир начинать прорыв. Белым-бело было вокруг, стояла тишина, сеялся легкий искристый снежок, припорашивая шапки и плечи. Батальон притаился в лесу. Разжигать костры было запрещено. А мороз пронизывал насквозь, люто прихватывал застывшие в намокших за день ботинках ноги.

На закате похолодало еще сильней. Ботинки и сапоги гремели, словно каменные, и покрывались мохнатым вор-

сом инея. Красноармейцы топали все живей и живей, хлопали по спинам руками, хукали в дырявые рукавицы. Казалось, заледеневшие еловые лапы, мерцающие снежинки и даже высокие колючие звезды — все пронизывает острым холодом исхудавшие солдатские спины.

В полночь Соловей с латышской коммунистической ротой двинулся на село, занятое белыми. Остальные две роты вышли на фланги.

В окна сонных хат полетели гранаты, раскалывали ночную тишину винтовочные залпы, густо татакали пулеметы. В селе вспыхнула паника.

Белолатыши решили, что именно здесь прорывается окруженный полк, оставили окопы, чтобы закрыть образовавшуюся брешь, но в поле их отсек шквал пулеметного огня — били обе роты, выдвинутые Соловьем на фланги.

К утру вражеское кольцо было разорвано. Образовался коридор до пяти верст по фронту. Внезапный удар с тыла так обескуражил белых, что им показалось — на прорыв идет целая дивизия. В бой вступили передовые части окруженного полка красных коммунаров.

А из вражеского окружения выходили обозы, раненые, тифозные и обмороженные красноармейцы. Обмороженных было много. Их отправляли в Идрицу и Себеж. Отход прикрывал батальон Соловья.

Последним из окружения пробивался заиндевелый и грохочущий бронепоезд. На крутом подъеме сошла с рельсов платформа. Бойцы интернационального батальона столкнули ее под откос, втиснулись кто куда и на бронепоезде вырвались из вражеского кольца.

После гнилых дней оттепели и морозной штурмовой ночи из полка выбыло триста шестьдесят обмороженных бойцов, многих свалил сыпняк, раненых развезли по тыловым госпиталям.

Остатки полка красных коммунаров слились с 476-м полком 53-й дивизии.

6

После рождества залютовали морозы, аж постреливало по углам. Перед заходом солнца небо наливалось кумачом, снежинки мелькали розовыми, синими, зелеными огоньками, а над лесом подымался радужный столб.

— Это знаменье божье! К несчастью, к мукам, к слезам! — испуганно крестились бабы.

Тревожно в эти дни было и в ревкоме. Не столб радужный в небе тревожил Максима Левкова: Марылька передала, что идет на них большая сила, с конницей и пушками. Из Парич тоже сообщили: «От Мозыря наступают легионеры, берегитесь».

А как тут уберечься от пушек и пулеметов? Только сдаваться — не выход. Белополяки дождались, когда Птичь сковало толстым льдом, надежной стала дорога по болотам и озерам, а на снегу различишь даже сорочий след. Вот и подтянули силы, чтобы придушить большевистскую волость.

Ревком теперь походил на боевой штаб. Всем верховодил Максим Левков. Отряд Игната Жинко разместился недалеко от Птичи, взвод Тимоха Володько занял Карпиловку и Дуброву, Максим Ус с хлопцами — Ковали и Лавстыки. Хорошо, что в каждом взводе было по пулемету, по цинке патронов, а у каждого партизана — винтовка или карабин, а за поясом по паре гранат.

В отряды пришли старики и подростки, за оружие взялись все коммунисты. Параска привела в ревком четырех вдов.

— Дай, председатель, бабам хоть по какому обрезу, абы стрелял.

У самой за плечами висел новенький карабин. Кожушок Параска подпоясала широким ремнем с двумя подсумками.

— Не баламуть баб, Параска, — унимал ее Левков, — нехай куделю свою сучат. Не бабье ето дело воевать. Тебе, конечно, сидеть дома никак нельзя. Хоть на день ворвутся поляки — несдобровать. Шляхетскую и панскую землю делила? Делила. Коммуной заправляла? Заправляла. Так что, понятно, поберегись. А вы, молодухи, шпарьте до дому, там ваши голопузые уже, не иначе, ревут.

Параска осталась охранять ревком. В зале она отогрелась у теплой грубки, иногда выходила на крыльцо, слышала, как хлопает залубеневший на морозе флаг, и снова вспоминала Александра. Где-то он теперь? Живой ли? Коли уж так невмоготу, так пусть бы дома воевал. Теперь все воюют, в любом застенке, в каждом уголке. А его где-то носит по белу свету. Здесь хоть бы на глазах был...

Вот присушил! Ни днем ни ночью из головы не выходит...

С рассвета поднялся морозный туман. Утро было синее, и снег казался синим. Звонко, словно коростель кричал, скрипели колодезные журавли и полозья. Вдруг, как гром среди ясного неба, рассветную тишину разорвал гулкий орудийный выстрел и покатился над заиндевелыми лесами и тихим заснеженным полем. Что-то громыхнуло так, что задрожала земля. Такого еще Параска не слыхала. Она трижды выстрелила вверх, но ее сигнала уже никто не слышал — шел бой на опушке у Птичи, заливались пулеметы возле Смыкович и Лесков, по Дуброве била артиллерия. Началось!

Казалось, гремит и вздрагивает вся земля, вспыхивает сухим зеленоватым огнем. Параска подтащила к крылечку тяжелую лестницу, стремглав вскарабкалась по ней и стала отрывать древко с флагом. Гвозди заржавели и не поддавались. Она раскачивала древко из стороны в сторону. Наконец с писком, будто плача, гвозди вылезли из намерзших досок. Параска сняла с древка жесткое полотнище, сложила его и спрятала под кожушок, заперла дверь волости и берегом Неретовки помчалась в Карпиловку. Там залег взвод Тимоха Володько. Почему-то стало нестерпимо светло. Параска обернулась и чуть не упала. Слева и справа раскачивались и рвались огненные столбы с черными космами дыма. Пылали Дуброва и Ковали. Ширился и плыл нескончаемый пронзительный гуд, его заглушали взрывы снарядов и винтовочная пальба. А над лесом подымалось огромное красное солнце, в бездонном небе плыли и таяли невесомые тучки, на ветвях сверкал густой иней, он пугливо сыпался после каждого выстрела. Параска чуть не выскочила под партизанские пули.

— Назад! Куда тебя гонит?! — орал невысокий ростом, но голосистый Володько.

Параска упала, стащила с плеча карабин и, не глядя, выстрелила. Приклад упруго отдал в плечо, сердце стучало так сильно, что казалось, от его ударов дрожат руки и все тело. По шершавому снегу Параска отползла назад, ближе к партизанской цепи. Трудно было разобрать, где стреляют свои, а где — легионеры. Артиллерия била откуда-то из Завалён и только по Дуброве. Не иначе, кто-то донес, где стоят партизаны, потому и садят снаряд за снарядом...

С ветрнка, стоявшего на ковалевском поле, строчил польский пулемет. В чистой морозной синеве, словно свечки, горнт хаты в Дуброве, Лавстыках, Ковалнх. Партизаны отходнт к лесу, однако не бегут, хотя силы и неравные, хотя корчатся и умирают на снегу товарищи, пробитые панскими пулнми. Не встал, не шевельнулся Моисей Рогович, распластался на твердом насте Виктор Вотчиц, ткнулсн лицом в небольшой сугроб Василь Звонкович.

Наверное, деснток легионеров скосил Гриша Маковецкий, вскочил, чтобы швырнуть гранату, и бросил все-таки, по сразу же схватилсн за живот, перегнулсн, будто надломленный ветром, завертелсн на месте. Его распрнмила вторан пулн, и он свалился как подкошенный.

Впервые на Параскиных глазах помирали один за другим молодые хлопцы. Она знала их с детства. И так просто, в один миг, нету ни Василн, ни Виктора, ни Рыгора. Слезы душили ее. Параска стрелнла в отчаянии и отползала со взводом на Рудню. Там недалеко и лес.

Слышна была пальба в Старой и Новой Дубровах. Это отбивалсн взвод Максима Уса.

— Отходить на Шкаву! — приказал командир.

А по улице уже бежали легионеры. Они то понвлнлись, то исчезали в клубах дыма. Ровно, как свечи, в тишине морозного днн догорали соломенные крыши, оседали почерневшие стены подожженных хат, как оголенные ребра, торчали черные стропила. Они подламывались, клонились набок, оседали и падали. Никто не гасил пожара, никто ничего не выносил, ничего не спасал. Люди притаились в погребах, убежали в лес, попрнтались в стогах сена.

Вокруг шла стрельба. Легионеры швырнли на пожарища гранаты. Они рвались со страшным грохотом, разбрасывая в разные стороны горящие головешки.

Высокий плотный Максим Ус прижалсн к стене сарая и без промаха бил из винтовки по жолнерам. Его взвод пробивался в сосннк, росший неподалеку от села. Максим, наверное, хотел, прикрыван отход хлопцев, подпустить легионеров ближе и шарахнуть в них гранатой, а самому прошмыгнуть в кустарник, а там и до леса рукой подать. Но пилсудчики заметили Максима и сосредоточили на нем огонь. Пули свистели и глухо шлепали в почерневший сруб сарая.

— А выкуси! — кричал Максим и стрелял, стрелял. Вдруг что-то дернуло его назад и обожгло, горячие струйки побежали по руке и подмышку. Он теснее прижался к углу, прицелился, спустил курок, только неожиданно страшная боль рванула по ребрам, завихрился снег и пламя над хатами, в глазах поплыли белые, розовые, синие круги. А Максим, последним усилием воли опершись о стену, еще стрелял, только не видел куда.

Белополяки стали окружать командира. Он уже не отстреливался, но все-таки стоял. Под ногами дымилась лужа крови. Осторожно подкрадывались легионеры. Им хотелось схватить партизана хотя бы раненого. Когда его окружили и поручик крикнул: «Рэнки до гуры!» — Максим Ус даже не вздрогнул. Он так и стоял, прислонившись плечом к стене. Сапоги примерзли, винтовка свалилась в снег.

Легионеры впервые увидели человека, который погиб стоя.

А отряды короткими перебежками пробивались к лесу. Люди проваливались в глубокий снег, от холода и усталости деревенели руки, еле шевелились стянутые морозом губы. Но партизаны стреляли и ползли, ползли и стреляли. Снег порозовел от сполохов далеких и близких пожаров, небо было в багровых подпалинах.

У руднянского кладбища заговорил пулемет. По нему ударили дружным и метким залпом, и он захлебнулся. Хлопцы из взвода Володько с двух сторон подползли к кладбищу. Пулеметчик кончался, храпел, суча ногами по снегу. Пригибаясь за кустами, улепетывали трое легионеров. Партизаны бросились было секануть по ним из пулемета, а он, как на то лихо, застыл. Не оставлять же его черту лысому. Ухватили и потащили за собой.

В лес входили, когда смеркалось. Было видно, как в Карпиловке, Дуброве и Смыковичах догорают хаты и амбары. Ни крики, ни гул пожара не долетали сюда. Только шумели припорошенные снегом сосны, отряхивая с ветвей густую заметь. По лесу перекликались партизаны:

— Амельян, где ты?

— Карп, живой?

— Карпиловские, ко мне!

Командиры собирали своих партизан. В каждом взводе кого-то недосчитывались. Не верилось, что погиб Максим Ус, что остались лежать на снегу молодые товарищи.

А еще утром они смеялись, угощали друг друга табачком, бегали, стреляли, ползли по полю.

Измученные, голодные партизаны жались спинами к стволам сосен и молча отдыхали. У каждого дома остались свои. Что с ними? Может, головешки догорают на усадьбе, а старикам, жинке, детям негде обогреться...

На пенек взобрался Максим Левков. На нем был порванный кожушок, большая овечья шапка и старые подшитые валенки. Из-за ремня торчали наган и две гранаты. К председателю стали подходить партизаны.

— Товарищи, — тихо начал он, — сегодня осиротели мы, многих потеряли. Легионеры жгут наши хаты, мордуют наших близких. Мы не устояли перед пушками и пулеметами, но и не сдались. Будем копить силы, чтобы не смогли паны у нас долго засиживаться. За товарищей мстить будем, семьи свои вызволим из легионерских лап. В пуще есть у нас несколько шалашей, но в такую холодину там не усидишь. Может, весной они нам и пригодятся, а сейчас двинемся в Грабье, оклемаемся маленько, подумаем, что дальше делать.

— А чего там думать? Одна у нас работа, — выкрикнул молоденький высокий Амельян Падута, — драться за советскую власть.

К Левкову протиснулась Параска. Она из-за пазухи достала сверток в белом платочке и протянула Максиму:

— На, председатель, припрячь. Может, скоро и понадобится.

Левков развязал платок. В его заскорузлых ладонях пламенело полотнище ревкомовского стяга. Он развернул его и поднял над головой.

По темному лесу, продираясь сквозь заросли, через заметенные снегом выворотни, проваливаясь в сугробы, шли партизаны искать себе пристанище.

В селах голосили женщины по убитым сыновьям и мужьям, по братьям и любимым. Плакали грязные и оборванные погорельцы, набиваясь в хату к родне или соседям.

А под вечер пошли по дворам «канарейки». Так сразу прозвали полевую жандармерию с желтыми околышами на конфедератках. Уши белополяки прикрывали бархатными наушниками, в карманах таскали маленькие металлические грелки с тлеющими внутри угольями. От них всегда пахло паленой шерстью.

«Канарейки» не заходили лишь бы куда, а заворачивали только в те хаты, на которые кто-то показывал. Иначе откуда же им знать, где кто живет, сколько у кого сыновей и где они сейчас.

Наводила жандармов застенковая шляхта. А те врывались в хату, волокли с печи старого деда или бабу, свистела плеть, слышались крики и стоны.

Особенно лютовал конопатый, с заплывшей мордой Зигмунд Смальц. Он не щадил ни ока ни бока, так хлестал шомполом, что аж кровь брызгала.

Человек сорок избитых мужчин и баб согнали к волости. Они угрюмо дожидались, что им скажут, куда погонят дальше. Вокруг стояли солдаты с карабинами. На крыльцо вышел кургузый комендант, лицо у него было со свекольным отливом. Он даже не взглянул на стоявших перед ним людей.

— Ежели ваши галганы не пшыдуць до гмины и не жуцять зброю, их ойцы и матки бэндуть растшеляны [1].

За спиной коменданта стоял широкоплечий, с рыжими усами, в крытой фабричным сукном шубе шляхтич из Хоромного — Фэлик Гатальский. Он моргал желтыми глазами и скалил прокуренные зубы.

— Вам понятно, что сказал пан комендант?

Толпа молчала. Кто-то невидимый ответил отчетливо и громко:

— Понятно, иуда, что по тебе веревка плачет.

— Молчать, пся крев! — взвился Гатальский, новоиспеченный войт гмины [2].

— Как же мы скажем сынам, чтобы бросали оружию, коли нас арестовали? Ты отпусти, так сходим и скажем, — высунулся вперед Андрей Падута.

— Пошукай дурнейшего, чем ты сам, — может, он и отпустит. А твоим бандюкам передадут и без тебя! — огрызнулся новый войт.

К вечеру заложников отправили в Бобруйск и посадили в крепость. Только Смальц не унимался. Он носился по селам, вынюхивал большевиков и партизан.

В Гати Смальц обнаружил жену Левона Одинца Ульяну. Его поразила красота сельской молодицы. В ее боль-

[1] Если ваши разбойники не придут в комендатуру и не сдадут оружие, их родители будут расстреляны (*польск.*).

[2] Административная должность (*бел.*).

ших черных глазах дрожали огоньки ненависти, а смуглое лицо было спокойным и гордым. Это еще больше разъярило панского палача. Сначала он вежливо и ласково расспрашивал, где комиссар.

— Тиф скрутил, в больницу отвезли, — спокойно ответила Ульяна.

— Брешешь, сука! — вскочил Смальц. — Он вчера здесь был! — И со всей силы потянул плетью. Тонкий конец, как змея, обвился вокруг шеи. Смальц резко рванул плеть на себя — на шее налился кровавый рубец. — Ну! — рявкнул жандарм.

Ульяна молча, с глубокой ненавистью смотрела на него, а когда он снова взмахнул плетью, плюнула в разопревшее от спирта и искаженное злобой лицо.

Жандарм осатанел. С каким-то звериным рыком он сек несчастную женщину. Мать Ульяны на коленях подползла к Смальцу.

— А смилуйся, паночек! Коли крови хочешь, так меня, старую, прибей, а ее не надо. С дитем она. — И ухватилась руками за плеть. Смальц носком начищенного сапога наотмашь двинул ей в грудь. Старуха упала.

Босую Ульяну он выволок во двор, свалил в снег, бил ногами в живот и грудь, пока несчастная не истекла кровью и не впала в беспамятство.

Смальц вытер снегом окровавленную плеть и забрызганные кровью руки, смачно сплюнул и пошел со двора.

На четвертый день Ульяна пришла в себя, попросила пить и чуть слышно прошептала разбитыми губами: «Спасайте Левона!» К вечеру она скончалась.

А Левона в тифозной горячке вез в Смыковичи его дядька Петро. Надеялся там как-нибудь перепрятать, а может, и переправить к своим в Гомель. Петро старался ехать не выбирая дороги, напрямик, подальше от битых шляхов. Если кто встречался и спрашивал, отвечал: «Роженицу до бабки везу» или «Старуха занедужила, еду фершала шукать».

Укрытый с головою рядном, Левон молчал. Порой слышно было, как бьет его лихорадка, как он скрипит зубами. Дядька бережно укрывал больного сеном, поправлял рядно и ехал дальше.

За Карпиловкой, на косогоре, навстречу выскочили четыре улана. Следом за ними на своем гнедом рысаке трусил рысцой Фэлька Гатальский.

— Стой, откуда едешь, старый? — остановил дядьку Петра улан.

Петро стянул шапку, поклонился:

— Старуху везу до шептухи, паночек. Боюсь, кабы на возе не отдала богу душу.

— А ты покажи свою старую, — приказал он.

— Ото ж колотит ее сильно. Смилуйся, паночек, не трогай! — заныл Петро.

Фэлька подъехал к саням, перегнулся в седле и кнутовищем приподнял рядно.

— А, пся крев... — И он наотмашь огрел старика по спине. — Панове, то есть комисаж, большевик! — аж захлебывался Гатальский.

Фурманку с больным Левоном Одинцом завернули назад. Почти час продержали на морозе у гмины. Потом два конных конвоира погнали на Глусский шлях.

Мороз неистовствовал: трещали в лесу сучья, дорога скрипела как немазаная телега. Заиндевевшая кобыленка выдыхала столбы густого пара и еле трусила. Конвойных в седлах здорово донимал холод. Они подгоняли Петрову лошадь ударами плетей, но у той запалу хватало только на несколько саженей, она снова, как в полусне, переваливалась с боку на бок.

В поле мороз припекал особенно люто. У старого Петруся заиндевели усы и борода, руки, как грабли, еле удерживали вожжи. Он прислушивался, дышит ли Левон, и мысленно уже распрощался с ним: если сразу не пристрелят, то заморят голодом и холодом.

В такую стужу и у здорового еле душа в теле, а этот чуть дышит.

В Глусск приехали ночью. Тифозного побоялись пускать в гмину и пастерунок[1] при волости. Опять долго держали во дворе, а потом вышел высокий как жердина полициант, посветил карманным фонариком, открыл дверь длинной пустой конюшни и приказал «комиссара» положить туда.

— Это как же живого человека в такой мороз? — аж задрожал Петрусь.

— Мильч, мильч, пся мать! — закричал полициант.

Старик выгреб из кошевки сено, расстелил его в углу, вздрагивая от глухих рыданий, помог племяннику дойти

[1] Полицейский участок (*польск.*).

до этого смертного ложа, прикрыл рядном, перекрестил, как покойника, и, глотая слезы, тихо сказал:

— Прощай, Левонка.

Заскрипели большие двери, лязгнул и заскрежетал засов. Петрусь вскочил в пустые сани, стеганул вожжами заиндевелую лошадь.

Наутро, когда совсем рассвело, начальник жандармерии приказал вывезти и закопать большевика, чтобы, случаем, не разнеслась зараза.

Через несколько минут пришел тот самый длинный полициант и доложил:

— Он живой. Пить просит.

— Ишь ты, живой? — аж привстал начальник. — Подождем до вечера.

И вечером Левон был жив. Не умер и на завтра, и на третий день. Только распухли и почернели на руках пальцы, а ногами он уже не мог пошевелить.

В жандармерии только и разговору было про живучего рудобельского комиссара, ходили поглазеть на него. Левон тихо стонал и бредил в горячке, звал Ульяну, просил дядьку Петра погонять живей. Когда скрипели двери, он умолкал и только тихо-тихо просил пить.

На третий день в конюшню зашел сам начальник. Он приказал поднять рядно. Полициант кнутовищем сдвинул его с Левона. Почерневшие пальцы не двигались. Но комиссар все-таки жил. Это ошеломило начальника. Трое суток на таком морозе не протянул бы и здоровый человек, а этот подняться не может, а живет. И начальник приказал сейчас же отвезти арестованного в Бобруйск и сдать в больницу: «Просто для интереса, для опыта. Что за лошадиное здоровье!»

Полицианты здесь же, у волости, подхватили фурманку, подогнали ее к конюшне, взвалили Левона на сани и повезли. Обмороженные руки и ноги дергали, жгли, ныли, как свежие раны. Левон кусал губы и молчал, ожидая конца — единственного избавления от нечеловеческих мучений. На морозе жар спадал, и он думал про Ульяну, где она, что с ней? Хотя бы ее не тронули. Вспоминал товарищей: как там завершился бой, кто уцелел, а кто землю парит? Слышал только, как гремели орудия, гудели пожары в селах, знал, что партизаны отступили в лес. А что дальше?

«А дальше, — думал Левон, — околею в эту стужу от сыпняка, голода и холода, вывернут из саней в канаву, как падаль, вот и все». На смену отчаянию приходила надежда: «Не может быть, чтобы все. Надо продержаться хотя бы до Бобруйска. Может, из больницы удастся связаться с товарищами. Там же наверняка кто-то остался в подполье. Только б выдержать...»

И Левон напрягал последние силы, ровнее дышал, прислушивался, как стучит сердце, как долго и нудно звенит в ушах. Он то проваливался в мерцающий мрак, будто на дно бездонной реки, то снова выплывал, слышал, как скрипят полозья и позванивают подковы по настылому снегу.

До Бобруйска он все же продержался. В больницу приехали ночью. Попытался встать, но так и шмякнулся навзничь — ноги были как чурбаны.

Санитары внесли Левона в коридор, хотели стянуть сапоги, но они примерзли к ступням. Руки в тепло зашлись, будто тысячи иголок загнали под ногти. Конвоиры позвали доктора, что-то ему говорили, писали какую-то бумагу и, грохоча сапогами, вышли из больницы.

Как только закрылись двери, невысокий подвижной доктор моментально очутился возле больного. Над Левоном наклонилось молодое лицо с жиденькой бородкой, сквозь толстые стеклышки очков удивленно глядели большие темные глаза.

— Откуда? Фамилия? Имя? По батюшке?

Левон еле слышно отвечал.

— Значит, из Рудобелки? — переспросил Морзон. — Придется спасать, Левон Ефимович, — утешал доктор.

Морзона знали не только в Бобруйске. Молодому хирургу верили, на него надеялись в каждой волости, в каждом селе уезда. «Коли доктор Морзон не справится, то и боже не поможет, — говорили в далеких и близких селах. — Очень уж свойский человек. Видать, не панского рода».

Владимир Осипович всю ночь не отходил от Одинца. Больному ставили банки, обкладывали грелками, поили горячим молоком, растирали тело и делали уколы. Почерневшие руки нестерпимо болели, нога горела огнем и колола тысячами иголок. Доктор качал головой и зло бурчал какие-то непонятные слова:

— Вандалы, гунны, узурпаторы! Что они с человеком

сделали! А ведь Геркулес был. — Потом повернулся к Левону: — Мне приказано вылечить вас. Вылечить и отдать жандармерии. Оплети горшок и отдай дураку разбить.

От горячки и сильной боли Левон не все слышал и не все понимал из того, что говорил доктор. Он уже поверил в его доброту и справедливую силу.

— Только придется оперировать, может, даже отнять ногу. Вы согласны?

— Хоть зарежьте, лишь бы не мучиться, — процедил Левон.

На другой день понесли Одинца на операцию. Нога и пальцы были синие, как переспевшие сливы.

— Ампутировать.

Доктор и его ассистенты поражались выносливости и терпению этого человека. Чтобы не началась гангрена, пришлось отнять левую ногу чуть пониже колена, ампутировать пальцы на другой ноге и на обеих руках.

— На селе это уже не работник, однако жить будет, — сочувствовал и вместе с тем радовался Морзон.

Когда Одинец немного отошел, к нему на койку подсел доктор:

— Ну, как себя чувствуем?

— Полегчало трошки, — кивнул Левон.

— Да и вы полегчали, пришлось слегка укоротить вас. Что танцевать будете, не обещаю, а на костылях нынче многие ходят. Вы молодец, Левон Ефимович: такое не всякий металл выдержит.

— А рудобельский большевик вынес. Теперь таиться нечего — продал, сука, шляхетская. Так что вы, доктор, возле меня не сильно хлопочите. Все равно крышка.

— Не городите околесицу, товарищ Одинец! — взорвался доктор и выскочил из палаты.

Одно слово «товарищ», а как оно обрадовало Левона, как захотелось верить в спасение, надеяться на этого маленького юркого доктора!

Одинец тогда еще не знал, что в 1917 году доктор Морзон работал в Земском союзе вместе с Михаилом Васильевичем Фрунзе. Затем переехал в Бобруйск, стал председателем демократической земской управы, все время помогал подпольщикам и партизанам. Не знал Одинец, что совсем недавно белополяки арестовывали Владимира Осиповича.

Теперь одно слово «товарищ» было подобно паролю, по которому свои узнавали своих, верилось, что доктор Морзон выручит его.

Левон лежал один в крохотной палате. Тосковал в одиночестве, хотелось поговорить — возможно, узнал бы что-нибудь о своих, а видел он только санитарку, сестру, искусно делавшую перевязки, чтобы не причинить ему боль; порой забегал доктор и радовался, что бедолага идет на поправку, что рубцы затягиваются отлично, а температура — близка к нормальной.

— А зайдет кто-нибудь посторонний, лежите с закрытыми глазами и не шевелитесь, — предупреждал Морзон.

Раза два наведывался в больницу поручик из полевой жандармерии, интересовался, не сбежал ли подопытный большевик. Доктор бесстрастным голосом отвечал ему, что положение пациента безнадежное, что вдобавок к сыпняку и обморожению у него тяжелая форма пневмонии. Он водил поручика в палату, поднимал одеяло, демонстрировал забинтованные культи и безнадежно махал рукой. В один из вечеров доктор зашел в палату, прикрыл дверь и тихо сказал:

— Платон Федорович кланялся вам.

Одинец попытался встать.

— Тсс! — приложил палец к усикам Морзон. — Ни о чем не спрашивайте. Лучше слушайте. Сегодня ночью мы распрощаемся. Что бы с вами ни делали, молчите. Запомните, вы — труп, ну и ведите себя, как порядочный покойник. А дальше все будет превосходно.

Когда наступила ночь, во двор тихо въехала подвода и остановилась возле морга. В палате появились два санитара с носилками. Левону стало не по себе, что его в одном белье поволокут на мороз, что впереди какая-то неизвестность. Успокаивало только одно имя — Платон Федорович.

Санитары натянули на него штаны и фуфайку, осторожно положили на носилки, сверху прикрыли простыней и понесли по узким больничным коридорам. Из соседних палат выглянули несколько больных, страдавших бессонницей.

— Что, обмороженный богу душу отдал? — спросил чернявый носатый дед.

— Отмучился! — ответили санитары.

— Царство ему небесное, — перекрестилась женщина, закутанная в одеяло.

От топота и дверного скрипа попросыпались многие больные, они видели, как открывались двери «покойницкой», втаскивали носилки, как выходили оттуда санитары.

Однако никто не видел, как другим ходом Платон Ревинский и Шолом Агал вынесли из морга Левона Одинца, уложили его на сани, укутали одеялами, прикрыли сверху кожухом и по темным переулкам и пустырям перебросили за переезд на квартиру старого железнодорожника Владимира Стрелле.

А поутру вся больница знала, что ночью умер обмороженный комиссар.

В морге лежал труп искалеченного поездом человека с забинтованными культями, как у Одинца.

Партизан набилось в каждую хату полным-полно. Сушились свитки, онучи и рукавицы. В углах тускло поблескивали запотевшие стволы винтовок. Спали вповалку на полках, на печи, на полу, бредили и метались, командовали и всхлипывали спросонья.

Днем и ночью за селом ходили дозоры, а вокруг шумела заиндевевшая темная пуща. На дубах шелестела прошлогодняя листва, ветер гнал столбы снежной пыли, по самые крыши заметая обомшелые, покосившиеся хатки.

В Грабье обитала одна голытьба, а у бедноты всегда просторно и найдется место путникам и ночлежникам. Вот пока что и обретались здесь оба рудобельских отряда. Грабьевские хозяйки сажали партизан за стол, ставили чугун бульбы, миску квашеной капусты или толченое льняное семя.

Как-то под вечер в хату, где жили командиры отрядов, пришел Роман Соловей. Пожалуй, не было такой щели, куда бы не проскользнул этот неугомонный дед. А здесь все под боком, каждая стежка с детства знакома. Протопать из Хоромного в Грабье — будто из хаты в амбар проскочить. Не раздеваясь, сел на лавку, поглядел на Максима Левкова:

— Подворье твое, Максиме, дымом пошло. Возвратишься, отблагодари Фэльку Гатальского. Это он доносит.

Старые твои прилепились в хуторе Якова Гошки. Так не бедуй, до весны перебьются. От горе, что богато людей позабирали заложниками и погнали в Бобруйскую крепость. Ульян Жинко и Рыгор Ковалевич не могли идти, так их тут же и порешили. А всех остальных, как баранов, повязали и шомполами погнали. Схватили и Левона Одинца. Он и так был еле душа в теле, так в Глусске, говорят, в конюшню бросили, чтобы от холода дошел.

Каждый расспрашивал у Романа о своих, и он одних утешал, другим говорил горькую правду.

— От расселись тут и не чуете, как вам западню готовят. Окружить хотят и всех до одного накрыть. Так что не разевайте рот. За Смыковичской дорогой особо глядите.

— Лады, дядька Роман, не проспим. А вам, может, спокойнее было бы с нами остаться? И Марылю сюда б забрали. Шляхта ж, она, один черт, жизни не даст.

— Так вы ж, я думаю, не век тут отсиживаться будете, придете и нас спасать? Только сил соберите поболе. А так не устоите. Их там знаете сколько?

— Ну? — подался вперед Левков.

— Как мух на падали.

Роман закинул за плечи берестяной короб, натянул облезлый треух и потопал.

Партизаны заняли все дороги, установили за селом трофейные пулеметы и дожидались ночи. Мороз три шкуры драл. Вокруг луны расплылся большой белый круг, высыпали яркие звезды, с деревьев свисали длинные голубые бороды. Было слышно, как срывались с веток и падали пухлые комья снега, как потрескивали сучья.

Взвод Тимоха Володько притаился под заснеженными кустами. Хлопцы всматривались в поблескивающую лесную дорогу, перерезанную черными тенями елок, прислушивались к каждому шороху стылой до звона ночи.

Где-то далеко, словно кто-то крахмал в пальцах перетирал, заскрипела дорога. Звуки приближались и становились отчетливее.

На повороте показалась лошадь, запряженная в возок с соломой. На нем сидели три человека, четвертый семенил с вожжами в руках. Когда фурманка поравнялась с партизанской засадой, хлопцы неожиданно выскочили изза кустов. Трое мигом вылетели из возка и бросились в лес. Кто-то лязгнул затвором.

— Не стрелять! — прохрипел взводный. — Догоняйте и берите как придется, только без огня!

Человек шесть рванулись за беглецами. Только трещали сучья да сыпался снег с ветвей. К вознице подбежал бывший моряк Зенон Рогович:

— Что везешь?

Неказистый шляхтюк весь дрожал, даже плюгавенькая козлиная бородка вздрагивала.

— А, братоцек, а родненький, не ведаю. Сами они нагружали. Под соломой, казецца, сто-то есть. Всевышний видит, я не виноват, силком погнали...

— Небось мужика на такое дело не взяли, шершень поганый! — вгонял в ужас шляхтюка Тимох Володько и перевернул возок с соломой.

На снег выпали свернувшиеся, как ужи, пулеметные ленты и два тупорылых пулемета. Хлопцы тотчас же оттащили их и замаскировали по обеим сторонам дороги. Аккуратненько убрали солому, чтоб и следа не было.

— Ты вот что, пока цел, садись и не оглядываясь гони в Грабье. Спросят наши, скажи все, как было.

Шляхтич вскочил на сани, стегнул вожжами заиндевелого коня и понесся по дороге, аж снег из-под копыт летел.

В лесу прогремел выстрел, потом другой. Наверное, отстреливались легионеры, убежавшие в лес. Глухим эхом отозвались выстрелы в разных концах пущи.

— Ну, началось. Чуешь, в клещи берут! — сказал Тимох Володько Роговичу.

— А нехай выкусят! — взорвался матрос. На нем изпод кожушка выглядывала полосатая тельняшка, а черные флотские клеши свисали над короткими голенищами старых подшитых валенок.

Верхом прискакал молодой, тоненький, как прутик, Амельян Падута и передал приказ Левкова: «В бой не ввязываться. Отрядам отходить на Паричи. Оставить заслоны по шесть человек. Пулеметам прикрыть отход!»

Вместе с добровольцами охранять дорогу остался морячок.

Бой разгорелся только после полуночи, когда основные силы партизан отошли достаточно далеко по лесным стежкам.

Как только из-за поворота появились жолнеры, Рогович резанул по ним длинной очередью, поводя из стороны

в сторону короткое рыльце «максима». Месяц затянуло облаками, тени расплылись. Теперь те и другие стреляли втемную. Партизанский заслон не очень торопился отходить, а белополяки не слишком наседали: воевать со стариками и бабами было проще и безопаснее, чем соваться под партизанские пули.

Пулеметы заливались слева и справа от Роговича. Значит, действительно, легионеры хотели внезапно окружить село. Кабы не подоспел старый Соловей, так и накрыли бы оба отряда. А теперь не догонят, да они и не очень рвутся догонять.

Партизанские заслоны не спеша отходили в лес. Пальба утихала, пока не прекратилась совсем.

Рудобельские партизаны лесами шли на Паричи, а там, за Березиной, уже стояла Красная Армия. На ее помощь и надеялись рудобельцы: патроны были на исходе, не хватало винтовок, да и людей было небогато. А белополяки только в Рудобелку пригнали полторы тысячи солдат, прикатили пушки и штук тридцать пулеметов. Вот и попробуй их одолей. Прикинули командиры: выхода нет, надо на зиму пробиваться за Березину.

Шли по глубокому снегу, мороз обжигал носы и щеки, они чернели и облезали, распухали от холода пальцы, заедали вши, голод подтягивал животы и раскручивал перед глазами звездную карусель. А партизаны, несмотря ни на что, двигались вперед, надеясь отдышаться за линией фронта, набраться сил, вооружиться и, как только сойдет снег, ударить по легионерам и навсегда очистить свою волость.

Максим Левков остановился, обождал фурманку, на которой ехала Параска. Она по самые глаза закуталась домотканым платком, поседела от инея.

— Ты, случаем, Параска, не знаешь, где наш ревкомовский стяг? — спросил Максим.

— А чего ж не знать? Здесь он. — И она провела рукавицей по высокой груди.

Левков ухмыльнулся:

— А я подумал, что ты на пустой похлебке так раздалась. Ну, молодец. Береги, скоро понадобится.

За Березиной оба отряда влились в 8-ю дивизию Шестнадцатой армии.

Партизаны отпарились в армейских банях, подлатались, обулись кое-как в военных каптерках, примастерили

к шапкам красные звездочки, оделись в гимнастерки. Кое-кто обзавелся шинелью, всех зачислили на красноармейское довольствие. Вместе с красноармейцами рудобельцы стояли в обороне, ходили в разведку, порой налетали на соседние гмины и пастерунки. Параска, прикидываясь то беженкой, то ворожеей, добиралась аж до рудобельских хуторов. Однажды и до Бобруйска добралась. Вернулась, а земляков радовать было нечем: всех рудобельских заложников «канарейки» расстреляли в крепости.

Слезы смешивались с жгучим гневом, с неутолимой жаждой мстить за смерть и муки, только бы вернуться домой, вызволить родных и близких от шомпола и плети.

Партизаны ждали весны.

А в волости разгулялась шляхта. Люди смотрели и говорили: «Взбесилась свора перед погибелью». В мясоед в каждом застенке играли такие свадьбы, что аж дым коромыслом. По три дня пили и ели, «до помраценья гловы» плясали мазурки и падекатры. На масленицу с гиканьем и свистом в легких саночках, обнявшись с познанцами и лихими уланами, раскатывались раскрасневшиеся шляхтянки. Они специально приезжали в Карпиловку пофорсить перед «мужицким быдлом». Хотя и не умели, но старались разговаривать «по-польскéму». Шуляки уже называли себя шуляковскими, Шпаки — шпаковскими. Шепелявые шляхтюнчата уже старательно шпарили стишок:

— Кто ты естэсь?
— Пóляк мáлы.
— Яки эпак твой?
— Ожел бя́лый.

Пусть бы забавлялись своим «паньством», пусть бы тешились. Но повыползали недавние бандюки из шайки Казика Ермолицкого и Плышевского, нанялись в полицианты, гарцевали по селам вслед за Смальцем, полосовали шомполами близкую и дальнюю партизанскую родню, выгребали из хат все до крошки. Вынюхивали, выискивали, чью бы еще душу продать пану коменданту.

С хаты Романа Соловья шляхтюки не спускали глаз: знали, что старик наведывается к партизанам, может, и за фронтом бывает. На день-два притащится домой, отощавший, помятый весь, повернется и опять исчезнет на

несколько недель. Давно куда-то пропала и его Марылька. В хате одна Ганна управляется. День и ночь топчется и молчит: никому не жалится, ни с кем не заговорит — одна и одна.

Сколько раз приходил к ней полициант Сымон Говоровский, то угрозами, то лаской допытывался, куда дед подевался. А Ганна только руками разведет:

— Не иначе, помоложе пошел искать.

Полициант стеганет плетью по голенищу да как гаркнет:

— Ты мне не выскаляйся! Правду говори!

— Ей-же-боженька, Сымонка, полаялись. И кабы за что было? Эт, так, за драный мех, а в меху смех. Так же разошелся и в белый свет подался, старый дурень.

— Куда подался? — допытывался Говоровский.

— Так же разве сказал? Свет великий, куда-то ж потянулся.

— А дочка где?

— Была у собаки хата, а у меня дочка... Выросла, разумная стала, мачеха ей никак не угодит. Может, к теткам пошла или служить нанялась в какой двор.

Как ни старалась Ганна, а Говоровский мало верил ей: все шпионил, вынюхивал. Это он прожужжал жандармам уши, что Соловей награбил панского добра, и теперь его старая роскошествует, а сам в «бандиты» подался. Налетела жандармерия в убогую Романову хату, стала все переворачивать вверх ногами, вытряхивать из сундука юбки, кофты, холщовые бабьи рубахи. Жандармы стояли в дверях, а Сымон так все перетряхивал, что аж вспотел. Ганна, сложив руки, сидела у окна и не шевелилась. Ей почудилось, что что-то мелькнуло во дворе. Взглянула и чуть не сползла со скамьи, онемела на какое-то мгновение, потемнело в глазах: она увидела Марыльку. Войдет в хату — и пропала. Неужто не догадается? Под навесом же жандармские рысаки стоят. «Дай, боже, ей разум», — прошептала старуха.

— Кого проклинаешь, старая ведьма? — услыхал шепот Говоровский.

— Да нет, благодарствую, что обноски мои перетрясешь, а то самой никак не выпадало, — спокойно отвечала Ганна, а сердце у нее дрожало как осиновый лист. Она прислушивалась, не стукнет ли щеколда, не откроется ли дверь. Откроется, — значит, погибель...

А Сымон поотдирал доски на полу, перевернул решето с перьями, осерчал и двинул в него сапогом. Пух разлетелся по хате, облепил его суконную поддевку, пристал к жандармской шинели. Жандарм отдувался и отмахивался от пуха, как от летней мошкары.

Сымон матюкнулся и вышел в сени. Следом потащились жандармы. «Ну, теперь концы!» — подумала Ганна. Но в сенях и на подворье было тихо. Дверь из хаты полицианты бросили настежь. Ганна перевалила через порог, и вдруг рядом хлестнул выстрел. Старая так и присела, а по ушам резанул поросячий визг. Потом выстрелили еще раз, и все стихло. Ганна схватилась за ушак, поднялась и еле выползла из сеней. Сымон вытаскивал из хлева окровавленного подсвинка и волок на сани. Из гумна вынес три мешка жита и взвалил туда же.

Ганна, опустив руки, прислонилась к стене. Она ни о чем не жалела, потому что ждала жандармов со дня на день и смирилась с мыслью о худшем. Одно не давало ей покоя: «Где ж Марылька?»

Когда выезжали со двора, Сымон помахал пистолетом и пригрозил:

— Все одно найдем, пся крев!

Ганна затворила пустой хлев, замкнула гумно, ходила и все озиралась, но вдруг услыхала, как кто-то шепчет:

— Мама, не бойтесь, это я.

— А божечка, божечка, смилостивился-таки. Где ж ты, дочушка?

— Идите, я зараз, — послышалось из-под корчей, сложенных под навесом.

Скоро Марылька вбежала в хату. Женщины крепко обнялись и заплакали.

— Это ж шла папу предупредить, чтобы из дому подавался, и нарвалась на иродов. Гляжу, бежать некуда, так я под корчи забилась.

— Что ж, дочушка, делать будем?

— Уйдем, пока не поздно. Все одно жить не дадут. А придут наши, тогда вернемся. Вы идите в Залесье к родне, а у меня своя дорога.

Когда стемнело, женщины заколотили дверь и пошли каждая своей дорогой.

Ранней весной, когда подсохла земля, распушились вербы и затинькали синицы в оживших рощах, Роман Соловей с партизанских хуторов, где он мыкался всю зиму, отправился проведать Ганну. Шел он опушкой возле самого Хоромного, и захотелось взглянуть на свое подворье, что там осталось от хозяйства, цела ли хата. Как раз была страстная суббота, каждый собирался праздновать, пекли пасхи, красили яйца, а многие, наверное, уже отправились в церковь к всенощной. Кому он теперь нужен? Прошмыгнет задами, взглянет и дай бог ноги.

А вышло, что «у ката няма свята» [1]. Только занес ногу через перелаз, а перед ним как из-под земли — Сымон Говоровский.

— Ни с места, большевистская морда! — прохрипел он, вытаскивая из кобуры наган.

— А-а-а, Сымон, — спокойно отвечал Соловей. — Я ж думал, тебя хозяева хоть в божий день с цепи не спускают, только, выходит, ты мою хату и в Христово воскресенье сторожишь.

— Тебя, гада, от самой зимы сторожу.

— А чего меня сторожить? Я не золото, никто не позарится. Ты бы лучше свою шкуру поберег. Ой, давно по ней осина плачет!

— Мильч, пся мать! — гаркнул Сымон и двинул старику дулом нагана между лопаток. — Марш в жандармерию, там поговоришь.

— Ты бы хоть пополудновал, а то до Хвойни дорога дальняя, отощаешь, избави боже, — спокойно язвил Роман над толстым криворотым полициантом. А Сымона передергивало от злости, он толкал деда взашей и рычал. Он не повел его улицей, а приказал идти задами к дороге на Хвойню. Там была жандармерия и стоял гарнизон, а в Рудобелке белополяки почему-то не захотели или не отважились обосноваться.

До Хвойни вся дорога — лесом. Мокрая, скользкая, с мутными лужами, обомшелыми выворотнями, мелким ельником по обе стороны. Все живое наливалось соком, распрямлялось, зеленело, вот-вот должно было зашуметь буйным весенним цветением. Перепрыгивали с ветки на ветку дрозды, лузгал шишку ловкий дятел.

---

[1] У палача и праздника нет (*бел.*).

Роман глядел, слушал, принюхивался к запахам клейких почек, весенней талой воды и смолистого духа. «Неужто больше не увижу, не услышу, не пройду по этой дороге? Самого потянуло в капкан. И надо ж было! Сколько лет обходилось, из каких только переделок не выходил целым и невредимым, а тут нá тебе, дома, у своей хаты, влетел в силок. Этот иуда не пощадит, не одумается, а я ж его на свою голову когда-то из полыньи вытащил. Выходит, подтолкнуть надо было. Кабы это ведал. Маленьким был. Кто ж мог подумать, что из того губастого сопляка такой живодер вырастет».

— И долго ты меня провожать будешь? Га, Сымоне?

— Иди, иди! — огрызнулся полициант.

— Вернулся б себе до дому, завтра ж великдень, разговелся б, как люди, и я, быть может, освященного яйца попробовал. А после и забрал бы, коли тебе, крестничек, так неймется.

— Мильч, старый галган! — рявкнул Сымон. — Ишь ты, в родню набивается. — И он передразнил: — «Крестничек»!

— А то нет! Забыл разве, как из проруби тебя выволок? От и до сих пор землю по моей милости топчешь. Кабы ведал, что из тебя выйдет, колом подтолкнул бы и придержать не поленился бы.

Сымон взбеленился, словно его шилом пырнули.

— Ах ты большевистская морда! — взвизгнул он и так двинул Романа в спину, что тот еле удержался на ногах, уцепился за молоденькую рябинку, повернулся назад и ринулся на Сымона. Хотел выбить у того револьвер. Только не было уже у Романа былой сноровки. Говоровский отпрыгнул в сторону, вскинул наган. Старик отбежал и только успел крикнуть: «Подожди!» — как Сымон нажал курок. Вспорхнули с веток дрозды, взвился и пронзительно закричал ворон. По лесу прокатилось глухое эхо.

Роман споткнулся возле обомшелой трухлявой колоды и медленно осел на землю. Говоровский так и остался стоять с поднятым наганом. Ему казалось, что старик прикидывается, упал понарошку и ждет, когда он приблизится.

— Вставай, старая падла! — крикнул издалека Сымон.

Роман не шевелился.

— Поднимайся, слышишь? — Сымон осторожно начал подкрадываться к колоде. Остановился шага за два, прислушался — не слышно, чтобы дышал. Изборожденная глубокими шрамами морщин шея побелела как бумага; пожелтела и обессилела отброшенная назад рука. На чуть пробившейся травке Сымон увидел кровь.

Он расстегнул френч, повернулся и побежал. Отойдя еще раза два оглянулся. В лесу было тихо. Только тинькали птицы да снова стучал по елке дятел.

Как раз в эту ночь, когда в каждой церкви правили всенощную, рудобельские партизаны переправлялись через Березину в родные леса. Обмундированные 8-й дивизией, вооруженные винтовками и пулеметами, они теперь были скорее похожи на регулярную часть. У каждого даже был свой документ — кусочек картона величиной со спичечную коробку. На нем — круглая печать штаба дивизии и надпись: «Партизан тыла».

Документы выдали перед самой отправкой через линию фронта, чтобы случаем не задержали красноармейские части, стоявшие у Березины. В самом глухом месте красноармейцы переправили партизан на челнах и на небольшом плоту. Только что сошел лед. Гудела большая вода, от реки тянуло холодом, а темень — хоть глаз коли. Такая ночь как раз и была партизанам на руку. Возвращалось их человек сто пятьдесят, молодые остались в 8-й дивизии. Когда записывались добровольцами, говорили своим: «Все одно, с какого бока ягомостей бить: вы оттуда, а мы — отсюда, как раз дома и встренемся».

А белополяки радовались, что с рождества не слышно было на Рудобельщине партизан: части отвели под Бобруйск, а здесь оставили только гмину, несколько полицейских пастерунков и полевую жандармерию. Расхаживали победителями и хозяевами. Им не снилось даже, что как раз на всенощную отряды Максима Левкова, Андрея Путято и Игната Жинко возвращались в дремучую пущу и обосновывались в лесных буданах. Партизаны рубили еловые лапки, мастерили из них постели, затыкали щели мхом. Левков понаблюдал, как по-хозяйски управляются хлопцы возле буданов, и разозлился:

— А не зимовать ли тут собираетесь? Бросайте дурную работу! Ночи две поночуем, осмотримся, ударим по волости, выкурим поляков и — до дому.

— И то правда, — соглашались хлопцы и оправдывались: — Коли ж руки без работы чешутся.

У маленького будана в чугунном казане Параска варила похлебку из пшена. На необструганном древке, прибитом к будану, висел слегка вылинявший ревкомовский стяг. Женщина перехватила веселый взгляд командира.

— Сушу, а выглажу уже дома. Скоро же над волостью вывесим.

— Скоро, Параска. И теперь навсегда. Не сегодня-завтра Красная Армия ударит по всему фронту, а здесь мы поможем. Так что скоро и детей обнимешь.

— Дай же боже. Подросли, видать, за зиму. Узнают ли?

— Где ж они теперь?

— У матери на футоре маются. Бульба есть, так чего им бедовать? А сердце все же ноет. Только б здоровенькими были.

Параска тосковала по детям, по своей хате и думала, думала про Александра Соловья. Это он перевернул всю ее жизнь. Кажется, кликнул бы — в огонь за ним бросилась.

Она тихо вздыхала и порой даже молилась за него.

На другой день пасхи партизанские разведчики узнали, что кто-то застрелил старого Романа и он до сих пор лежит у дороги. Ночью отряд Андрея Путято окружил Хвойню. Неслышно сняли часовых, и за каких-нибудь полчаса от жандармерии и пастерунка ничего не осталось. Левков в ту же ночь захватил Рудобельскую волость, а Игнат Жинко со своим отрядом выбил взвод легионеров из имения.

В середине мая 1920 года в волости уже не осталось ни одного оккупанта. Партизаны перешли Птичь, бои гремели между Затишьем и Рожановом, а через Поречье на помощь партизанам шла Красная Армия. Она начала наступление по всему фронту. Дрогнуло, закачалось и сдвинулось, как весенняя льдина, вооруженное, обмундированное и откормленное Антантой войско. Оно оставляло белорусские местечки и села, города и городки. Легионеры врывались в хаты, хватали все, что может пригодиться в дороге, — горшочки с медом, сало, масло, яйца. Отступая, разрушали мосты. Они боялись лесных дорог: березняки и ельники палили по оккупантам — партизаны отбивали обозы с награбленным добром.

Конница и двуколки мчались напрямик по густому колосящемуся житу: так было безопаснее. Тянулись черные дороги в зеленом ржаном море — вбитые в землю стебли силились и не могли подняться, их снова и снова топтали копыта уланских лошадей, кованые колеса обозов и сапоги пехоты.

Хлеборобы смотрели на все в немом отчаянии. Тот, чьи полоски попадали под копыта и колеса, сразу становился нищим.

Над большаками и полями подымались густые пыльные облака, небосвод затягивало дымом далеких и близких пожаров — пилсудчики вымещали злость на соломенных крышах убогих хатенок и обомшелых хлевушках. В зной они пылали, будто свечки.

С каждым днем легионерам приходилось ускорять шаг: Красная Армия гнала их по всему фронту — от Днепра до Припяти. Были освобождены Слуцк, Бобруйск, Осиповичи, Мозырь. В июле пилсудчики оставили Минск. А вдогонку неслась краснозвездная лава: «Ура! Даешь Варшаву!»

Упрямо шагала пропыленная и пропотевшая пехота: ботинки, сапоги, разбитые лапти топали по пыльным большакам Беларуси. Села угощали бойцов хлебом и квасом, черникой и огурцами. Подтягивались роты и взводы, напрягались колючие, давно не бритые кадыки, и над полевыми просторами, над потоптанным житом летела походная песня.

Освобождены Новогрудок, Волковысск, Гродно. Белосток встретил красных бойцов хлебом-солью. Председатель Временного революционного комитета Польши Юлиан Мархлевский горячо приветствовал красные полки. «Не для того вступают в Польшу наши русские братья, чтобы ее завоевывать, — говорил он. — Нынешнюю войну им навязало польское правительство. Они сражаются прежде всего за мир для себя, ибо только мир даст им возможность возвратиться домой, даст возможность строить новую жизнь».

С конным корпусом Гая по дорогам Польши ехал и комбат Александр Соловей. Он радовался, что идут последние бои, что к осени эти измученные войной хлопцы возвратятся в свои села, возьмутся за плуги и лукошки с зерном. Придет до дому и он. Давно уже осточертело наступать и отступать, в жару и стужу ночевать в поле,

столько лет воевать. А пока что... пока что надо первому бросаться в атаку, пробираться во вражеский тыл, ходить в разведку. Его видели в гуще самых горячих схваток, он не столько приказывал, сколько вел людей за собой.

Чем глубже втягивалась Красная Армия в Польшу, тем тяжелее становились бои. Пилсудский мобилизовал всех способных носить оружие. Антанта дала это оружие и во главе польской армии поставила опытного французского генерала Вейгана.

Красные полки в каждом бою несли тяжелые потери. Обозы с боеприпасами и продовольствием отстали в дальних тылах. Уже были видны огни Варшавы, а Пилсудский слал в бой все новые и новые силы. На Висле части Красной Армии вытянулись в тоненькую цепочку, не имели резервов, не успели закрепить занятые рубежи. И, не выдержав натиска превосходящих сил, Красная Армия отступила.

Осенью в ревком принесли заклеенный хлебным мякишем конверт. Химическим карандашом на нем было написано: «Рудобелка, Бобруйского уезда, Роману Соловью».

С весны Романа не было на свете. Ганна перебралась к своей родне в Залесье, как в воду канула и Марыля. Одни говорили, что и ее вместе с отцом застрелил Сымон Говоровский, другие — что убили возле Березовки. А толком никто ничего не знал. Отдавать письмо было некому. Повертел его в руках новый председатель Игнат Жинко.

— Кому же отдать? — спросил у секретаря Карпа Жулеги.

— Кому ты отдашь? Распечатай, да и почитаем, — предложил Драпеза, — может, что про Александра дознаемся. Сколько уж времени прошло — ни слуху ни духу...

Игнат разорвал конверт. На плотной желтой бумаге бойким почерком с писарскими завитушками было написано:

> «Уважаемый дядька Роман Соловей!
>
> Письмо пущено 29/VIII 1920 года. Пишет Вам товарищ Вашего сына, командир роты 472-го полка Степан Герасимович.
>
> Мы с Александром Романовичем служили в Бобруйском караульном батальоне, вместе были в Смоленске, били белые банды у Освеи и Режицы,

с корпусом товарища Гая наступали на Варшаву. Про отвагу нашего командира Александра Романовича знает весь корпус.

Утром 15 августа товарищ Соловей А. Р. и еще шесть конников прикрывали обоз с ранеными бойцами. На них налетел целый взвод улан, и завязался неравный бой. Долго сражались красноармейцы. Девять улан они положили, но справиться со всеми не хватило сил. Когда погибли товарищи, Александр Романович отбивался один. Уланы окружили его и порубали нашего командира. Даже коня его порубали.

Александра Романовича мы схоронили в молодом сосняке возле местечка Кольно. Это аж по ту сторону Немана. На могиле поставили березовый столбик и написали имя и фамилию.

Не убивайтесь, дорогой дядька Роман. За смерть товарища Соловья мы отомстим мировому капиталу!

Низкий поклон от всех боевых друзей Вашего сына.

Комроты С. Герасимович».

Письмо выпало из Игнатовых рук. Он молча опустил голову. Кто-то тяжело вздохнул:

— И такого человека смерть не пощадила!

— Не смерть, а вороги наши, чтоб их перун побил!

У порога Гэля держала на руках черноокого хлопчика в полотняном чепчике. По ее лицу текли слезы. Заголосила Параска и выскочила из волости.

Над крыльцом трепетал слегка вылинявший за лето тот самый алый стяг, который когда-то Александр принес в солдатском мешке.

Низко над пыльным полем повисло багряное солнце. Борозды блестели жирной, перевернутой плугом землей. Ничего не видя перед собой, Параска узкой межой помчалась за село. Жесткие сухие будяки хлестали по ногам, слезы и солнце слепили глаза.

По мягкой пашне ровной цепочкой шло человек двадцать сеятелей, без шапок, в чистых полотняных рубахах. Они споро взмахивали руками, и зерна, словно капли золотого дождя, падали на землю. Казалось, сеятели идут в мерцающем круге огромного солнца. Следом в розова-

той пыли колыхались силуэты бороновальщиков. Параска подбежала к своему Васильку. Маленький запыленный мужичок в холщовых штанишках еле поспевал за лошадью. Параска хотела вытереть слезы, но только размазала их по щекам.

— Ты чего, мама?

— Прибежала поглядеть, как ты здесь управляешься.

— А чего ж плакала?

— От радости, сынок. Глянь, земли сколько у нас теперь. Свободу завоевали, и ты уже работником стал.

— А никто ее больше не отнимет? — погоняя коня, спросил Василек.

— А ты разве отдашь кому? — шагая рядом с сыном, сказала Параска.

Василек помолчал.

— Кто ж это отдаст?

Параска улыбнулась, взяла вожжи из рук сына.

Когда зашло солнце, коммунары досеяли жито.

Граховский С. И.

Г78 Рудобельская республика. Док. повесть. Пер. с бел. М., Воениздат, 1976.

271 с.

В поаестн рассказывается о реальных событиях, пронсходнашнх а Белоруссии а годы гражданской аойны.

Где она, Рудобельская республнка? Нн на картах, нн в учебниках ее ие найдешь. И асе же она не только была, но и актнано боролась за право «людьми заатъся», за саетлое будущее челоаека. Годы этой борьбы аошлн а нсторию Совет:кой Белоруссин страннцей героической и саоеобразной: а Рудобелке не опускалось красное знамя, поднятое над ревкомом а ноябре 1917 года, — ни белогаардейцев, нн оккупантов сюда не пустнли. Вооруженной защнтой народной аласти руководил Александр Романоанч Соловей, чья судьба сходна с судьбой таких легеидарных борцоа за народное дело, как Чапаеа, Боженко. Он н яаляется глааным героем поаестн.

Г $\frac{70303\text{-}001}{068(02)\text{-}76}$ 163-76 С(Бел.)2

Сергей Иванович Граховский
РУДОБЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Редактор *Бенке С. П.*
Художественный редактор *Поляков Е. В.*
Художник *Кутилов Н. К.*
Техническнй редактор *Коновалова Е. К.*
Корректор *Михайлина С. З.*

Сдано в набор 19.4.75. Г-70584
Подписано а печать 24.9.75. Формат 84×108/32
Печ. л. 8½. Усл. печ. л. 14,280. Уч.-изд. л. 14,692
Бумага тип. № 2 Тнраж 100.000 *Цена 57 к.*
Изд. № 4/1275 Зак. 1174

Воениздат,
103160, Москаа, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москаа, К-6,
проезд Скаорцоаа-Степанова, дом 3

Цена 57 коп.

